Вадим Эразмович Вацуро

Избранные труды

Вадим Эразмович Вацуро
Избранные труды

«Текст предоставлен правообладателем»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=180751
Избранные труды: Языки славянской культуры; Москва; 2004
ISBN 5-94457-179-9

Аннотация

Вадим Эразмович Вацуро (1935–2000) – выдающийся историк русской литературы. В настоящее издание включены две большие работы В.Э.Вацуро – «Северные Цветы (История альманаха Дельвига – Пушкина)» и «С.Д.П.: Из истории литературного быта пушкинской поры» (история салона С.Д.Пономаревой), выходившие отдельными книгами соответственно в 1978-м и 1989 годах и с тех пор ни разу не переиздававшиеся, и статьи разных лет, также не периздававшиеся с момента первых публикаций. Вошли работы, представляющие разные грани творчества В.Э.Вацуро: наряду с историко-литературными статьями о Пушкине, Давыдове, Дельвиге, Рылееве, Мицкевиче, Некрасове включены заметки на современные темы, в частности, очерк «М.Горбачев как феномен культуры».

В.Э.Вацуро не только знал историю русской литературы почти как современник тех писателей, которых изучал, но и умел рассказать об этой истории нашим современникам так, чтобы всякий мог прочитать его труды почти как живой документ давно прошедшей эпохи.

Содержание

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 4
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 6
ТАЙНА ВАЦУРО 9
ПАМЯТИ В. Э. ВАЦУРО 17
I 19
ПРЕДИСЛОВИЕ[1] 19
Глава I 21
Глава II 44
Глава III 61
Глава IV 81
Глава V 108
Глава VI 132
Глава VII ТРИЗНА ПО ДЕЛЬВИГЕ 155
Конец ознакомительного фрагмента. 157

Вадим Эразмович Вацуро
Избранные труды

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В 1999 году Вадим Эразмович Вацуро подготовил к печати сборник своих избранных статей «Пушкинская пора», выпущенный петербургским издательством «Академический проект» в 2000 году уже после смерти автора. В 2000–2001 гг. жена Вадима Эразмовича Тамара Федоровна Селезнева проделала кропотливейший труд, собрав из разрозненных рукописей книгу, наброски к которой В. Э. Вацуро делал на протяжении всей своей ученой деятельности, – «Готический роман в России» опубликован в 2002 году в Москве «Новым литературным обозрением». В 2003 году петербургская «Наука» выпустила вторым изданием монографию «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа"» (первое издание: СПб.: Наука, 1994).

Настоящее издание продолжает посмертную публикацию сочинений В. Э. Вацуро и составлено из тех его работ, которые, будучи однажды напечатаны, более не издавались.

В первом и втором разделах помещены большие исследования, выходившие отдельными книгами соответственно в 1978 и 1989 годах и ставшие сейчас раритетами: история альманаха А. А. Дельвига «Северные Цветы» и история салона С. Д. Пономаревой.

Третий раздел состоит из статей разных лет, смысл републикации которых – представить разные грани творчества В. Э. Вацуро. Здесь собраны мелкие заметки о Пушкине из «Временника Пушкинской комиссии», плановые институтские работы «Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820-1830-х гг.» и «Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг.», разыскания, связанные с подготовкой текстов для собраний стихотворений Хемницера и Некрасова в «Библиотеке поэта», предисловия к отдельным изданиям сочинений Дениса Давыдова и Дельвига, газетное интервью – реакция В. Э. Вацуро на ситуацию в стране после революции 1991 года («Будем работать в стол – благо опыта не занимать»), наконец, очерк о Горбачеве – неожиданный для академического ученого, хотя и вполне соотносящийся с общим в начале 1990-х годов стремлением историков прошлого концептуально осмыслить текущий момент.

Заключают настоящее издание две неопубликованные статьи о Е. Ф. Розене и А. И. Подолинском, приготовленные для пятого тома биографического словаря «Русские писатели: 1800–1917» (рукописи предоставлены для публикации Л. М. Щемелевой и А. К. Рябовым).

При подготовке книги вполне осознанно были исключены лермонтовские сюжеты В. Э. Вацуро, поскольку есть надежда, что коллеги-лермонтоведы в скором времени осуществят издание, полностью посвященное этим сюжетам.

Отдельного издания требует и книга о русской цензуре, написанная совместно с М. И. Гиллельсоном – «Сквозь „умственные плотины": Из истории книги и прессы пушкинской поры» (1-е изд.: М.: Книга, 1972; 2-е изд.: Там же, 1986), статьи, опубликованные в первых четырех томах биографического словаря «Русские писатели», и рецензии, в которых содержатся лапидарные, но настолько объемные историко-литературные оценки, что одна фраза иногда кажется программой целой монографии.

По мере преобразования страны, происходившего в 1990-е годы, пушкинская эпоха быстро уходила во времени от новых поколений – слишком многое из непушкинских эпох нельзя было полноценно познавать при советской власти, чтобы после ее падения продолжать интеллектуальную жизнь, ориентируясь на ценности золотого века русской культуры.

После смерти В. Э. Вацуро пушкинская эпоха отодвинулась еще дальше – вряд ли в новых поколениях появится человек, о котором, так же как о Вадиме Эразмовиче, можно будет сказать, что он знает ее почти как современник. А если появится – некому будет сказать, ибо пушкинская эпоха осталась ценностным ориентиром эпохи В. Э. Вацуро.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Жизнь В. Э. Вацуро ныне окантована двумя датами: 1935–2000. Но, перечитывая заново его книги и статьи, невольно ловишь себя на мысли, что застывшие в типографском шрифте фразы подчас звучат его живыми интонациями. Как недавно все это было!

Студентом филологического факультета ЛГУ Вацуро стал, недолго проучившись в медицинском институте. В ту пору кафедра истории русской литературы блистала целым созвездием великолепных ученых: И. П. Еремин, В. Я. Пропп, Б. В. Томашевский, Г. А. Бялый, Г. П. Макогоненко… Лермонтовский семинар вел В. А. Мануйлов.

О нем следует сказать особо. Не только потому, что он первым оценил способности своего воспитанника и вскоре впряг его в работу над «Лермонтовским семинарием», над изданием сочинений любимого поэта, а позже – и над Лермонтовской энциклопедией, которая долго казалась утопией неисправимого романтика. Однако важнее было обаяние личности Виктора Андрониковича. Кто знает, не будь с самого начала у Вацуро *такого* наставника, не стал бы ли он, при своей приверженности «трудам уединенным», ученым затворником?

Университетская кафедра русской литературы и академический Институт русской литературы (Пушкинский Дом) в ту пору были подобны сообщающимся сосудам, и после окончания университета В. Э. (хотя и не сразу) стал сотрудником ИРЛИ, что во многом определило широту и самое качество его научных интересов. Возникший как Пантеон русской литературы, Пушкинский Дом сконденсировал уникальные книжные, архивные и музейные собрания, которые взывали к научной обработке и осмыслению. Теоретические штудии плохо здесь приживались. Конечно, должные в советское время идеологические постулаты накладывали свою печать и на академические труды, но традиционная приверженность лучших его сотрудников к конкретным историко-литературным фактам была своеобразным противоядием против поверхностных спекуляций.

Пушкинской школой для В. Э. стала работа над изданием пушкинских писем под научным руководством Н. В. Измайлова и постоянное сотрудничество во «Временнике Пушкинской комиссии», редактируемом академиком М. П. Алексеевым. Впрочем, В. Э. был своим человеком и в группе XVIII века, возглавляемой П. Н. Берковым.

Впервые имя В. Э. Вацуро внятно прозвучало по выходе, после многих препон, книги (написанной в соавторстве с М. И. Гиллельсоном) «Сквозь умственные плотины» в 1972 г. Посвященная столкновениям писателей пушкинской поры с цензурой, книга казалась произведением чуть ли не диссидентским. Если это было и так, то, право же, невольно. В самой пространной ее главе, «Подвиг честного человека», написанной В. Э., речь шла об общественной позиции Карамзина, который отнюдь не посягал на государственные устои, но выше всего ценил законы совести. Честь была понятием дворянского этикета. В своих заметках о дворянстве Пушкин размышлял: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Но суть ли сии качества природные? Так; но образ жизни может их развить, усилить – или задушить. – Нужны ли они в народе так же, как например, трудолюбие? Нужны, ибо они la sauve garde <охрана> трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».

В исторических трудах аморальным поступком (этому учил Карамзин) становилось искажение подлинных событий. Невольным грехом здесь могло быть отсутствие твердых знаний. Преступлением против истины было заведомое ее искажение во имя идеологических догм.

Став сотрудником Группы пушкиноведения, В. Э. по долгу службы занимался эпохой, хорошо, казалось бы, изученной предшественниками. В 1960-1970-х гг. в академическом литературоведении были в моде так называемые коллективные труды, где автор зависел от

навязанного ему общего плана. Общая же перспектива литературного развития пушкинской эпохи виделась вполне определенной: от классицизма – через романтизм – к реализму.

Но ведь реальная литературная жизнь вовсе не была столь формализована. Она была призванием и страстью конкретных людей. «Историю литературной жизни этого времени, – размышлял В. Э., – нужно искать скорее в письмах, дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что сначала складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он „функционирует“, он живет обычной домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его олитературен, и чтение чужих произведений и писание своих такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие».

Под таким углом зрения была детально прослежена В. Э. Вацуро история издания восьми маленьких, изящных книжечек альманаха «Северные цветы».

«Это был типичный альманах и порождение „века альманахов“, исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступать с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы „неформализованной группой“, а в ней особенное значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей „кружка“, но не литературной „партии“.

Те же принципы неформализованного изучения далекой эпохи заявлены в книге В. Э. Вацуро «С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской эпохи». В самом заглавии можно было заметить след определенной традиции, заявленной в свое время И. Л. Андрониковым в его «литературном детективе» «Загадка Н. Ф. И.» – о героине юношеских стихов Лермонтова. Вацуро детективами не увлекался. Ему была интересна литературная среда, живое очарование литературной жизни. «Художественный текст любой эпохи, – замечал он, – особый мир, живущий по своим законам, которые с течением времени сменяются другими и становятся „непонятными“. Нет ничего ошибочнее и наивнее столь часто встречающихся попыток найти здесь намеренную „загадку“, „тайну“, „шифр“. Загадки в старинных текстах встречают нас на каждом шагу, – но они созданы не писателем, а временем».

В общей картине литературного процесса салонные альбомы Софьи Дмитриевны Пономаревой – забавная мелочь, чуть ли не курьез быта. Но их любопытно и поучительно было не только перелистать, но и развернуть во времени, очеловечить: «В четвертом измерении оживают люди, державшие перо и кисть, они движутся и говорят, и ведут жизнь, полную драматизма: жизнь увлечений, влюбленности, признаний и разрывов, – и перипетии ее оставляют на страницах альбомов галантные мадригалы, послания, посвящения, любовные циклы. Литераторы объединяются в кружки и партии, противоборствующие друг с другом; страсти кипят, выливаются на страницы журналов, порождают рукописную литературу».

Ценя мельчайшие факты литературного быта, В. Э. как историк обладал абсолютным поэтическим слухом. Его книга об «элегической школе» или статья об истории русской идиллии замечательны не только скрупулезным анализом исторического движения поэтических жанров, но и артистически отобранными цитатами, звучащими неожиданно свежо и проникновенно. Вне этой среды, постоянного поэтического состязания было бы невозможно рождение литературных шедевров.

Доля В. Э. Вацуро в современной пушкинистике велика и весома, но и она – лишь малая часть его филологического подвижничества. Широта его научных интересов поразительна, но и это не исчерпывает его вклада в науку о литературе. Ученый академического склада, яркий представитель петербургской филологической школы, он был зачинателем фундаментальных литературоведческих трудов, будь то биографический словарь «Русские писатели. 1800–1917» или новое академическое Полное собрание сочинений А. С. Пушкина.

Трудно сейчас представить, насколько он загружен был повседневной и всегда срочной работой, какому количеству людей он был всенепременно должен то запланированную статью, то отзыв на диссертацию, то обещанную справку, да мало ли еще что – при его обширнейшем круге общения. Именно поэтому многие его главные книги остались ненаписанными. Времени иногда хватало только на этюд, филологическую миниатюру – как всегда, филигранно отделанную.

Требовательный (и щедрый!) редактор, скрупулезный текстолог, строгий систематик, он был прежде всего профессионалом. Но при этом лучшие его работы, снабженные многоэтажными сносками, отличаются артистическим изяществом и остроумием, подлинным пиршеством духа.

Артистизм и остроумие отличали его и в повседневном быту. Предметом его особенной гордости было воспоминание о том, как однажды – в Грузии! – он во время многолюдного застолья был единогласно избран тамадой. Этот, всеми признанный талант Вадима Эразмовича – особая тема. Вспоминается, например, такой случай. В 1997 г. мы вернулись в Институт после Четвертой международной Пушкинской конференции, которая прошла в Нижнем Новгороде и в Болдине. На заседании ученого совета в ходе отчета по этому поводу из зала раздалась саркастическая реплика: «Представляю, какие там были застольные заседания!» Пришлось специально объяснить, что банкет стоил остальных культурных мероприятий, так как руководил им Вацуро, а это всегда – высокая поэзия. Ученый совет сочувственно загудел, а после заседания к Вадиму Эразмовичу подошел Дмитрий Сергеевич Лихачев и сказал: «Вы знаете, что в прошлом году я отметил свое девяностолетие и уже больше не собирался устраивать застолий по поводу дней своего рождения. Но если Вы согласитесь вести стол, я, пожалуй, и в этом году устрою банкет для сотрудников Пушкинского Дома».

Он по-библиофильски любил книгу. Любимые его рассказы были о том, как иногда попадало в его библиотеку то или иное редкое издание. Вот один из них: «Роюсь как-то в старых книгах. Вижу: стопка потрепанных журналов, перевязанных веревочкой. Стоит это все вместе рупь. Но мне-то нужен лишь один из томов. Спрашиваю, нельзя ли взять только его – за ту же цену. Нет, говорят, – только вместе. Ладно, приношу домой весь этот хлам. Развязываю веревочку, и вижу в одном из журналов (вовсе не в том, который мне был нужен) знакомый почерк. Оказывается, – Александр Блок! С тех пор я не спорю с букинистами».

И еще одна история про автограф. В Тбилиси мы были приглашены к очень почтенному аксакалу. Он похвастался, что в его архиве есть рукописи разных писателей – кажется, даже Пушкина. Да ну?! Архив (потрепанный чемодан, перекрученный проволокой) был извлечен из-под дивана. Там было много чего. Наконец отыскался и нужный листочек. «Ну как, похоже?» – «Батоно, – вежливо откликнулся В. Э., – это заслуживает специальной экспертизы. Я не знал, что в те времена уже были тетрадки в косую линейку.»

Всё это, конечно, безделки. Надо ли вновь повторять, что В. Э. Вацуро прежде всего был серьезным ученым, обладателем феноменальных знаний и редкого таланта! Думается, однако, что несерьезные воспоминания не противоречат творческой манере выдающегося филолога, который всегда чуждался патетики и велеречия, тонкой шуткой откликаясь на восхваления и благодарные реплики коллег. Вспоминая Вадима Эразмовича, понимаешь, насколько неверно представление об академическом ученом как обязательно о кабинетном затворнике. Он, как никто другой, ценил нелицеприятный профессиональный спор, дружеские розыгрыши, болтовню в пушки-нодомской курилке, когда походя, непритязательно, радостно мог одарить собеседника и блестящей идеей, и перспективой научного поиска.

С. А. Фомичев

ТАЙНА ВАЦУРО

В творческой судьбе Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 – 31 января 2000) безусловно есть тайна.

Уже в 70-е годы Вацуро обладал высочайшим авторитетом в профессиональной среде. Символическими вехами тут можно считать созданные в соавторстве с М. И. Гиллельсоном работы «Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского „Биографические и литературные записки о Денисе Ивановича Фонвизине“ (1968) и „Сквозь „умственные плотины“: Из истории книги и прессы пушкинской поры“ (1972), однако в реальности неповторимый авторский метод Вацуро сложился еще раньше. Каждая новая его работа, начиная с лермонтовских штудий и комментариев к изданиям Хемницера (1963) и Некрасова (1967) в Большой серии „Библиотеки поэта“, была *новостью* в самом прямом и точном смысле слова, то есть меняла представления читателя (включая самых квалифицированных специалистов) об обсуждаемом предмете. Понятно, что свойством этим обладали работы, строящиеся на раритетном (архивном) материале, вводящие в оборот неизвестные прежде источники и факты. Например, статья «К изучению „Литературной газеты“ Дельвига – Сомова» (1968), где очень осторожно, но от того особенно доказательно Пушкину атрибутировалась рецензия на роман Василия Ушакова «Киргиз-кайсак», или «Из истории литературных полемик 1820-х годов» (1972), где одной из ключевых фигур старинных литераторских битв предстал основательно забытый Александр Крылов, или «Г. П. Каменев и готическая литература» (1975) – список легко продолжить. Но тот же эффект возникал при знакомстве со статьями, трактующими сюжеты «понятные», казалось бы, давно изученные и не предполагающие каких-либо вопросов и удивлений. Здесь показательны статьи «Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов» (1964), «Пушкин и проблема бытописания в начале 1830-х годов» (1969), монографический анализ послания «К вельможе» (1974) и совершенно ошеломительная даже для привычных к смелым и точным построениям В. Э. статья «"Великий меланхолик" в „Путешествии из Москвы в Петербург“» (1977). Книга об истории альманаха «Северные цветы» (1978) стала, по сути дела, сверхплотным конспектом истории русской литературы 1824-31 гг., требующей от читателя непривычной сосредоточенности буквально на каждом слове: предельная ясность слога невольно вводила в заблуждение – сама собой вспоминалась гоголевская характеристика прозы Пушкина («бездна пространства»).

Казалось, что совершеннее и глубже писать о словесности просто невозможно, а меж тем впереди были встречи читательской аудитории и ученого цеха с такими шедеврами, как «Последняя повесть Лермонтова» (1979), «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1981), тома стихотворений Дениса Давыдова (1984) и Дельвига (1987), «И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века» (1989), «Поэтический манифест Пушкина» (1991), «В преддверии пушкинской эпохи» (1994; предисловие к двухтомнику «Арзамас» под общей редакций Вацуро и А. Л. Осповата; издание это из-за общеизвестных тягот начала 90-х годов вышло в свет с большим опозданием), наконец, монография «Лирика пушкинской поры: „Элегическая школа“» (1994). Исчислено далеко не все даже из «капитальных» работ, а ведь должно вспомнить еще о многом. О словарных статьях (прежде всего, в «Лермонтовской энциклопедии» и четырех томах «Русских писателей»). О «заметках филолога», ритмично появлявшихся в журнале «Русская речь». (Они стали ядром книги, вышедшей в 1994 году под характерным «вацуровским» названием – «Записки комментатора».) О подвижнической текстологической и редакторской работе над новым академическим изданием Пушкина («пробная» версия первого тома появилась в 1994 году, окончательная – в 1999). О рецензиях, в которых В. Э., точно выявляя неповторимые творческие

индивидуальности коллег и фиксируя внимание на своеобычности их исследовательских решений, всегда тактично, но твердо обнаруживал свою – корректирующую – позицию. Особенно важны отклики на исследование А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика» (1981), книгу Л. Я. Гинзбург «О старом и новом» (1983), монографии Ю. М. Лотмана о Пушкине (1982) и Карамзине (1989); здесь же должно упомянуть о некрологах, которыми В. Э. почтил своих наставников: академика М. П. Алексеева и Н. В. Измайлова, и о предисловии к посмертному изданию пушкинских статей Н. Я. Эйдельмана (2000) – работа, посвященная трудам близкого друга и, выражаясь старинным слогом, «со-чувственника», стала публичной собственностью уже после кончины В. Э. В теории все знают, что деление работ настоящего ученого на «собственно научные», «прикладные», «популярные» и «справочные» носит условный характерна практике зачастую дело обстоит иначе. Даже истинные мастера подчас, обращаясь к популярным жанрам, облегчают свою задачу, предлагая упрощенные вариации прежде разработанных и обнародованных тем. Не обладая столь мощным и очевидным просветительским темпераментом, что был присущ, например, Н. Я. Эйдельману или Ю. М. Лотману, тонко чувствуя аудиторию и учитывая специфику избранного жанра (что сказывалось на слоге и организации справочного аппарата), В. Э. использовал любую возможность, дабы выговорить прежде несказанное, ак-туализовать важный смысловой нюанс, аккуратно сместить привычные акценты. В этом смысле для него не было различий меж предисловием к массовому изданию, эссе, написанным по просьбе редакции журнала к очередному юбилею (так, автор этих строк буквально выклянчивал в 1987 году у В. Э. для «Литературного обозрения» «хоть что-нибудь» – в итоге появился «Опыт прямодушия», выросший из тщательного прочтения пушкинского письма к Плетневу, блистательный этюд о совсем непростых отношениях первого поэта и его скромного «оруженосца») и «плановой» работой для замусоренного словоблудием типового сборника ученых трудов, выходящего под академической эгидой. Одним словом, редакция «Нового литературного обозрения» имела все основания предварить выпущенный к шестидесятилетию В. Э. Festsehrift «Новые безделки» точно сформулированным тезисом: «Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки». В этом сомнений не было и нет.

Есть нечто иное. Едва ощутимое при жизни великого историка литературы и «уплотнившееся» после его безвременного ухода. Задуманная в молодости и писавшаяся всю жизнь книга о судьбе готического романа на русской почве так и осталась незавершенной. Разумеется, многочисленные статьи (начиная с опубликованного в 1969 году под искореженным названием, в котором не нашлось места взрывоопасному «клерикально-мистическому» термину, исследования «Литературно-философская проблематика повести Карамзина „Остров Борнгольм“») и любовно собранный, выстроенный и выверенный вдовой исследователя Тамарой Федоровной Селезневой том «Готический роман в России» (2002) содержат бесценную информацию и одаривают великим множеством проницательных наблюдений, открывающих головокружительные научные перспективы. (Кстати, отнюдь не только для филологов, но и для историков идеологии, культурологов, искусствоведов.) Но все же совокупность «готических» текстов (и набросков, планов, отголосков темы в работах о совсем иных предметах) Вацуро – это «материалы», а не монография. Мы ощущаем величие замысла, пленяемся выразительными деталями (заметим, однако, что для В. Э. отдельный новый факт или частная концепция никогда не были самодостаточными ценностями!), в лучшем случае угадываем потенциальные сопряжения сюжетов и контуры общей организующей мысли, но не можем досягнуть целого, судя по всему – очевидного для Вацуро.

Сходно обстоит дело и в другой области интересов В. Э. Он знал, что делал, вынося на обложку монографии об элегической школе слова «Лирика пушкинской поры». Книга эта, с исключительной точностью рисующая движение «центрального» лирического жанра начала XIX века, высвечивающая его трудный генезис, расширение семантических и сти-

листических горизонтов, способность служить полем столкновения различных духовных, идеологических и эмоциональных комплексов (страницы, посвященные «диалогам» Андрея Тургенева и Карамзина, Тургенева и Жуковского, Жуковского и Батюшкова, относятся, безусловно, к высшим достижениям русской филологии), книга эта мыслилась (и писалась, на что есть прямые указания в тексте) как преамбула, введение в главный – пушкинский и пушкиноцентричный – сюжет. Здесь та же история, что с «готикой». Читая предисловия к томам Дельвига и Дениса Давыдова (чья эволюция не остановилась на элегическом цикле, рассмотренном в «Лирике пушкинской поры»), главы о поэзии пушкинского круга, Баратынском, поэзии 1830-х годов во втором томе «пушкинодомской» «Истории русской литературы» (1981), очерки истории отдельных поэтических жанров (элегии, идиллии, стиховой драмы), словарные и не словарные статьи о конкретных поэтах, мы в какой-то мере угадываем единую большую концепцию (ее то ли проект, то ли дайджест был написан В. Э. по просьбе американских коллег на рубеже 1997-98 гг. и недавно опубликован в № 59 «Нового литературного обозрения), – но тоже только угадываем. Очень плотное, „контекстное“ письмо Вацуро, постоянно устанавливающего „странные сближения“ меж, казалось бы, весьма друг от друга отдаленными культурными и литературными феноменами, парадоксальным образом то и дело обнаруживает смысловые пробелы. То, что нам кажется лакунами, возможно, представлялось исследователю само собой разумеющимся, не требующим разжевывания. А возможно, напротив, оставалось для него неразрешимой проблемой. Простоты, что хуже воровства, Вацуро не любил. И об ограниченности исследовательских возможностей, о неизбежности в иных случаях временно руководствоваться недоказуемой строго гипотезой, он напоминал не раз. Как бы то ни было (а было, думается, по-разному), сегодняшний читатель Вацуро (в первую очередь это относится к его коллегам) в какой-то мере обречен заниматься реконструкцией общего замысла ученого. Конечно, эта проблема встает и при обращении к наследию других крупных гуманитариев, но в случае Вацуро приобретает особенную остроту, неотделимую от вполне отчетливой печали: увидеть то, что видел В. Э., нам не удастся никогда.

И здесь естественно возникает третий – наиболее наглядный и наиболее горький – сюжет. Это, разумеется, Лермонтов, которым Вацуро занимался всю жизнь, которого он знал и понимал, как никто другой. Здесь могут возразить, указав на то, что из-под пера Вацуро вышли не только работы, трактующие «частные» и «специальные» сюжеты (от «Лермонтова и Марлинского», 1964, до «Литературной школы Лермонтова», 1986), но и безусловно интегрирующий все наработки очерк о поэте в седьмом томе «Истории всемирной литературы» (1989), что он буквально «выдышал» «Лермонтовскую энциклопедию» (на официальном языке это называлось «заместитель главного редактора»), что Лермонтов – вообще писатель «простой» (творчество компактно, а биография, по слову Блока, «нищенская»), и уж о нем-то Вацуро суммой своих публикаций сказал все, что не успели открыть прежде. Частично принимая эти резонные соображения, приходится констатировать: мозаика сама собой не складывается, втиснуть в раздел коллективного труда монографию было не под силу даже такому изощренному литератору, как В. Э., очень многие статьи «Лермонтовской энциклопедии» (при непреходящем значении этого замечательного издания) писаны совсем не в духе Вацуро (некоторые же из них сущностно противостоят его научным, эстетическим и человеческим идеалам), а наследие Лермонтова и после работ Вацуро (точнее – вследствие существования этих работ) требует обобщающего концептуального труда. Такую книгу мог написать только Вацуро. (Понятно, что это не принижение авторов классических исследований, от П. А. Висковатова до Д. Е. Максимова. И тем более не шлагбаум на пути будущих лермонтоведов.) Не написал. Некоторых собеседников добродушно дразнил, рассказывая о якобы имеющемся сочинении под условным названием «Почему я никогда не напишу книгу о Лермонтове».

Так почему же? Почему ни «готика» (ныне собранная из фрагментов), ни «лирика пушкинской поры» (не завершена), ни лермонтовиана (сведение *всех* лермонтоведческих штудий В. Э. под одной обложкой и с надлежащей рефлексий представляется серьезной и насущной задачей), ни статья о Пушкине, которую В. Э. обещал редакции словаря «Русские писатели», не стали «осязаемыми» фактами? Ответов, как водится, много, и ни один из них невозможно счесть окончательным.

Первый ясен: Вацуро работал в советской системе, что ставила идеологические препоны на пути любого гуманитария (так, в крепком подозрении для официальных инстанций долгое время находился любимый В. Э. готический роман), рассматривала ученого (коли числится он в академической структуре и получает жалованье) как чиновника, обязанного выполнять поставленные перед ним задачи и не слишком выделяться из коллектива иных чиновников. Прибавим сюда высокое чувство долга («плановость» работы не могла сказываться на ее качестве), необходимость заработка (не столь завидны были оклады сотрудников Пушкинского Дома, а за предисловия и журнальные статьи платили прилично), человеческую отзывчивость (если просит хороший знакомый и о вообще-то полезном деле, то отказывать неудобно; даже если знакомый не так уж хорош, а работа, сданная в срок, не устроит какую-нибудь инстанцию: так легло в стол предисловие к «Трем повестям» В. А. Соллогуба – в 1978 году в «Советской России» решили, что лучше издать книгу вовсе без вступительной статьи, чем с «сомнительным» текстом В. Э.). Не забудем и об уже упоминавшемся желании использовать любой случай (любую площадку) для обнародования своих наблюдений и счастливую (или несчастную?) способность живо интересоваться буквально каждым сюжетом, находить в нем «свое», встраивать его в грандиозный общий чертеж истории словесности. Ясно, что до «главного» руки доходили не всегда.

Но не обойтись без оговорок. «Умственные плотины» автор соименной книги, когда хотел, преодолевать умел – издание книги о николаевской цензуре (без старательно отцензурированного слова на титуле) тому порукой. (Актуальный гражданский смысл предельно историчной работы Вацуро и Гиллельсона был внятен в пору ее публикации и не раз обсуждался в печати: по нужде прикровенно – первыми рецензентами, прямо – в новейшие времена, благодарными филологами младшего поколения, чье становление прошло во многом «под знаком Вацуро».) С годами личный авторитет В. Э. как в академической среде, так и у издателей решительно вырос, и вырази он категорически желание вставить в научный план монографию, издать в «Художественной литературе» или «Советском писателе» книгу о Лермонтове, ему бы, вероятно, не отказали. (Вышла же «Лирика пушкинской поры» с академическим грифом.) Конечно, тут не обойтись без «личных» мотивов, без разговора об особенностях характера В. Э., уже начатого первыми мемуаристами, о его интеллигентности и толерантности. Но прежде надобно сказать о другом.

Уже цитированная редакционная преамбула к сборнику в честь шестидесятилетия Вацуро открывается положением, на мой взгляд, куда более спорным, чем следующая за ним аттестация юбиляра. «Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология». Но «великая филология» – это не совокупность замечательно талантливых исследователей (их в 70-80-е годы и впрямь было не мало), помноженная на ажиотаж изголодавшейся по любой «исторической», «философской», «религиозной» фактуре публики, с равным смаком и результатом потребляющей статьи Лотмана и романы Пикуля, историософскую публицистику Л. Н. Гумилева и эссе Аверинцева, труды академика Лихачева и насквозь «литературно-идеологические» картины Глазунова. «Великая филология» предполагает смысловое поле, в котором могут сосуществовать (и бороться) разные научные традиции, но наличествуют четкая шкала ценностей, возможность взаимопонимания разномыслящих исследователей, преемственность поколений, осмысленное разделе-

ние труда, различение «науки» и «эссеистики» (что не отменяет возможности для конкретного гуманитария выступать в двух ипостасях – но по своей воле, а не «силою вещей»!) и, наконец, уж извините, отсутствие постоянного – прямого и косвенного – идеологического диктата. (Простенький, но характерный пример: текстологически образцовый, содержащий обширный раздел редакций и вариантов том Дениса Давыдова в «Библиотеке поэта» вышел под названием «Стихотворения». В преамбуле к примечаниям Вацуро констатировал: «Настоящее издание стихотворений Д. не является полным: в него не вошли эпиграмма № 59 по Изд. 1933 <…> и памфлет „Голодный пес“». Ну да, в 1984 году нельзя было затрагивать «болезненную» польскую тему – даже решительному имперцу и полонофобу Денису Давыдову.) Какая уж тут «великая филология», когда чуть не каждое слово пробивается на свет с трудом и еще неизвестно кем и как будет расслышано.

Научная деятельность наших лучших гуманитариев оказывалась в то же время и борьбой за нормализацию культурного пространства, и Вацуро тут не был исключением. Но всякая идеологическая борьба (вовсе не входящая в прямые задачи историка культуры) не только отнимает силы и нервы, но и сказывается на творчестве. В конце 1920-х годов формалисты задавались вопросом «как теперь быть писателем» (а в подтексте слышалось: «и филологом»). В последние годы вопрос этот обсуждается с не меньшим энтузиазмом (и, похоже, грозит не меньшими издержками). Но не стоит думать, что, загнанный вглубь (в кухонные разговоры или подсознание), он не существовал в «вегетарианский» период советской истории.

Реакцией на всегдашний советский заказ на «монументальность» стала культивация «малых жанров» (комментария и разросшейся сноски). Реакцией на томительное словоблудие и априорность официоза – абсолютизация «точных методов» и изобретение «птичьего языка». Реакцией на невозможность публичного обсуждения целого ряда ключевых гуманитарных проблем – безответственное писание в стол (вредящее ученому не меньше, чем поэту) либо проговаривание их в сознательно эзотеричной манере, способной незаметно нивелировать и сильную мысль. Реакцией на бессмысленный социологизм, примитивный атеизм, непременный культ революционеров (истинных или назначенных таковыми), стали истовые поиски духовности, народных начал и подчас пародийная религиозность. А реакцией на эту постепенно набиравшую силу моду – отказ от конкретного и вдумчивого обсуждения религиозно-философских вопросов, весьма значимых для писателей минувших веков. Фантазмов и химер (причем совсем не обязательно созвучных официальной идеологии или корыстных) 70-е годы породили не меньше, чем ярких свершений.

Размышляя о советской литературе, М. О. Чудакова однажды верно заметила: великий писатель всегда выстоит и сохранит себя (покуда/если его не убьют). То же касается и настоящих филологов. Но выморочное состояние литературной среды, о котором вела речь Чудакова, пагубно сказывается не только на общем движении словесности (филологии, культуры), но и в той или иной мере воздействует даже на самых талантливых людей. Разобщенность гуманитарного сообщества, двусмысленные отношения с потенциальным читателем, абсолютизация той школы, в которой прошло научное и личностное становление ученого (для В. Э. такой школой, безусловно, был Пушкинский Дом, преданность лучшим академическим традициям которого не только ощущается в любой работе Вацуро, но и настойчиво им педалируется), оторванность (конечно, неполная, конечно, целенаправленно преодолеваемая) от широкого контекста гуманитарной мысли XX века, а иногда и от исследований, непосредственно входящих в круг специальных интересов – одним словом, то, что Блок некогда назвал «отсутствием воздуха», даром не прошло ни для кого из лучших «подсовет-ских» гуманитариев. Их интеллектуальное и гражданское служение, их роль в выведении современников из морока скудомыслия и формировании новых поколений исследователей, их (вспомним любимые Вацуро и не им одним слова Пушкина о творце «Истории

государства Российского») «подвиг честного человека» сейчас вызывает не только благодарность, но и подлинное изумление. Но это были живые люди, а не сказочные рыцари – и потому каждому выпали свои потери. Вацуро не дописал те капитальные труды, к которым был предназначен.

Или все-таки не был? Почему давление времени в его случае обусловило именно такой тип утраты и вариант судьбы? Сопоставляя «литературную личность» В. Э. с «литературными личностями» его выдающихся коллег-современников, обнаруживаешь черту, отличающую Вацуро от едва ли не всех интеллектуальных лидеров отечественной гуманитарии конца прошлого века – отсутствие выраженной харизмы. Читая труды Л. Я. Гинзбург или Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана или Н. Я. Эйдельмана, С. С. Аверинцева или М. Л. Гаспарова, В. Н. Топорова или Вяч. Вс. Иванова (список можно продолжить), получаешь некое представление об их «стати» – темпераменте, духовных ориентирах, симпатиях и антипатиях. Не случайно их тяготение к публичности, как не случайны их постоянные выходы за пределы филологии – в философию, публицистику, мемуары, прозу и поэзию. Ничего подобного у Вацуро нет: его статья о М. С. Горбачеве кажется именно что случайной (это никак не значит: не интересной). В книгах и статьях Вацуро почти не ощутим его дар острослова, изысканного и склонного обыгрывать свою «куртуазность» собеседника, мастера искрометных экспромтов, хотя наделен им был В. Э. сполна и в ход его пускал постоянно. (Свидетельством тому прелестная «Вацуриана», составленная Т. Ф. Селезневой и изданная «домашним» тиражом, а также воспоминания друзей, коллег и учеников В. Э. Думаю, что вспомнить такого Вацуро может едва ли не каждый, кто с ним когда-либо разговаривал. Тут могу сослаться на свой опыт совсем не частого и никак не интимно доверительного общения с В. Э.: казалось, он просто не мог не шутить.)

Установка на устранение авторского «я» неотделима от скрупулезности в работе с любым материалом, от недоверия к слишком устойчивым репутациям (всякий литературный факт и всякая человеческая судьба сложнее, чем нам кажется) и к слишком резким научным новациям (сложнее-то сложнее, но гонясь за привидевшейся истиной легко утратить то, что было с трудом установлено; замечательный пример такой чуть ироничной осмотрительности – статья «Еще раз об академическом издании Пушкина», 1999), от такта, с которым В. Э. касается «экзистенциальной» проблематики, всегда мерцающей сквозь призму исторических разысканий, наблюдений над стилем, выявлением конституирующих признаков жанра или школы, открытием источников и реминисценций.

Сколь важны для Вацуро были «последние вопросы», можно судить по двум небольшим фрагментам из совершенно разных работ. Одна посвящена поэтике, другая – истории словесности, в интересующем нас эпизоде особенно тесно сплетенной с просто историей. Анализируя «Метель» (статья «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), Вацуро пишет: «В полном соответствии с традиционным сюжетом в конце рассказа падают препятствия к соединению влюбленных, которые оказываются мужем и женой; однако вряд ли найдется счастливый конец (типовое и до какой-то степени верное представление о развязке „Метели“. – *А. Н.),* который в такой мере был бы окрашен тревожными интонациями». И далее, процитировав общеизвестную сцену опознания Бурмина: «Эта внезапная бледность героя, жест смятения и раскаяния, прерывистая, оборванная авторская ремарка, – что это, как не знак возникающей спонтанно новой, неожиданной психологической коллизии? Автор психологических элегий и „опытов драматических изучений“, Пушкин уже давно пришел к выводу, что самая счастливая любовь таит в себе возможности диссонансов и взаимных непониманий». Это о литературе.

А вот – о поэте. «В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления. Откуда он узнал, что на рассвете

13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу – в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно» («Северные цветы», глава «Безвременье»). И далее: о тех, кто все-таки пришел, о трудностях перемещения по городу с разведенными либо перекрытыми стражей мостами, о неожиданных встречах с молчаливыми знакомцами, об ожидании, о возведении виселицы, чтении приговора, сжигании мундиров, об осужденных, переодетых в арестантское платье, что «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе». «Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?» И потом, запечатлев тремя строками увиденную Дельвигом казнь пятерых, что растянулась на два акта: «И, может быть, он слышал ропот – толпы ли, казнимых или казнящих? – ропот ужаса, сострадания или негодования. Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря».

Эмоциональная вовлеченность автора в давно минувшие события (за которыми видятся иные мятежи, иные казни) сопоставима лишь с предельной точностью сообщаемых фактов и суггестивной энергией прозы, где умолчания действеннее любых описаний. Такого рода «романных» вкраплений в книгах, статьях и кратких биографических справках работы Вацуро совсем не мало. Он умел извлекать психологию (неповторимую личность) и сюжет (непредсказуемую историю) из почти любого материала. Но романов, как известно, не писал. Может быть, считая их жанром легкомысленным. А может быть, напротив, слишком трудным, требующим еще большего знания о человеке и истории. Может быть, полагая, что подлинный читатель распознает гипотетическое целое по намеку и оценит идеальное чувство меры. (Тут невольно вспоминаются незавершенные, но всегда таинственно сопряженные друг с другом замыслы Пушкина). А может быть, не видя того, кто мог бы оценить по достоинству грезящееся смысловое целое.

Кажется, что-то подобное (ускользающее от однозначных формулировок, «воздушное», но властное) заставляло В. Э. откладывать давно лелеемые большие начинания и переключаться на новые сюжеты (всегда, впрочем, как-то да завязанные на старые), на выполнение очередного – издательского или пушкинодомского – заказа, на редактирование и внутреннее рецензирование чужих работ (порой сводящееся к их переписыванию). Конечно, были тут и иные причины (частью обсужденные выше), но была и личная тайна Вацуро. Его шутка о том, что книгу о готическом романе можно писать и после смерти («Призрак… в 12 часов… с ударами колокола является в библиотеке… и читает *тени* книг»), была шуткой. Но не только. И не только о «готической монографии». То совершенное знание, к которому осторожно и последовательно приближался поразительно многосторонний и удивительно тонко мыслящий исследователь, вероятно, здесь недостижимо. Даже для Вацуро.

Мы никогда не прочтем ни полной версии «Готического романа в России», ни второй части «Лирики пушкинской поры», ни книги о Лермонтове. Но представить себе их чуть более конкретно мы можем и должны. Это и есть продолжение научной и культурной традиции. Ее обрыва Вацуро опасался и упорно этому противодействовал. Поэтому так ценил работы предшественников и старших коллег, поэтому систематично и тактично пестовал младших. Он знал, что хотя наука и творится общим тщанием, всякий настоящий ученый неповторим и незаменим, что из наследия каждого мастера можно извлечь то, чего у иных не сыщешь. Надо только уметь читать филолога – так же, как поэта, прозаика, философа, мемуариста, критика… Вывод понятен: прозрачные книги и статьи В. Э. требуют особого внимания; их читателю надлежит следить не только за тем, что происходит с «героями» (будь то писатели, идеи, слова или жанры), но и за скрытным автором, за движением его свободной и строгой мысли, за тем, что уходит в подтекст повествования. Язык (или, если угодно, метод) Вацуро нуждается в изучении (думается, не вполне и не для всех понятным он был

и при жизни ученого) – на этом пути пока сделаны лишь первые шаги. Хочется верить, что одним из них станет эта книга.

А. С. Немзер

ПАМЯТИ В. Э. ВАЦУРО

Уход Вадима Эразмовича Вацуро провел по ткани нашей общей жизни резкую разделительную черту. Теперь уже ясно, что русской гуманитарии никогда не быть такой, какой она некогда была. И дело здесь не в символике смены веков и тысячелетий. В сущности, его расхождение с временем началось довольно давно.

Когда на закате советской эпохи я впервые увидел Вацуро, он уже казался небожителем, занесенным к нам из заветной пушкинской поры. Казалось даже немного странным, что именно он, вместе с М. И. Гиллельсоном, написал «Сквозь умственные плотины» – книгу, поражавшую как раз жгучим чувством актуальности и точным ощущением социальной востребованности.

Идея напечатать в те годы работу о цензуре, о сопротивлении цензуре, о нравственном и литературном выживании под цензурным гнетом даже задним числом производила впечатление авантюры. Надеюсь, те, кто знает, когда-нибудь расскажут, как Вацуро и Гиллельсону удалось ее реализовать…

Центральный раздел книги – «Подвиг честного человека» – был написан Вадимом Эразмовичем. В нем речь шла о том, как Пушкин в николаевское царствование отстаивал «своего Карамзина», видя за системой политических взглядов прежде всего борьбу за человеческое достоинство, право сохранять личную независимость перед лицом любых обстоятельств.

Руку Вацуро было легко узнать по виртуозному выявлению подтекстов и контекстов, но важнее всего в книге или, по крайней мере, в этой главе была смысловая перспектива. Карамзин, увиденный Пушкиным, увиденным Вацуро, – взгляд был обращен из несвободного времени в относительно более свободное, что облегчало разговор и подчеркивало преемственность. В сущности, это был новый способ думать о прошлом, освобожденный от лобовых аллюзий, но остросовременный по абсолютно экзистенциальному ощущению истории.

Разрабатывать найденную жилу пришлось другим. Вацуро же обрел свою независимость в бесконечном оттачивании профессионального мастерства, когда каждый следующий шаг определен внутренней формой полностью покоренного материала. С годами его сюжеты становились все камерней, техника все безукоризненней, голос все чище и отрешенней. Он все больше проникался полновесной легкостью словесности, которую изучал, тем ее стилистическим свойством, которое Лидия Яковлевна Гинзбург назвала гармонической точностью.

Манера Вацуро-исследователя делается особенно рельефна, если сравнить ее с интеллектуальным почерком Лотмана, едва ли не единственного его соперника по глубине понимания и непосредственному ощущению пушкинской эпохи. У Вацуро нет и следа лотмановской могучей топорности, духа веселой провокации, взывающей к додумыванию и полемике. Наблюдения Вацуро не тянет, да, пожалуй, и бессмысленно развивать, они завершены и обладают той мерой внутренней самодостаточности, которая превращает науку в искусство.

Последние его заметки читать жутко, как пушкинские антологические стихотворения 30-х годов. Они, кажется, отвечают на вопрос, доступно ли смертным совершенство. Некоторым доступно, но дается оно ценой такого свирепого самоограничения, такого тотального отказа, что поневоле задумаешься, стоит ли об этом мечтать. Похоже, что человек, который умеет так работать, уже не жилец.

Как хочется верить, что теперь он свободен, и в блаженном Элизии его тень беседует с тенями Пушкина и Карамзина. Видит бог, им есть о чем поговорить.

А. Л. Зорин

I
«СЕВЕРНЫЕ ЦВЕТЫ» ИСТОРИЯ АЛЬМАНАХА ДЕЛЬВИГА-ПУШКИНА

Памяти своих близких —
Эразма Григорьевича Вацуро,
Сергея Валентиновича Андриевича
посвящает автор

ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Восемь маленьких изящных книжек в осьмушку, с гравированными «картинками» и виньетками, изображающими лиры и гирлянды цветов. Альманах «Северные цветы» – на 1825, 1826 и так далее, вплоть до 1832 года. В первых двух книжках значится: «собранные бароном Дельвигом», в третьей – «изданы бароном Дельвигом». Далее имя исчезает. С фронтисписа книжки на 1828 год смотрит на нас лицо Пушкина.

Пушкинские стихи – в каждой книжке: «Песнь о вещем Олеге», отрывки из «Онегина», из «Цыган»; «19 октября», «Граф Нулин», «Воспоминание», «Моцарт и Сальери», «Бесы», «Анчар»… Около шести десятков произведений.

Жуковский. Баратынский. Дельвиг. Языков. Вяземский. В отделе прозы – Гоголь. Почти все пушкинское окружение.

«Второй ряд»: Плетнев, Туманский, Сомов, Подолинский. Третий ряд, четвертый и пятый. Иван Балле.

Через полтора десятилетия Гоголь будет со вздохом вспоминать о «благоуханном альманахе», а Белинский поражаться странному соседству имен великих и малых. К этому времени уйдет в прошлое эпоха альманахов, и невероятный успех «Северных цветов» в течение восьми лет будет казаться литературным анахронизмом.

Восемь лет – целая история. Можно проследить восьмилетнюю историю журнала или газеты.

Но что такое история альманаха, который собирают один или два человека от добровольных щедрот даятелей? Издатели – во власти случая и стихии, которой не всегда могут управлять. Каждый год, выпустив книжку, они совершенно таким же образом принимаются за следующую. История альманаха движется по замкнутому кругу.

Так ли это? И да, и нет. Имена основных участников повторяются из книжки в книжку; это одна среда, один литературный круг. Из него вышли «Северные цветы», и он наложил на альманах свою неизгладимую печать.

Читая альманах, мы обнаруживаем и явные признаки целенаправленной работы издателей. Она сказывается то в отборе стихов, то в критических суждениях, а иногда в самом построении книги. Люди все же направляли альманах, и эпоха с ее событиями общими и частными, закономерными и случайными меняла характер книжек, их содержание и состав, оставляя на альманашных страницах свои явственные следы.

История издания – это часть истории издателей.

В нашей исторической хронике мы попытаемся собрать разрозненные факты и заглянуть за кулисы альманаха, чтобы рассмотреть его как результат неких процессов в русском

[1] Печатается по изданию: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига – Пушкина. М.: Книга, 1978.

обществе и литературе 1824–1832 годов. Нам придется касаться истории литературы, эстетики, социологии и даже быта – но не это будет нашей главной задачей.

Нас будет интересовать, как, почему и в каком облике из всего этого многообразия русской культурной жизни каждый год на протяжении восьми лет выходил альманах «Северные цветы».

Глава I
РОЖДЕНИЕ АЛЬМАНАХА

В рождественский сочельник 1823 года петербургская читающая публика устремлялась в книжную лавку Сленина, что на Невском проспекте у филармонической залы. Здесь ждала ее новинка, уже ставшая ежегодной, – «русский альманах» – «Полярная звезда на 1824 год», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. Год назад первая книжка этого альманаха разошлась с неслыханной быстротой – в полтора месяца, и нужно было спешить с покупкой.

Это был успех – невиданный со времени «Истории» Карамзина, успех даже странный, потому что вообще книги расходились плохо. Книгопродавцы, ничего подобного не ожидавшие, взяли тогда по пяточку-десяточку дорогих книжек – и ошиблись жестоко; один Иван Васильевич Сленин, комиссионер «Звезды», остался в прибылях и торжествовал.

Даже сами издатели – Бестужев и Рылеев – не рассчитывали, что план их – приохотить читателей и читательниц к отечественной словесности, и притом романтической – станет осуществляться столь скоро. Теперь они торопились закрепить одержанную победу. В новой книжке собралось тридцать восемь прозаиков и поэтов – весь пишущий мир обеих столиц, украшавший своими именами повременные издания: Пушкин, Жуковский, Крылов, Дельвиг, Вяземский, Баратынский и десятки иных, не говоря уже о самих издателях. Публика разбирала новую «Звезду» с удвоенным рвением; похоже было, что словесность входила в моду.

Скептики из московского «Вестника Европы» и петербургского «Благонамеренного», не одобрявшие вообще новейшего романтизма, намекали не без яда, что «карманная книжка» стоимостью до 12 рублей опустошает карман читателей и наполняет – издательский, и в том имеет свое назначение. У Бестужева и Рылеева было на этот счет иное мнение.

Они видели в «расходе» «Звезды» явственный признак общественного признания литературы. Россия выходила на стезю европейского просвещения. В Европе существовали писатели-профессионалы, «hommes des lettres», предлагавшие плоды своей духовной деятельности всему обществу и получавшие от него средства к существованию. В России такие писатели были исключением: им не на что было жить, если не находился покровитель, меценат. «Сочинитель» – это было не занятие, а нечто побочное, частное, неопределенное в общественном смысле.

Стишки для вас одна забава…

Все меняется, когда сочинитель получает деньги за свой труд, – точнее, когда ему начинают платить деньги. Тогда «стишки» – не «забава», а профессия, а поэт не зависит от меценатов хотя бы лично.

Наш век – торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет…

Пушкин на юге спорит с Раичем, доказывая ему, что продажа рукописи, не вдохновения – не постыдна для благородного литератора. И так же думали Бестужев с Рылеевым, наблюдая, как тираж «Полярной звезды» исчезает из книжных лавок. Теперь они делают второй шаг, осуществляя свой широкий просветительский замысел.

Они объявляют – впервые в России, – что намерены покупать для своего альманаха стихи и прозу, – как сказали бы теперь, платить авторский гонорар. Поэтому они вынуждены

отказаться от комиссионерских услуг Сленина – и все расходы по изданию впредь берут на себя.

Если бы Бестужев и Рылеев не стали на путь литературной коммерции, требование самостоятельности литератора – пусть относительной, но все же большей, чем прежде, – осталось бы пустым звуком. Если бы, составляя альманах, они не учитывали вкусов покупателя – о возбуждении интереса к отечественной словесности не могло быть и речи. Наконец, если бы Иван Васильевич Сленин был меценатом и не заботился о своих доходах, то, перестав быть комиссионером «Полярной звезды», он не обратился бы к Дельвигу с предложением о новом альманахе – и русская культура не имела бы «Северных цветов».

Избрав Дельвига как возможного составителя нового альманаха, Сленин знал что делал. Дельвиг пользовался уважением в литературных кругах – и в том числе в Вольном обществе любителей российской словесности, где состояли членами Бестужев и Рылеев и откуда вышла «Полярная звезда». Он был знаком и со старшим поколением поэтов – Гнедичем, Крыловым, Жуковским, – и с младшим, к которому принадлежали его близкие друзья – Пушкин, Баратынский, Кюхельбекер. Книгопродавец оказался на высоте: он рассчитал, что альманах Дельвига будет довольно близок к «Полярной звезде» по составу участников. Издание и продажу он брал на себя, за что Дельвиг должен был получить 4 тысячи рублей ассигнациями.

Можно думать, что на тех же условиях он издавал и «Полярную звезду».

Мемуарист передает, что Дельвиг «немедля сообщил эту мысль Рылееву, который ничего не имел против нее», но после выхода «Северных цветов» отношения охладились: Рылеев был «видимо недоволен» тем, что многие произведения лучших поэтов украсили эту книгу, отчего, конечно, много потеряла «Полярная звезда»**1**.

Все эти переговоры падают, по-видимому, на самый конец 1823 или начало 1824 года. В январском письме Вяземскому, сообщая об успехе новой «Полярной звезды», Бестужев роняет фразу о «мелочной зависти», которую возбуждает этот успех даже среди людей, которых они, издатели, считали «беспристрастнейшими в свете». Если это письмо действительно намекает на «Северные цветы», то перед нами – самое раннее из свидетельств об альманахе, о замысле которого знает пока только узкий литературный круг. Говоря о конкурентах, Бестужев не может сдержать ноту досады или враждебности. Впрочем, в следующем письме Вяземскому от 28 января, где «Северные цветы» названы прямо, интонации уже более спокойны. Бестужев дружески-шутливо упоминает о Дельвиге, который, преодолев свою обычную лень, принял участие в «Звезде», и сообщает об обеде для участников, где враги сидели мирно рядом и «литературная ненависть не мешалась в личную». Он заканчивает призывом, где звучит комическое отчаяние: «У вас выходит *четверогранный альманах,* у нас Дельвиг и Сленин грозятся тоже *Северными цветами* – быть банкрутству, если вы не дадите руки».

«Банкрутство» – конечно, шутка; уже ясно, что «Полярная звезда» может не бояться конкуренции. «Литературные листки» Фаддея Булгарина сообщают, что за три недели распроданы все 1500 экземпляров, и также слегка шутят над четырехтомной «Мнемозиной». И то же самое пишет Бестужев Я. Толстому в письме от 3 марта:

«Кюхельбекер издает *Альманах в 4-х частях* под заглавием «Мнемозина», он еще не показался, а г-н Сленин и Дельвиг издают на 25-й год *Северные Цветы,* точно то же, что и наша звезда. Это спекуляция промышленности. Им завидно, что в три недели мы продали все 1500 экземпляров – посмотрим удачи!»**2**.

В этот же день, 3 марта, «Литературные листки» объявляют публике о «Северных цветах». Извещение было составлено в тоне внешне благожелательном и лояльном к новому изданию – и в то же время в нем были поставлены весьма симптоматичные акценты. «На русском Парнасе носятся слухи, – писал Булгарин, – что несколько литераторов и один кни-

гопродавец вознамерились к будущему 1825 году издать альманах в роде *Полярной звезды,* под заглавием *Северные цветы*».

Мысль Бестужева, высказанная в частном письме, становилась достоянием публики. «Северные цветы» будут подражанием широко известному альманаху.

«Хотя наш Север не весьма славится цветами, – в тоне автора слышится едва уловимая снисходительная ирония, – однако ж при старании можно кое-что вылелеять».

Это шутка; далее тон становится серьезным. «Желаем и надеемся успеха, тем более, что семена весьма рано посеяны. Это соперничество» (автор предупреждает возникающие подозрения) «нисколько не повредит „Полярной звезде“, напротив того, возродит в издателях соревнование, что также послужит к пользе читателей. Кто покупал в продолжение двух лет „Полярную звезду“, тот купит и в третий раз, особенно зная отличные дарования издателей, гг. Бестужева и Рылеева»**3**.

К сожалению, мы не знаем, как реагировали издатели «Полярной звезды» и будущие издатели «Северных цветов» на эту прямую рекламу, которая могла бы обострить отношения и без того конкурирующих групп.

Противопоставлять «отличные дарования» названных поименно популярных писателей нескольким безыменным «литераторам и книгопродавцу» значило прямо подсказывать публике выбор одного издания в ущерб другому. Призыв же в виду этих обстоятельств покупать «Полярную звезду» превращал литературное «соперничество» в борьбу торговых фирм. Грань между «словесностью» и «коммерцией» становилась исчезающе тонкой.

Все это никак не могло входить в планы Бестужева и Рылеева.

Согласившись стать издателем «Северных цветов», Дельвиг понимал, что его ждут довольно значительные трудности. Начать с того, что отношения в «Вольном обществе» были не вполне безмятежны. Здесь действовали две партии – «правая» и «левая», консерваторы в обществе и литературе, группировавшиеся вокруг А. Е. Измайлова, издателя «Благонамеренного», и либеральная часть. Последняя была в большинстве; к ней принадлежали президент общества Федор Николаевич Глинка, вице-президент Н. И. Гнедич, признанный мэтр и учитель, переводчик Гомера; издатель «Сына отечества» Н. И. Греч и сотрудник его, польский журналист не без способностей Ф. В. Булгарин, ставший русским литератором и издававший с 1823 года «Литературные листки», о которых мы уже упоминали; наконец, издатели «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев и сам Дельвиг с небольшим кружком оставшихся друзей, прежде всего с П. А. Плетневым.

Все эти люди приняли участие в «Звезде» и действовали против консерваторов сообща – однако прошлый 1823 год посеял среди них брожение.

Мы не знаем досконально, что творилось за кулисами общества и почему Гнедич был сменен с вице-президентства и на его место избран Греч.

Обиженный Гнедич фрондировал, и его поддерживали Ф. Глинка, Дельвиг и Плетнев, особенно сблизившиеся с ним на протяжении 1822–1823 годов.

К Гречу тяготели Рылеев, Бестужев, Булгарин.

Из этой последней группы вышли потом вожди Северного общества декабристов – и можно предполагать, что какие-то общественные разногласия сыграли свою роль в разделении общества на партии. Однако они были не единственной и, может быть, даже не главной причиной. По Петербургу ходили слухи, что Греч интригует за спиной у Ф. Глинки и пытается «обратить Общество» к своему журналу**4**. Это было очень похоже на истину. Официальный журнал общества – «Соревнователь просвещения и благотворения» – день ото дня хирел, а рядом с ним оскудевал гречев «Сын отечества», тоже питавшийся от даяний общества. Сил на два журнала у «соревнователей» не было.

«Сын отечества» был авторитетен и популярен, его покупали «наряду с академическими ведомостями» – но положение могло измениться каждую минуту, и опытный журна-

лист был неспокоен. Еще в 1816 году он предлагал вновь возобновленному Обществу любителей словесности, наук и художеств взять его детище под свою эгиду**5**. Обществу нужен был печатный орган, Гречу – сотрудники. Сделка расстроилась, и Греч связал тогда свою судьбу с «соревнователями». Он должен был заботиться о завтрашнем дне; журнал требовал пищи. Прекратись ее приток – и он погиб, и неминуемое крушение ждет журналиста.

В 1823 году в России был неурожай, дороговизна, помещики в губерниях предпочитали не тратиться на журналы. Число подписчиков у Греча упало вдвое**6**. Теперь, по мнению Греча, «Соревнователь» должен был погибнуть, чтобы гибелью своей спасти «Сына отечества». План не удался; Глинка, Рылеев, О. Сомов образовали «домашний комитет» для оживления журнала и общества. Греч не вошел в него. В 1824 году он был сменен с вице-президентства и не посетил ни одного заседания**7**.

Все это осложняло отношения Греча с руководителями «ученой республики», в том числе и с Бестужевым и Рылеевым, – однако разногласия пока не выходили на поверхность. И он, и Фаддей Булгарин, его ближайший журнальный соратник, держались либеральных взглядов и неизменно поддерживали «Полярную звезду». Булгарин был прямо дружен с Рылеевым и Бестужевым, и мнения их то и дело всплывали в его статьях: он спешил высказать их даже когда и не был никем уполномочен. Так он поступил, извещая о «Северных цветах».

Издатель конкурирующего альманаха в лучшем случае мог рассчитывать здесь на недоброжелательный нейтралитет. Если же издатель был Дельвиг, то следовало ожидать и прямых воинских вылазок, ибо Дельвиг был связан с конкурентом Греча и Булгарина – а с некоторых пор и непримиримым их врагом – Александром Федоровичем Воейковым.

Воейков был женат на любимой племяннице Жуковского А. А. Протасовой, «Светлане» его баллад. Из этого брака он извлек все, что можно, – покровительство Жуковского, литературные связи, деньги. Он извлекал из него даже стихи. В доме Александры Андреевны был литературный салон; ее «лунная красота» и неотразимое обаяние привлекали поклонников. Александр Тургенев и Василий Перовский – близкие друзья Жуковского – были влюблены в нее, как влюблялись люди десятых годов – молча, на всю жизнь, с романтическим томлением. Иван Иванович Козлов, ослепший и прикованный к креслу, считал ее ангелом, ниспосланным ему в утешение. Даже Булгарин одно время сходил от нее с ума, и суховатый и иронический Греч смягчался в ее присутствии. Ни Рылеев, ни Бестужев не остались к ней вполне равнодушны, а молодой Николай Языков кипел и трепетал от неразделенной страсти.

За всеми этими людьми внимательно следил муж – маленький смуглый брюнет с подвижным лицом и вспыхивающими в глазах огоньками тайного недоброжелательства. Нет, не ревность говорила в нем – супруга не давала к ней никаких поводов. Все эти люди были нужны ему – они писали стихи и прозу, которые он, Воейков, печатал в своих «Новостях литературы» – литературном приложении к издаваемой им военной газете «Русский инвалид». Плодами вдохновений Жуковского, И. Козлова, Языкова, одно время даже Рылеева он владел почти монопольно. Не любовных, но журнальных соперников опасался Воейков.

Конкуренция входила в быт, в семейную жизнь, она скрепляла и разрушала дружеские связи. Она встала между некогда закадычными друзьями – Булгариным и Воейковым – и в 1823 году превратила их в смертельных врагов.

Отчуждение и неприязнь росли между кружком Воейкова – и Гречем, Булгариным, Бестужевым, Рылеевым.

Дельвиг был в орбите воейковского кружка, и легкая тень падала на него. Бестужев подозревал, что конкурирующий альманах возникал не без воейковской интриги.

Все эти частности и местности, как уже сказано, делали положение Дельвига щекотливым и затруднительным. Он предупредил Рылеева и Бестужева и даже как бы испросил их

согласия на новый альманах – но он не мог рассчитывать на их участие, равно как и на участие близких к ним членов «ученой республики» – Греча, Булгарина, Сомова, Корниловича, к тому же занятых и собственными литературными предприятиями. Оставались Ф. Глинка, Гнедич; по прежним связям можно было что-то получить от А. Е. Измайлова. В воейковском кружке могли поддержать его Жуковский, И. И. Козлов, сам Воейков. Наконец, должен был откликнуться лицейский «союз поэтов» – Пушкин, Кюхельбекер и соединившиеся с ним позже Баратынский и Плетнев. Из этого союза в Петербурге были, впрочем, только он сам, Дельвиг, и Плетнев: Кюхельбекер сам издавал в Москве альманах с В. Ф. Одоевским и нуждался в литературной помощи; Пушкин был на юге, в ссылке, Баратынский тянул в Финляндии унтер-офицерскую лямку.

Тем не менее Дельвиг начинает переговоры с «союза поэтов» и прежде всего обращается к Пушкину. Во второй половине января – начале февраля 1824 года Пушкин пишет брату Льву: «Что Кюхля? Дельвигу буду писать, но если не успею, скажи ему, чтоб он взял у Тургенева Олега вещего и напечатал. Может быть, я пришлю ему отрывки из Онегина; это лучшее мое произведение»**8**. Здесь идет речь сразу о двух альманахах лицейских товарищей: о «Мнемозине» «Кюхли» и о «Северных цветах».

«Мнемозина» получила «на зубок» «Вечер» («Я люблю вечерний пир») и «Моего демона». У Дельвига в руках была пока только «Песнь о вещем Олеге», которую Пушкин посылал А. И. Тургеневу, видимо, при письме от 1 декабря 1823 года. Это было не так много, но самый подарок содержал в себе некоторый особый смысл.

Печатая у Дельвига «Песнь о вещем Олеге», Пушкин вступал тем самым в литературное состязание с Рылеевым, написавшим думу «Олег Вещий». В рылеевской думе он находил анахронизмы и – что гораздо важнее – отсутствие исторических характеров. Именно такой характер занимал его более всего, когда он писал собственную балладу: первобытное простодушие средневекового воина с его детской верой в слова прорицателя и трогательной привязанностью к животному – товарищу многолетних походов. Рылеев искал в Олеге иного: символа древней национальной славы**9**. Разница эстетических принципов Пушкина и «гражданского романтизма» декабристов уже давала себя знать, и Пушкин, надо думать, не случайно не отдал этих стихов в «Полярную звезду». Он мог предвидеть, что издателям они не понравятся, – как и случилось.

Здесь не было преднамеренной полемики, а был отбор и распределение стихов, что Пушкин делал не раз. Вместе с тем можно думать, что новой «Звездой» Пушкин не был доволен и собирался дать это почувствовать издателям. В альманахе была напечатана его «Таврическая звезда» («Редеет облаков летучая гряда.») с тремя последними стихами, которые имели для него особый, интимный смысл – они относились к Екатерине Раевской, ныне жене М. Ф. Орлова. Эпизод, описанный в них, мог быть узнан и самой Орловой, и ее мужем. Пушкин боялся двусмысленных положений как огня и негодовал на бесцеремонность Бестужева, которого об этих стихах специально предупреждал. В довершение бед два других его стихотворения в прошлой «Звезде» – «Нереида» и «Элегия» («Простишь ли мне ревнивые мечты.») вышли обезображенные опечатками, и Пушкин с досадой отправлял их Булгарину, прося напечатать правильно.

Все это мало располагало Пушкина посылать новые стихи в «Полярную звезду», хотя обеспокоенный Бестужев не раз пытался загладить свою оплошность. Он дает уклончивый отзыв об альманахе в целом и довольно холодно встречает предложение Бестужева продать для следующей книжки «десяток пиес». «Едва ли наберу их и пяток, да и то не забудь моих отношений с цензурой. Даром у тебя брать денег не стану; к тому же я обещал Кюхельбекеру, которому верно мои стихи нужнее, чем тебе». Давние лицейские связи имели для Пушкина особую цену; к тому же он знал, вероятно, что Кюхельбекер находится чуть что не в крайности. Вслед за тем он решительно отказывает Бестужеву в отрывках из «Онегина» –

видимо, тех самых, которые предназначал для Дельвига: «Об моей поэме нечего и думать – если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге»**10**.

Дельвиг обращался к Пушкину не только за стихами, но и за посредничеством. Он просил Пушкина и Жуковского замолвить за него слово Вяземскому – и только после этого решился написать сам. Он извинялся в принятых мерах предосторожности и затем сообщал об альманахе. Он просил от Вяземского стихов и прозы, несколько смущаясь, что начинает «делаться бесстыдным, как наши журналисты». «Не имея личных достоинств Рылеева и Бестужева, – так заканчивал он письмо, – надеюсь на дружбу некоторых лучших наших писателей и потому смею уверить вас, что я все употреблю старание доставить Вашим пьесам достойное их общество.»**11**.

Дельвиг, конечно, знал, что Вяземский уже прочно связал себя с «Полярной звездой» и потому-то поспешил заручиться дружеской поддержкой. Мало того, были некоторые основания думать, что Вяземский предубежден против конкурирующего альманаха: не забудем, что именно к нему Бестужев обращал свои то иронические, то негодующие письма. Он посылал в «Звезду» через Жуковского то «Святополка» Кюхельбекера, то собственный «Петербург» и требовал от Жуковского «Иванова вечера» – «Замок Смальгольм»; Жуковский совсем было согласился, но потом почему-то раздумал; в ноябре 1824 года Бестужев жаловался Вяземскому на Жуковского: «отдал „Иванов вечер“ и взял назад»**12**.

Помимо обязательств перед «Полярной звездой» были и другие причины, о которых Дельвиг мог знать лишь частично. На Вяземского в одночасье свалилось множество дел: хлопоты с продажей имения, хлопоты с изданием пушкинского «Бахчисарайского фонтана», которое он взял на себя, наконец, хлопоты литературные. Он считал, что теряет свою популярность у «петербургских словесников»: он вступил уже в довольно корректную поначалу, но все более накалявшуюся полемику с Булгариным. Речь шла о баснях И. И. Дмитриева, которому Вяземский отдавал недвусмысленное предпочтение перед Крыловым. Булгарин возражал печатно, и за ним было общее мнение. Вяземский отвечал; журнальная война расширялась. В феврале Булгарин извещал о выходе 20 новых пьес Крылова и среди них басни «Прихожанин» – «последняя может служить руководством критикам, которым кажется все дурно, что не их прихода». В Петербурге знали, что басня намекает на Вяземского: Крылов был задет**13**.

Все время, пока развивались эти события, Вяземский писал только ближайшим друзьям – А. Тургеневу и Жуковскому. К марту он немного освобождается от хлопот. 9 марта он просит Бестужева извинить его молчание. «Летом пришлю я вам добрый запас на выбор для „Звезды“. Теперь нет ничего отделанного, а на отделку нет времени, ни свободы»**14**.

У Вяземского не было новых стихов даже для «Полярной звезды» – тем более он ничего не мог послать Дельвигу. К просьбам Жуковского и Пушкина он, однако, не мог быть равнодушен, и потому оттягивал ответ, не отказывая решительно.

Вяземский просил Жуковского о «Полярной звезде», Жуковский Вяземского – о «Северных цветах».

Впрочем, Дельвиг тоже, подобно Бестужеву, мог бы жаловаться на Жуковского: обещал «Водолаза» и не отдал. В сентябре 1824 года Дельвиг уже почти что имел в руках перевод этой баллады, которая потом стала известна под названием «Кубок». Но Жуковский не окончил перевода ни в 1824 году, ни в следующем – и лишь через семь лет поставил последнюю точку**15**. С тех пор, как умерла его Маша, Мария Андреевна Мойер, он писал совсем мало и с головой ушел в педагогические занятия с наследником. Упреки друзей не действовали: этот мягкий человек становился упорен и даже упрям, когда бывал в чем-нибудь убежден. А он был убежден, что время стихов для него прошло и остаток жизни он должен посвятить одной идее**16**.

Бестужев жаловался Вяземскому, что Жуковский отказал ему в стихах для «Полярной звезды», «уверяя, что ничего нет», «когда отдавал Дельвигу новую элегию». Он полагал, что Жуковский просто обманул его, но он ошибался. У Жуковского не было запаса – и ему действительно неоткуда было черпать. Он отдавал Дельвигу самые последние по времени свои стихи – почти все они записаны в альбом А. А. Воейковой в 1823–1824 годах.

Но в одном Бестужев был прав: здесь было действительно предпочтение и даже знак доверия, потому что стихи Жуковского принадлежали к числу самых интимных, навеянных его недавней потерей. В них выразилось то же настроение, которое владело Жуковским, когда он сажал деревья у свежей могилы Машеньки, – не отчаяние, не скорбь даже, а какая-то покорная резиньяция, как будто он сам готовился к переходу в иной мир и ощущал себя сопричастным отошедшему «товарищу души, прекрасному, удаленному от всякого страдания». «Таинственный посетитель», «Мотылек и цветы», «Ночь», даже ранее написанное «Привидение» проникнуты этим мистицизмом, уже не только литературным, но прочувствованным и воспринятым как собственное мироощущение. Жуковский печатал эти стихи в «Северных цветах» – в «Полярной звезде» они, помимо всего прочего, были бы и не у места.

Жуковский поддержал альманах Дельвига не только своими стихами – он привел сюда и весь свой круг.

Иван Иванович Козлов, отдавший в «Полярную звезду» «Венецианскую ночь», сразу же ставшую знаменитой, вознаградил «Северные цветы» пятью другими стихотворениями. Автографы двух из них – «Киев» и «Ирландская песня» (Из Мура) мы находим в альбомах А. А. Воейковой, но слепой поэт редактировал их, в особенности второе, которое переделал почти полностью. Под этим вторым стихотворением в альбоме была дата: 20 апреля 1824 года; новую редакцию он дал Дельвигу, конечно, позже, – вероятно, лишь в конце октября или начале ноября**17**.

Третьим представителем этого дружеского кружка оказался Василий Алексеевич Перовский. Этот человек, образованный и любивший литературу, никогда не выступал как писатель. Его «Отрывки писем из Италии», напечатанные у Дельвига, были подлинными письмами, писанными Жуковскому во время итальянского путешествия Перовского в 1823–1824 годах; Жуковский отдал их в печать, кажется, без ведома автора – часть Воейкову, часть Дельвигу. Они появились в «Цветах» за подписью «П… й» – и автор был узнан, по крайней мере Пушкиным**18**.

Сам Воейков тоже дал прозу, и тоже «путешествие», оче$_{19}$рк из своего цикла «Путешествие по отечеству», «Прогулка в селе Кусково»**19**.

Круг Жуковского и Воейкова выполнял, таким образом, свои обещания, и доля его в дельвиговском альманахе оказывалась больше, чем в «Полярной звезде». Шло постепенное, не слишком еще явное размежевание литературных групп.

Из окружения Жуковского, из «арзамасского братства» приходит в «Северные цветы» и Дмитрий Васильевич Дашков. Некогда основатель «Арзамаса», дерзкий и удачливый противник «староверов» из «Беседы любителей русского слова» ныне преобразился в твердого и, по-видимому, довольно хладнокровного дипломата. Дашков был советником при русском посольстве в Константинополе. Во время греческого восстания он спас от гибели немало греческих семейств. В редкие перерывы между служебными занятиями он ездил по афонским монастырям, разыскивая греческие и славянские рукописи и грузинскую библию. В нем жил ученый филолог; в Константинополе он изучил греческий язык и переводил античные эпиграммы с подлинника, читая сотни страниц комментариев, чтобы понять несколько строк древнего текста. Он стал не эллинистом, а министром юстиции в николаевском правительстве. Законодательные планы его были слишком преждевременны; ум, работоспособность, энергия оказались не нужны. Он являлся своим подчиненным неким Катоном, холодно сдер-

жанным олицетворением беспристрастия. Его считали мизантропом, и только очень близкие люди видели другого Дашкова – внимательного и почти ласкового. Таким знал его Жуковский; он называл Дашкова «Дашенькой», каждый раз приводя этим в изумление Вяземского.

В 1823 году для Дашкова наступил период вынужденного бездействия: слишком ревностных сторонников греческой революции тогда негласно отстраняли от дел. Он раздражался, хотел требовать отставки и между тем вернулся к начатым некогда переводам эпиграмм, чтобы завершить, наконец, многолетний труд. Эти-то эпиграммы – «Цветы, выбранные из греческой анфологии» – Дашков начинает печатать, разделив свой запас между «Полярной звездой» и «Северными цветами». Он печатается анонимно, но в литературных кругах авторство его – не секрет.

В его переводах соединились «классик», пристрастный к торжественной, архаизированной речи, и «арзамасец», добивающийся изящества и логической точности слова. Филологически они были почти безупречны. Но печатал их Дашков не для филологов.

На них лежал отблеск античности, с ее суровым героизмом, немногословным патриотизмом, с ее презрением к смерти. Дух Древней Греции, воскрешаемый русским дипломатом, преданным делу греческой свободы. Эти стихи эллинской древности стояли рядом с песнями клефтов, подаренными Дельвигу Гнедичем.

Гнедич готовил отдельным изданием песни клефтов, восставших греков, которые собрал и напечатал во Франции Фориэль. Он выбрал для Дельвига ту, которую почитал лучшей в собрании, – «Олимп», и добавил к ней две другие: «Гроб клефта», «одну из славнейших в своем роде песен», и «Кальякуд», где находил сродство с русской народной поэзией. Он отдал явное предпочтение «Северным цветам» перед «Полярной звездой»: в прошлой книжке «Звезды» он не участвовал вовсе, отговорившись неимением альманашных стихов, в новую дал отрывок из «Илиады».

Следы его недавней фронды в обществе «соревнователей» еще сказывались.

К переводам Гнедича Дельвиг сделал примечание, где сообщал о выходе его книги с рассуждением переводчика о «простонародной» поэзии греков и славян.

Песни клефтов составляли в альманахе особый цикл, к которому Дельвиг добавил другой, близкий по духу и по поэтике. Он убедил Александра Христофоровича Востокова заняться переводом сербских народных песен из сборника Вука Караджича.

Востоков был поэт и ученый филолог, знаток античной и народной метрики, грамматик и славист. Еще в 1817 году Кюхельбекер приносил своим пансионским ученикам только что появившийся его «Опыт о русском стихосложении», а четырьмя годами позднее Плетнев и Дельвиг перечитывали вместе книжку стихов Востокова, восхищаясь его посвящениями – в особенности адресованными Гнедичу; через двадцать с лишним лет Плетнев просил Востокова подарить ему экземпляр и переписать эту надпись. Сам Дельвиг вспоминал стихи Востокова, подражая Катуллу, – да и в других случаях, когда ему приходилось имитировать античную метрику. Они встречались в обществах «соревнователей» и словесности, наук и художеств, где Востоков был непременным почетным членом, вероятно у Гнедича, может быть у Оленина, несомненно – в Публичной библиотеке, где служили оба. Предложение Дельвига нашло благодатную почву: Востоков засел за перевод, и «Северные цветы» пожали первые плоды**20**.

В альманахе Дельвига определялась целая группа стихов, связанных с народной словесностью – новогреческой, славянской.

Античность и народная поэзия – это то, что ближайшим образом интересовало самого Дельвига. Это была поэзия «наивная», средоточие непосредственных, безыскусственно выраженных чувств. Гнедич пытался создать «русскую идиллию»; к ней же, только с другой стороны, подходит Дельвиг. Общность интересов объединяет два поколения, и, хотя каждое из них преследует свои цели, они сотрудничают охотно. Гнедич и Дашков могут многому

научить Дельвига, не знающего греческих подлинников; у того же Гнедича и у Востокова Дельвиг учится одновременно и фольклорной поэтике. И он вносит свой вклад в «Цветы»: две «русские песни» – «литературный фольклор» – и идиллию «Купальницы» – «античность».

В этот же ряд становится идиллия «Море и земля», перевод из Мосха, первого после Феокрита буколического поэта древности. Перевод сделал совсем молодой поэт – Константин Масальский, ученик Кюхельбекера по Благородному пансиону, однокашник Левушки Пушкина, юноша благонравный и благоразумный и в своем литературном поведении. Ему предстоит стать в дальнейшем историческим романистом; сейчас он начинает свою поэтическую деятельность: переводит с французского, с испанского, пишет басни. Он начинает раньше своих сверстников; он – уже следующее за Дельвигом литературное поколение.

Можно было ожидать, что Гнедич откликнется на просьбу Дельвига. Труднее было рассчитывать на Жуковского. Басни Крылова были для альманашника редким, вожделенным даром.

Крылов был хорош с Жуковским и Гнедичем, с которым даже жил по соседству: в казенной квартире через дом от главного здания Публичной библиотеки. Мимо квартиры Крылова лестница вела наверх, к Гнедичу.

Для Дельвига библиотекарь, надворный советник Крылов был служебным начальством. Кажется, по службе между ними были некоторые неудовольствия. Во всяком случае, директор библиотеки А. Н. Оленин в 1824 году письменно извещал помощника библиотекаря Дельвига, что не даст представления о производстве его в следующий чин, пока не получит от Крылова извещения, что часть библиотеки, ему, Дельвигу, вверенная, приведена «в надлежащий порядок». Но Дельвиг, видимо, не торопился с наведением порядка, а Крылов не спешил с извещением; чина Дельвиг так и не получил. П. А. Плетнев вспоминал, однако, что нерадение Дельвига «не довело до ссоры двух поэтов, равно ленивых, но равно и уважавших друг в друге истинное дарование»**21**.

Но даже оставив в стороне претензии Крылова, нельзя было ручаться, что он легко откликнется на просьбы. Он готовил новое собрание басен и следил, чтобы их не перепечатывали понапрасну. В феврале 1824 года слухи об этом издании уже проникают в печать; называют новые басни, читанные «в некоторых обществах»: «Кот и соловей», «Пляска рыб», «Ворона», «Горшок», «Прихожанин». К марту уже называется точное число новых басен: двадцать семь**22**.

Из этих двадцати семи басен Крылов до сих пор выпустил в печать только четыре. Оставались двадцать три басни; из них две он отдал в «Полярную звезду» на 1825 год, две Гречу и Булгарину для новорожденной «Северной пчелы». Дельвигу он подарил *пять* басен.

По-видимому, уже к началу сентября у Дельвига были «Лисица и Осел», «Муха и Пчела», «Богач и Поэт», «Прихожанин» и «Лев состаревшийся» и что-то еще**23**. Но Крылов этим не ограничился.

4 октября он был в Приютино на даче у А. Н. Оленина, обедал, а потом задремал в кресле. Три молоденькие почитательницы его таланта с изящной учтивостью разбудили его поочередными поцелуями; старик вспомнил литературную молодость и написал анакреонтическую оду. Эту оду «Три поцелуя» он тоже отдал в «Северные цветы».

Биограф Дельвига В. П. Гаевский видел в этом доказательство особой благосклонности к Дельвигу старого баснописца, который давно уже ничего не печатал, кроме басен. Может быть, так оно и было**24**.

Уже в июне 1824 года Дельвиг был спокоен за судьбу альманаха и рассчитывал, что ему понадобится не более месяца, чтобы закончить его составление. Его беспокоил только недостаток прозы, и он писал Федору Глинке, обещавшему дать прозаические статьи**25**.

Он даже собирался послать Кюхельбекеру для «Мнемозины» свои стихи и стихи Жуковского и отправил ему «Узницу» Козлова, прося напечатать. «Ты утешишь человека слепого и безногого, который имеет одну только отраду в жизни – поэзию».

В том же письме он просил Кюхельбекера и еще не знакомого ему В. Ф. Одоевского «что-нибудь прислать в новый альманах *Северные цветы».* «Он будет хорош: *Игнациус* рисует картинки, бумага веленевая, печать лучшая в Петербурге, а с помощью друзей начинка не уступит украшениям»**26**.

Оптимизм Дельвига, быть может, был несколько преждевремен. Кюхельбекер и Одоевский не смогут принять участия в «Северных цветах», а он сам и Жуковский – в «Мнемозине»**27**. «Узница» Козлова не появится в кюхельбекеровском альманахе, и пройдет еще несколько месяцев, пока подоспеет ожидаемая «помощь друзей».

Тем не менее некоторый запас у Дельвига уже есть. Языков, приехавший в Петербург в начале июня, сообщает брату в Симбирск: «он хвалится множеством прекрасных стихов, для него приготовленных: дай бог!»

Дельвиг писал Языкову в Дерпт в марте, и Языков к 6 апреля послал какую-то небольшую «пьесу», посвященную Е. П. Ивашевой, и боялся, что она не поспеет. Может быть, это было стихотворение «Ливония». 12 апреля он сообщал братьям, что написал еще нечто для «Северных цветов». Ни одно из этих двух стихотворений в альманах не попало. Может быть, их задержала цензура, – так было с языковской «Новгородской песнью»**28**.

Цензура А. С. Бирукова оставляла в запасах альманашников зияющие пустоты; Рылеев с Бестужевым иной раз приходили в отчаяние.

Но для Дельвига все еще впереди.

17 июня Бестужев пишет Вяземскому: «У Дельвига будет много хороших стихов – не надо бы и нам старикам ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов»**29**.

Баратынский был одним из «господ поэтов», на которых и Дельвиг, и издатели «Звезды» возлагали особые надежды.

В начале 1824 года он еще находится на положении «финляндского изгнанника». За него хлопочут Жуковский, Александр Тургенев, Денис Давыдов. Все просьбы – об офицерском чине, об отставке, о гражданской службе – пока остаются безуспешны.

Между тем сам он ведет себя не слишком осторожно; его антипатия к российским общественным порядкам находит выход то в сатирических куплетах, то в разговорах, слухи о которых доходят до Москвы, то в эпиграмме на Аракчеева.

Пока решается его судьба, он готовит к изданию сборник своих стихов, хотя А. Тургенев настойчиво предупреждает, чтобы имя его до окончания дела не появлялось в печати.

В первые месяцы 1824 года он посылает Бестужеву и Рылееву тетради со стихами: издатели «Полярной звезды» намерены стать издателями и сборника Баратынского; в марте Булгарин объявляет об этом в «Литературных листках». Друзья поздравляют Рылеева с покупкой и еще в октябре 1825 года интересуются книжкой.

В июне Баратынский собственной персоной появляется в столице, изнемогающей от невыносимой жары. 12 числа его видит здесь вместе со Львом Пушкиным Языков, остановившийся на неделю-другую проездом в Симбирск. 14 июня он с Гречем и Дельвигом отправляется к А. И. Тургеневу на Черную речку обедать; собрались Жуковский, Блудов, Дашков и привезли слепого Козлова. «Баратынский читал прекрасное послание к Богдановичу», – сообщал Тургенев Вяземскому в Москву.

Через три дня он видится с Бестужевым у Рылеева, 12 июля они проводят вечер втроем**30**.

Он как будто связывает оба кружка – «Северных цветов» и «Полярной звезды» и, деля свои стихотворные приношения между двумя альманахами, не оказывает видимого предпо-

чтения ни тому, ни другому. Но скрытое размежевание позиций уже началось: оно вскоре скажется и на этих отношениях.

Идет борьба эстетическая, и борьба журнальная.

В «прекрасном послании» Баратынского к Богдановичу есть след этой литературной и общественной борьбы.

Мы знаем только позднюю редакцию послания и не можем определить точно, что в нем принадлежит первоначальному тексту и что появилось позже. Однако общий смысл стихотворения, конечно, не менялся при переработке.

Баратынский хоронил элегическую поэзию, в том числе и свою собственную. Он писал о «жеманном вытье» современных элегиков и о Жуковском, который «виноват» в рождении унылой элегии, потому что первым «вошел в содружество с германскими певцами» и сделал их «жизнехуленья» достоянием русской поэзии.

Все это почти совпадало с тем, что написал Кюхельбекер в только что вышедшей второй книжке «Мнемозины», написал с полемическим задором, парадоксами и преувеличениями. Он нападал на элегии Пушкина и Баратынского, указывал на Жуковского как родоначальника «германского» мистицизма и провозглашал возвращение к высокому лиризму оды и к родникам народного творчества.

Со статьей Кюхельбекера, кажется, не был согласен никто: ни Пушкин, ни Вяземский, ни А. Тургенев, ни Бестужев. Вместе с тем – странное дело! – иные полемисты повторяли ее критическую часть.

«…Жуковский первый ввел к нам аллегорическую и так сказать неразгаданную поэзию, – а уже вслед за ним все пишущее записало *бемольными* стихами; но, как водится, не имея его *дара,* не имело и тени его успеха…»**31**.

Так будет писать Бестужев, еще в 1823 году в первой «Полярной звезде» упрекавший Жуковского и Дельвига за «германский эмпиризм» и «германский колорит».

Булгарин, рецензируя вторую книжку «Мнемозины», выписал все место об элегиях как «совершенно справедливое» и лишь переносил всю тяжесть упреков с Жуковского, Пушкина и Батюшкова («сих великих поэтов, делающих честь нашему веку») на их «несносных подражателей»**32**.

Спор расширялся, из области литературы и эстетики перебрасываясь в область политики. Борьба за национальную культуру была для Бестужева и Рылеева частью программы Северного тайного общества. «Немецкое влияние» означало теперь и господство немцев при русском дворе, и едва ли не самую династию Романовых, в чьих жилах текла кровь герцогов Гольштейн-Готторпских. Имя Жуковского всплывало на «русских завтраках» Рылеева, где в противовес «немецкому духу» царила «русская» символика: графин русского вина, кочны пластовой капусты, ржаной хлеб. Слово за слово – и вот уже от «германизма» переходят к придворной службе поэта, губящей его творчество, от сожалений к шуткам, потом к сарказмам – и наконец Бестужев при шуме всеобщего одобрения читает злую эпиграмму на «бедного певца», преобразившегося в придворного:

С указкой втерся во дворец,
И там, пред знатными сгибая шею,
Он руку жмет камер-лакею…

Эпиграмма передавалась из уст в уста. А. Е. Измайлов записал ее как пушкинскую. Затем о ней узнал Воейков и с торжеством прочитал самому Жуковскому; вероятно, он сказал, что эпиграмма Булгарина, Жуковский поверил и был задет. Встретив Греча, он сказал ему: «Скажите Булгарину, что он напрасно думал уязвить меня своей эпиграммою; я во дворец не втирался, не жму руки никому. Но он принес этим большое удовольствие Воейкову,

который прочитал мне эпиграмму с невыразимым восторгом». 22 мая 1825 года о ней пишет Вяземскому возмущенный Тургенев**33**.

Две не только литературные, но и общественные группы теперь стоят друг против друга: кружок Бестужева – Рылеева, к которому примыкают Булгарин и Греч, и друзья Жуковского – и в их числе Воейков. Отношение к Жуковскому – не к человеку, но литератору, общественному деятелю, к его поэзии, словно намеренно удаляющейся от гражданских тем, – разделяет их. За этой разницей взглядов – разница общественных позиций, представлений о национальной культуре и многое другое, что приведет одних на Сенатскую площадь в декабре 1825 года, а другим уготовит иную судьбу.

«Полярная звезда» и «Северные цветы» находятся по разные стороны демаркационной линии.

Таковы были обстоятельства в общих чертах – говорим: в общих чертах, потому что на практике все было несколько сложнее.

На практике оказывалось, что Баратынский, Кюхельбекер и Бестужев почти одновременно и почти одними словами рассказывают о Жуковском как родоначальнике «германической» и элегической школы и выступают против самой школы как подражательной.

Вместе с тем статья Кюхельбекера в кругу Жуковского вызывает резкое неодобрение, а послание Баратынского, читанное перед самим Жуковским, принимается с энтузиазмом.

И даже в истории бестужевской эпиграммы, столь оскорбившей и возмутившей ближайших друзей Жуковского, не все ясно с первого взгляда.

Михаил Бестужев вспоминал, что Бестужев импровизировал ее в присутствии Левушки Пушкина, Грибоедова, Гнедича, Ф. Глинки – и Дельвига. Бестужев ошибся: Дельвига при этом не могло быть. В феврале 1825 года он уехал в отпуск в Витебскую губернию и вернулся в Петербург лишь 28 апреля**34**. Он застал ходящую по Петербургу эпиграмму, уже потерявшую имя. Как он отнесся к ней – на этот счет мы можем только строить предположения.

Он любил Жуковского – любил как литератора, как человека, почти как товарища. Он прекрасно знал, что намеки на угодничество Жуковского далеки от истины, как небо от земли, и вряд ли мог им сочувствовать. Наконец, он был связан с Жуковским уже довольно тесными литературными узами – более тесными, нежели с издателями «Полярной звезды».

И все же – странная вещь – Михаил Бестужев, пусть и ошибочно, называет Дельвига в числе тех, кто смеялся эпиграмме и одобрял ее. Он перечислил не всех участников «завтрака», но лишь тех, кто был связан с хозяевами ближе других: Ф. Глинку, Гнедича, Грибоедова – декабристов и их ближайших сочувственников. Среди них он нашел место и Дельвигу. Он знал, стало быть, что Дельвиг принадлежит к «друзьям», а не «противникам». И от этого же убеждения произошла другая ошибка: в семье Бестужевых были уверены, что Дельвиг сочинил резчайшие куплеты против царской фамилии: «Боже, коль ты еси, Всех царей в грязь меси»**35**.

Такие стихи можно было приписать только человеку с прочной репутацией вольнодумца.

Некоторые косвенные данные позволяют думать, что в дельвигов-ском кружке установилось скептическое отношение к придворной службе Жуковского – и даже, может быть, к мистическим тенденциям его поэзии.

«Дельвиг не любил поэзии мистической, – вспоминал Пушкин. – Он говаривал: „чем ближе к небу, тем холоднее“. Вряд ли можно сомневаться, что речь шла и о поэзии Жуковского, а может быть, только о ней.

«Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте и, не шутя говорю, все время посвящает на сочинение азбуки. Для каждой буквы рисует фигурку, а для складов – картинки». Это опять Дельвиг

– он пишет Пушкину 28 сентября 1824 года, – и еле заметная ирония улавливается в этом описании.

«Жуковский работает все около астрономии», – вторит ему Плетнев**36**.

Во всем этом нет ничего удивительного. Самые близкие друзья Жуковского в преддекабрьские годы с осуждением говорили о связи его со двором. Если бы опубликовать в те годы то, что писал о ней в письмах Вяземский, – его гневная инвектива оставила бы далеко за собой мелочные журнальные нападки.

Но в том-то и заключалось дело, что ни Пушкин, ни Вяземский, ни группа Дельвига не выступали против Жуковского *публично***37**, более того, на журнальных страницах они каждую минуту были готовы стать на его защиту. В этом было отличие их от Бестужева и Рылеева, и каждая из позиций имела свои резоны и была чревата своими опасностями.

Пушкин писал Кюхельбекеру в декабре 1825 года: «Не понимаю, что у тебя за охота пародировать Ж<уковско>го. Это простительно Цертелеву, а не тебе. Ты скажешь, что насмешка падает на подражателей, а не на него самого. Милый, вспомни, что ты, если пишешь для нас, то печатаешь для черни; она принимает вещи буквально. Видит твое неуважение к Ж<уков-скому> и рада»**38**.

Это – возражение не только Кюхельбекеру, но и Бестужеву, и Гречу и Булгарину, печатавшим критики на Жуковского в своих журналах. Более того, это некий общий принцип, следуя которому Баратынский не отдает своего стихотворения в печать. Он сделает это только спустя три года, когда стихи уже не будут звучать так актуально, и тогда Вяземский будет упрекать его: публика может принять строки о Жуковском за чистую монету и счесть самого автора союзником «классиков» «Благонамеренного» или «Вестника Европы».

Читательский вкус в России не установился: его предстоит еще воспитывать. «Черни», «принимающей вещи буквально», слепо доверяющей печатному слову, можно внушить все, что будет угодно журналисту. Она не научилась еще уважать подлинные литературные ценности – и в том числе поэзию Жуковского, – а уже находятся судьи, которые спешат развенчать их.

Да и чем определяется право этих критиков на безраздельное господство над общественным мнением? Разве тем, что они – издатели журналов, покупаемых и читаемых?

Приблизительно такую логику мысли мы можем усмотреть в критических выступлениях Пушкина и дельвиговского кружка.

Гласность, публичность, споры в печати, во всеуслышание делали широкий читательский круг участником литературного движения; они вовлекали в литературные дела всех без разбора, кто перелистывал журнальные страницы. Это была журнальная политика нового, буржуазного века, более свободная, более демократическая, нежели ранее. К ней склонялись Рылеев и Бестужев.

Но, как и всякая буржуазная демократия, она готова была решать литературные дела большинством голосов. Голоса принадлежали подписчикам, платившим за журналы и альманахи. Издательское дело становилось коммерцией – и так должно было быть; но коммерция проникала и в самую литературу. Нужен был еще один шаг, чтобы по историческому вызову явились поставщики на рынок литературного товара, чтобы конкуренция и жажда обогащения стали направлять писательское перо.

Этот шаг уже готовы были сделать – каждый по-своему – Воейков, Булгарин и Греч.

Такова была оборотная сторона буржуазной демократии в литературе.

Тем же, кто боялся этих неизбежных последствий, угрожала кастовость, замкнутость, элитарность, опасность потерять широкого читателя и погибнуть под натиском сильных конкурентов.

В своем послании Баратынский писал о художнике, замкнувшемся в гордом уединении, и о его профессиональных журнальных «судьях», торгующих хвалой и бранью не в переносном, а в буквальном смысле.

В письме к Козлову он разъяснял смысл своих, впрочем, достаточно прозрачных намеков. «Наши журналисты стали настоящими литературными монополистами; они создают общественное мнение, они ставят себя нашими судьями при помощи своих ростовщических средств, и ничем нельзя помочь! Они все одной партии и составили будто бы союз противу всего прекрасного и честного. Какой-нибудь Греч, Булгарин, Каченовский составляют триумвират, который управляет Парнасом».

Нужно было иметь свой печатный орган, лучше всего журнал, хотя бы для того, чтобы не попасть в полную зависимость от «степени расположения <…> вышеназванных господ»**39**.

Это письмо написано в январе 1825 года, и на его тон и суждения наложили отпечаток примечательные события, пришедшиеся на вторую половину 1824 года, – события, отчасти совершавшиеся на глазах у Баратынского.

19 июня 1824 года Бестужев записал в дневнике: «У Рылеева с Баратынским. История Дельвига с Булгариным».

Об этой «истории» до нас дошли несколько отрывочных припоминаний и одна записка без даты. Пушкин вспоминал: «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: „Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил“. П. В. Нащокин, приятель Пушкина, однокашник Левушки Пушкина и Соболевского по Благородному пансиону, добавлял, что сам он должен был стать секундантом у Дельвига, Рылеев – у Булгарина. Булгарин отказался от поединка, и „Дель.<виг> послал ему ругательное письмо за подписью многих лиц“.

Письма, вероятно, не было. Рылеев вступил в переговоры. «Любезный Фадей Венедиктович! – сообщал он Булгарину. – Дельвиг соглашается все забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль или убийство. Dixi»**40**.

Нам неизвестно, какое «громкое воспоминание» Булгарина о Дельвиге было поводом для этой несостоявшейся дуэли. Но почти нет сомнений, что причиной ее была все та же всемогущая конкуренция. Год назад она едва не поставила на барьер миролюбивых Воейкова и Булгарина. Тогда Булгарин посылал картель, Дельвиг посмеивался над ним, Рылеев был посредником и примирителем. Дуэль кончилась ничем; Воейков объяснял, что не затронул ни чести противника, ни его выгод.

Честь и выгоды стояли рядом, уравненные в правах. Посягательство на то и другое равно смывалось кровью. Формула Воейкова обещала стать исторической.

Теперь все как будто повторялось заново, и действовали почти те же лица. И совершенно так же, как в первый раз, Рылеев рассержен на Булгарина больше, чем на его врагов. Он ведет себя так, как будто он – секундант Дельвига. Он говорит от его лица в тоне то ультиматума, то высокомерного снисхождения.

Он втянут в игру страстей, от которой ему становится не по себе.

Зловещие отблески «коммерческого века» ложатся на всех.

Баратынский называл Греча, Булгарина, Каченовского как основных своих противников. Но, видимо, произошло что-то, что расстроило его отношения и с издателями «Полярной звезды». Уехав из Петербурга 5 августа 1824 года, он увез с собой тетради, которые должны были составить его печатный сборник. Бестужев сообщал об этом Вяземскому и подозревал здесь козни Воейкова, который намеренно ссорит его с литераторами дельвиговского кружка.

Разрыва не произошло: Баратынский будет участвовать еще в «Звездочке», продолжающей «Полярную звезду», – но прежней близости уже не было. Весной 1825 года Бестужев напишет Пушкину, что перестал верить в талант Баратынского**41**.

В августе же 1824 года, лишь только Баратынский покинул Петербург, Булгарин садится за составление памфлета «Литературные призраки»; он вышел в свет 8 сентября**42**.

В этом памфлете Булгарин задевал весь дельвиговский кружок и более всего «Лентяева» – Дельвига и «Неучинского» – Баратынского. Этих поэтов-неучей, вперебой хвалящих друг друга, учат уму-разуму сам Архип Фаддеевич – Булгарин – и приезжий литератор Талантин, в котором без труда узнавали Грибоедова.

Булгарин сводил счеты литературные и личные; он бы, вероятно, не решился на это, если бы в отношениях Дельвига и Баратынского с одной стороны и издателей «Полярной звезды» с другой не возникло бы взаимных неудовольствий. Однако он ошибся в расчете: сам Грибоедов, втянутый против воли в литературную интригу, был возмущен и написал Булгарину, что порывает с ним отношения. Вяземский, чья война с Булгариным уже приобрела довольно острые формы, писал Жуковскому о «подлом и глупом разговоре Булгарина» с похвалами Грибоедову и посылал эпиграмму с предложением напечатать в «Северных цветах»**43**.

Между тем враг Булгарина – Воейков – творил свои негоции.

В № 136 «Русского инвалида» он объявил, что «по желанию многих известных наших писателей» он намерен с 1 июля издавать «Новости литературы» не листами, а отдельными книжками, по 12 книжек в год, общей стоимостью 15 рублей.

Это означало, что «Новости литературы» превращаются из приложений в особый журнал. А это в свою очередь значило, что за нехваткой оригинальных сочинений Воейков станет систематически перепечатывать уже опубликованные стихи. Так он нередко делал и раньше, не спрашивая ничьего позволения, и этот род литературного пиратства обозначался в обиходе глаголом «воейковствовать».

Издатели «Полярной звезды» страдали от этих перепечаток более всех и приняли свои меры. Они написали объявление, в котором предупреждали «всех собирателей так называемых новостей литературы, образцовых сочинений и прочих словесных мозаиков», что не намерены терпеть дальнейших выкрадок и просят пощадить их альманах, в противном же случае вынуждены будут употребить против «варварийского права корсаров» «европейское право эмбарго». Впрочем, объявления своего они не напечатали; в замену его в «Литературных листках» Булгарина появилось иное объяснение. Речь в нем шла об изданных Воейковым «Образцовых сочинениях», своего рода антологии новейшей поэзии и прозы, которую Воейков не собирает, а «выбирает» из чужих изданий – и представляет публике под видом «новостей». В статье был представлен длинный список воейковских контрафакций, в том числе из «Полярной звезды»**44**.

Эта «превентивная война», как мы увидим далее, была вовсе не излишней, и худшие опасения Рылеева и Бестужева оправдались.

В начале сентября вышла в свет запоздавшая июльская книжка «Новостей литературы», где в очередном очерке из «Путешествия по отечеству» Воейкова – «Путешествие из Сарепты на развалины Шери-Сарая…» был напечатан в качестве цитаты отрывок из пушкинских «Братьев-разбойников». Эту поэму Пушкин отдал в «Полярную звезду», и она должна была стать одним из лучших украшений альманаха. Публикация ее Воейковым была уже неприкрытым разбоем. Возмущенные издатели пишут ему письмо, прерывая с ним всякое общение. «Конечно, потеря знакомства с благородными людьми для вас ни важна, ни нова; за то раззнакомление с вами будет для нас очень выгодно». Булгарин поспешил объявить печатно, что Воейков напечатал стихи, предназначенные в «Полярную звезду»; поскольку стихи эти были помещены среди разбойничьих песен, напрашивалась прямая

ассоциация между издателем «Новостей литературы» и грабителями старого времени; Булгарин ядовито замечал, что Воейкову следовало бы объяснить своим читателям, что означают употребленные им слова «сарынь на кичку», ему, надо полагать, хорошо известные. В веселый час создалась и песня, от которой дошло до нас несколько строк:

Лишь только занялась заря,
И солнце, в блеске вверх паря,
Лишь показалось над горой,
Воейков едет на разбой!
Сарынь на кичку кинь (bis)!**45**

Как бы ни издеваться над Воейковым, дело его, однако, было сделано. Охраны авторских и издательских прав в России не существовало. «Полярной звезде» был нанесен непоправимый ущерб.

20 сентября Бестужев пишет Вяземскому, изливая душу, оскорбленную «подлостию людскою». Он посылал ему копию письма к Воейкову и рассказывал, что здесь действует зависть и корысть; что Воейков сознается, будто «план „Северных цветов“ им начертан, и недаром»; что через Льва Пушкина издателей «Звезды» стремятся поссорить с Пушкиным, выкрадывают у них стихи, наконец, научили Баратынского увезти с собой тетради. Бестужев просил литературной помощи – от Вяземского и Дмитриева, чтобы не быть вынужденным отложить издание до лучших времен. Он упоминал и о том, что «Полярная звезда» находится в худшем положении, нежели «Северные цветы», которые готовит Сленин, так как последний получит все выгоды от продажи. «О князь, – заключил он, – Ваше бы сердце разорвалось на части, если б узнали Вы дела и мысли тех, кого считаете лучшими своими друзьями.».

Век «коммерческой словесности» надвигался неуклонно, и Булгарин и Воейков были лишь наиболее яркими его представителями.

Одна и та же тема звучит в письмах участников «Цветов» и участников «Звезды». «С приезда Воейкова из Дерпта и с появления Булгарина литература наша совсем погибла, – пишет Дельвиг Пушкину в том же сентябре 1824 года. – Подлец на подлеце подлеца погоняет.» «Что сделалось с литературою? Тошно смотреть, слушать и читать. Булгарин – законодатель вкуса!» (Жуковский – Вяземскому, 22 сентября). «Здешние журналисты огадились совершенно», – вторит А. Тургенев, имея в виду тех же Булгарина и Воейкова. Вяземский, получив это письмо, перефразирует его Пушкину: «Петербургская литература так огадилась, так исшельмовалась, что стыдно иметь с нею дело».

Все это пишется осенью 1824 года, когда конкуренция между изданиями становится особенно острой и накладывает свою печать на взаимоотношения литературных групп. В это же время Бестужев жалуется Вяземскому на черные мысли и дела его ближайших друзей, а Плетнев, также не называя имен, сетует в письме к Пушкину на «мерзости», которые делают с Дельвигом «эти молодцы» за «Северные цветы» – и все для денег**46**.

Здесь все были правы – и все неправы. Бестужев слишком легко поверил, что Воейков есть тайная пружина «Северных цветов», равно как и Булгарин не был эмиссаром «Полярной звезды». Дельвиг знал цену Воейкову, Бестужев – Булгарину. В поздних бестужевских письмах мы находим резкие характеристики прежних литературных друзей и союзников; Греч и Булгарин, пишет он, превращают словесность в предмет торговли. Но разве дело было в злой воле отдельных лиц?

Джин предпринимательства был выпущен из бутылки и слепо сеял историческое благо и историческое зло. Рядом с развитием литературы, журналистики, издательского дела, с расширением круга читателей шла конкуренция, поглощение слабого сильным, денежные отношения вторгались в литературу.

Современники, захваченные водоворотом, едва ли представляли себе, что они стоят на пороге смены общественных формаций.

В сентябре 1824 года Дельвиг начал печатать «Северные цветы».

Вяземский пока не прислал ему ничего, но Дельвиг не терял надежды. 10 сентября он пишет ему снова.

А. А. Дельвиг – П. А. Вяземскому

Почтеннейший князь Петр Андреевич. Если бы все так были не милостливы к моим Северным цветам, как вы, то и я бы запел: Если бы на цветы да не морозы и пр., но слава Аполлону из *живых* хороших писателей только вы еще их не украсили своими сочинениями. Самые ленивейшие Жуковский и Дашков пышно одарили меня. Пушкин, Баратынской, И. А. Крылов доставили мне каждый по четыре, по шести и по семи довольно больших и прекрасных пьес. И от второклассных писателей я с большим выбором принимаю сочинения. Не бойтесь дурного общества, вашим пьесам соседи буду<т> хорошие. Они не столк<н>утся ни с Качановским, ни с А. Писаревым, ни со Лже-Дмитриевым, ни с поляком Булгариным. Жуковский уверяет, что вы в письме к нему обещали исполнить мою просьбу: потому я с такою надежностию на вас и пишу к вам о моих цветах. Они теперь печатаются, но ваши пьесы, ежели они и через две, даже три недели будут у меня, – не опоздают. – Есть у меня еще одна просьба: я боюсь обеспокоить моею просьбою И. И. Дмитриева – не можете ли вы лично ходатайствовать за меня у парнасского нашего министра и достать две, три пьесы его. Он скорее не откажет вам, достойному своему биографу, нежели мне, незнакомому, но пламенному своему обожателю.

Будьте добры, любезнейший Князь, ко мне, истинному почитателю ваших талантов, и похлопочите о моих цветах. Жуковский благословил мое предприятие и ужели вы не утвердите его печатью прекрасного дарования вашего?

Всегда готовый к услугам вашим Барон Дельвиг. 1824-го года 10-го Сентября.**47**

Дашков обещал Дельвигу не только стихи, но и прозу. Он решился описать свое путешествие по греческим землям в 1820 году и уже начал работу, прося неделю за неделей отсрочки. Дельвиг терпеливо ждал – настолько терпеливо, что заставлял должника считать его из ряду вон выходящим кредитором. 10 сентября на зубок «Северным цветам» пришла и пушкинская «Прозерпина».

Дельвиг благодарил Пушкина и обращал к нему просьбу, ставшую теперь обычной. «Да нет ли, брат, у тебя какой прозы, удобо-пропущаемой цензурой? Пришли, коли есть». Он осторожно осведомляется об «Онегине»: нельзя ли получить хотя стихов двадцать из поэмы, о которой «толпа» «давно горло дерет»? «Подумайте, ваше парнасское величество!»**48**

В ожидании ответа он продолжает собирать материалы и отдавать их в цензуру, где уже лежат новые стихи Баратынского. Пушкин интересуется ими, и Дельвиг собирается прислать их ему вместе со своей идиллией «Купальницы», также предназначенной для «Цветов». Он упоминает и о послании к Богдановичу, которое не вполне одобряет: «оно в несчастном роде дидактическом. Холод и суеверие французское пробиваются кой-где». С Баратынским он продолжает переписываться и ждет от него новой поэмы, обещанной ему с первой же почтой.

Дельвиг ждет. Он ждет Пушкина, ждет Дашкова, Вяземского, ждет Жуковского, который обещал ему «Водолаза» Шиллера. Его флегма составляет разительный контраст кипу-

чему темпераменту Бестужева. «Князь Вяземской петь может сколько угодно, а стихов мне пришлет», – пишет он Пушкину.

В конце сентября – начале октября ему удается, наконец, дождаться статьи Дашкова «Русские паломники в Иерусалиме» и шестнадцати «Надписей из Анфологии».

«Надписи» Дашков, как мы уже говорили, разделил поровну между «Полярной звездой» и «Северными цветами», но прозу получил только Дельвиг. Статья была превосходна – изящна, учена и глубока, и к ней Дашков добавил еще две старые «альбумные нежности», которые предоставил полностью на усмотрение издателя – печатать или отвергнуть**49**. Этих двух стихотворений мы не знаем; они не появились в альманахе. Долготерпение Дельвига было вознаграждено; нетерпеливость Бестужева удовлетворена; недоволен был один Воейков. Он узнал о подарках Дашкова и написал ему «целую филиппику» за то, что тот отступился от его издания и дает другим обещанное ему, Воейкову.

Дашков повинился, но решения своего все же не переменил.

В конце сентября Дельвиг получил от Пушкина отрывки из второй главы «Онегина». Их держали в секрете; помимо Дельвига и Плетнева, об этих стихах знала, кажется, только любимая ученица Плетнева Софья Михайловна Салтыкова, которой через год предстояло сделаться баронессой Дельвиг, да подруга ее Александра Николаевна Семенова, жившая уже вне Петербурга. Семеновой 13 октября была послана «драгоценность» – автограф Пушкина; вероятно, стихи уже были набраны**50**.

В первой половине октября Жуковский отдал Дельвигу стихотворение «Мотылек и цветы», «Водолаза» он так и не окончил.

1 ноября 1824 года А. Тургенев, повидавшись с Дельвигом, писал Вяземскому: «В „Северных цветах“ будет много прекрасного и любопытного»51. Тургенев пишет Вяземскому о «Цветах», Бестужев – о «Полярной звезде».

Как и ранее, Вяземский интересуется делами бестужевского альманаха, ободряет, обещает помощь. У Бестужева – большой запас стихов, но он обеспокоен отсутствием «мастерских штук» и сетует на Жуковского; он рассчитывает на Вяземского и на И. И. Дмитриева. «Пушкин – ни гу-гу.

Советуете ли Вы напечатать “Разбойников” или нет? Я в сомнении, ибо Воейков подвел нас»**52**.

Он уже знает, что к новому году «Звезда» не появится, и смирился с этим; торопиться с выпуском ее он не намерен, тем более, что Рылеева нет в Петербурге и неизвестно, когда он вернется.

Утром 7 ноября 1824 года Фонтанка вышла из берегов, а к четырем часам пополудни весь Невский проспект представлял собою сплошную водную поверхность с плавающими дровами и овсом; на набережной не было видно даже перил. Наводнение застало город врасплох; в нижних этажах тонули люди. Днем ветер переменился и вода стала убывать.

Александр Бестужев, по колено в воде, спасал имущество в затопленной квартире Рылеева.

К ночи вода совсем схлынула, и город погрузился в полную темноту; фонари были разбиты и сброшены ветром. Утро застало следы страшных разрушений. В окрестностях Петербурга целые деревни были смыты; по петергофской дороге считалось 600 человек утопших; в самом городе в первые же дни было отыскано полторы тысячи тел.

Орест Сомов, к этому времени близко сошедшийся с издателями «Полярной звезды» и живший в одном доме с Рылеевым, писал ему: «…Северные цветы» подмокли в луковицах и, вероятно, не скоро расцветут. Александр (Бестужев. – *В. В.*) говорит, что они, вероятно, были прежде очень сухи, а теперь слишком водяны».

Дельвиг уже рассчитывал было разделаться с книжкой и съездить к Пушкину в Михайловское. Теперь печатание приходилось начинать заново. Пушкин был огорчен: «Жаль мне Цветов Дельвига; да надолго ли это его задержит в тине петербургской?»**53**

Рылеев вернулся в Петербург к середине декабря. По пути он заезжал в Москву, где собирался печатать свои «Думы»: цензура в Москве была мягче, чем в столице. Что-то он читал единомышленникам, и раздавались голоса, призывавшие покончить с самодержавным правительством.

«Полярная звезда» на 1825 год будет последней: ровно через год издатели ее выйдут на Сенатскую площадь.

Пока что они публикуют объявление. Альманах замедлялся изданием и выйдет к святой неделе. Если это не охладит приема его в публике, успех будет вдвойне лестен, ибо пример «Звезды» уже возбудил соревнование. «Северные цветы, издание г. книгопродавца Сленина, вступает в непосредственное соперничество с Полярною Звездою. Предоставляя сему альманаху благоприятное время выхода в свет, желаем ему еще благоприятнейшего успеха»**54**.

В этом объявлении, перепечатанном московскими и петербургскими журналами, не было и тени враждебности. «Соревнование» литераторов и книгопродавцев было частью просветительского плана Бестужева и Рылеева – и «Северные цветы» способствовали достижению цели. Но издатели «Звезды» не собираются уступать пальму первенства.

Тем временем «Северные цветы» выходят в свет.

В отличие от «Полярной звезды» и по примеру некоторых западных альманахов здесь были разделены стихи и проза. Книжку открывало обширное «Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах» – написанный Плетневым обзор современной поэзии; далее шла собственно проза. Почти весь отдел состоял из путевых писем и очерков – и каковы бы ни были достоинства каждого из них, они не искупали однообразия целого.

В «Полярной звезде» были повести Бестужева, восточные новеллы Сенковского, исторические анекдоты Корниловича…

Зато отдел «Стихотворения» едва ли не брал верх над «Полярной звездой».

Он открывался «Песнью о вещем Олеге», стихами Жуковского и баснями Крылова. Стихов Жуковского в новой «Звезде» не будет, Крылова – три басни против пяти в «Цветах»; Пушкина – отрывки из «Цыган», «Братья разбойники» и послание к Алексееву против фрагмента «Онегина», «Олега», «Прозерпины», «Демона». В «Полярной звезде» не будет и Дельвига – в «Цветах» же он поместил едва ли не лучшее из написанного до сих пор.

Правда, в «Звезде» будут Рылеев, Языков и Грибоедов. Остальные делили свои приношения. Вяземский, Дашков, Козлов, Баратынский сотрудничали в обоих альманахах почти равномерно.

«Соревнователи», постоянные сотрудники и Рылеева, и Дельвига, поступали так же. Ф. Глинка, Плетнев трудились и для «Звезды», и для «Цветов». Александр Ефимович Измайлов, старейший член обоих обществ – Михайловского и «ученой республики», ворчал равно на оба альманаха, но стихи давал; он поместил в «Цветах» два мадригала безвременно скончавшейся Софье Дмитриевне Пономаревой, предмету его давнего платонического поклонения, маленькой Цирцее петербургского салона, чьих чар не избежали ни Дельвиг, ни Баратынский. Он принес басню «Черный кот», но почему-то в альманах она не попала, и Измайлов сетовал на Дельвига**55**.

Вслед за ним и его давний приятель и единомышленник, ратовавший вместе с ним против романтиков, Николай Федорович Остолопов поместил у Дельвига басню «Кот и белка», и приятельница Измайловского семейства, Марья Даргомыжская, мать впоследствии знаменитого композитора, явилась с басней «Два червяка».

За этой когортой баснописцев шли средние и младшие члены «ученой республики», начиная с Василия Ивановича Туманского, уже известного элегика, ныне жившего на юге; год назад он сблизился в Одессе с Пушкиным и посылал его стихи в «Полярную звезду». Туманский тянулся к Рылееву и Бестужеву, но был приятелем и Кюхельбекера, и Дельвига; последнему он посвятил послание, начинавшееся словами «Где-то добрый Дельвиг мой…»**56**. От Туманского пришли две элегии, и одну дал его троюродный брат, Федор Антонович Туманский. Вкладчиками в оба альманаха были и Василий Никифорович Григорьев, молодой поэт, подражавший и Рылееву, и элегикам, и Михаил Петрович Загорский, совсем юноша, студент Петербургского университета, автор поэмы «Илья Муромец», баллад, идиллии и опытов в фольклорном духе. Он тяжело болен, и жить ему остается несколько месяцев; но он успеет еще увидеть напечатанными в «Цветах» свои переводы из Шиллера и Гете – «Перчатку» и «Царя Фулеского»**57**. Он поэт «немецкой» ориентации, как и вся эта молодежь – Григорьев, Платон Ободовский, однокашник Григорьева по 3-й петербургской гимназии, впоследствии популярный драматург, наполнявший русскую сцену переводами трагедий и мелодрам. Ободовский наклонен к библейской и религиозно-аллегорической поэзии – и сейчас печатает «Весенний гимн вседержителю». Эти поэты не выдвинутся в первые ряды; их стихи будут почти неизбежной принадлежностью многочисленных альманахов, лишь изредка поднимаясь над уровнем «массовой поэзии» десятилетия.

Таково было содержание маленькой изящной книжки, напечатанной со всеми изысками тогдашнего типографского искусства, с виньеткой С. Галактионова и гравированной картинкой, изображавшей дом Тассо в Сорренто. Она принадлежала молодому художнику Александру Брюлло (Брюллову), жившему в Италии для усовершенствования таланта.

«Северные цветы» вышли в свет во второй половине декабря – а в начале января А. Е. Измайлов сообщал П. Л. Яковлеву, что среди словесников наступил «всеобщий мир». Бестужев рассказывал Вяземскому, как на вечере у А. А. Никитина, секретаря общества «соревнователей», пьяный Булгарин «лобызался» с Дельвигом **58**. Через несколько дней, 6 января, в только что основанной Гречем и Булгариным «Северной пчеле» появляется первый печатный отклик на «Северные цветы», подписанный Гречем – «Н. Гр.». Опытный журналист хвалил альманах – но так, чтобы видны были контуры будущей полемики. Лучшей прозаической статьей он считал путешествие по Греции (Дашкова), худшими – «Историю кокетства» Баратынского и, конечно же, «Прогулку» Воейкова. Лучшими стихами он объявлял песни самого Дельвига. О статье Плетнева он замечал, что это «антипод» обзоров Бестужева в «Полярной звезде» и должен вызвать споры. В заключение Греч громко заявлял о своих симпатиях к «Полярной звезде», которую ждал с особенным нетерпением.

12 января Бестужев пишет Вяземскому о своих впечатлениях. Он рассказывал, что альманах покупают, но не хвалят. Ему, как и Гречу, больше всего нравились стихи Дельвига. Жуковским и Крыловым он остался недоволен: один «на излете», другой «строчит уже, а не пишет». «Пушкин не в своей колее, – продолжал он, – а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие веселости – не на чем улыбнуться». Но более всего его раздражил Плетнев, пропевший «акафист» «Боратынскому и прочим».

Впрочем, оговаривался он, новая «Звезда» немногим будет лучше, ибо у издателей не хватило «ни ловкости, ни время». Он вновь просит у Вяземского «подмоги»: альманах уже начали печатать.

В то время, как он писал письмо, уже набирался обширный разбор «Цветов» в «Сыне отечества». Здесь выступали журнальные маски: некий «Ж. К.», некий «Д. Р. К.», спорящие друг с другом и с «Северной пчелой».

Споры были нехитрой журнальной тактикой: суждения «Пчелы» и Бестужева повторялись почти буквально. В «Ж. К.» и «Д. Р. К.» узнавали Греча и Булгарина; оба отрекались и ссылались на какие-то доказательства, которых никто не требовал.

«Д. Р. К.» писал, что «Северные цветы» не дурны, но и не так хороши, как объявлено в «Северной пчеле». Он осуждал обзор Плетнева, «Историю кокетства» и, конечно же, Воейкова, которому досталось в особенности. На свою беду Воейков отвечал и раскрыл источник своей статьи – и в следующих же номерах «Сына отечества» появилась еще одна критика, где доказывалось, что «Прогулка в селе Кускове» есть пересказ брошюры «Краткое описание села Спасского Кусково тож», вышедшей в Москве в 1787 году. Вслед за Гречем «Д. Р. К.» вознес хвалу Дашкову и благосклонно отозвался о Глинке и о Перовском, а затем, подобно Бестужеву, осудил новые басни Крылова. Он дополнил Бестужева только снисходительно-пренебрежительным отзывом о стихах его адресата – Вяземского.

Однако главным предметом споров оказались Жуковский, Баратынский и отчасти Пушкин. Эти три имени стояли в центре плетневского «письма о русских поэтах», их Плетнев объявил представителями наступающего золотого века русской словесности. Здесь была принципиальная позиция, и Плетнев еще больше подчеркнул ее в обширном отзыве о «Северных цветах», который напечатал под своим именем в «Соревнователе». Он писал о Жуковском как основоположнике романтической поэзии, находя у него картины «недоконченные для чувств, но ясные и понятные для души»; он обращал внимание на «Песнь о вещем Олеге» как на едва ли не единственный в своем роде образец национальной поэзии; наконец, он утверждал, что в «Черепе» Баратынский поднялся над Байроном. Все это Бестужев в письме к Вяземскому называл «акафистом Баратынскому и прочим»: имени Жуковского он не произнес из деликатности. «Д. Р. К.» повел на Жуковского прямую атаку. Его раздражало все: и метафорическое словоупотребление, и «таинственность»; в заключение он прямо ссылался на Бестужева, повторяя его слова о «неразгаданной», «германической» поэзии. Критик заявлял прозрачно, что время Жуковского уже проходит.

Стихи Баратынского критик прошел молчанием, зато похвалы Плетнева таланту Баратынского объявил плодом дружеского пристрастия. Похвалы, быть может, были преувеличены – но и возмущение «Д. Р. К.» было чрезмерным. Ни утверждение Плетнева о новизне элегий Баратынского, ни формулы «истина чувств» и «точность мыслей» (позже перефразированные Пушкиным) не заслуживали такого обилия вопросительных знаков и недоуменных ремарок. И, наконец, коснувшись Пушкина и отдав должное его таланту, критик «Сына отечества» укорил в какой-то необычной для Пушкина «холодности» «Песнь о вещем Олеге».

Свою кисло-сладкую рецензию «Д. Р. К.» заключал похвалами песням Дельвига. Он пересказывал, таким образом, то, что думал о «Цветах» Бестужев, делая это достоянием печати. Его статья отражала мнение петербургского декабристского кружка, но оно было соединено с собственными симпатиями и антипатиями критика и с соображениями тактики и даже рекламы, потому что он то и дело поминал о «Полярной звезде».

Ему отвечал Николай Полевой со страниц новорожденного «Московского телеграфа». С издателями «Цветов» Полевой не был близок, хотя намеревался принять участие в альманахе, – но посланная им повесть опоздала. Что же касается Бестужева, Греча и Булгарина, то с ними он уже вступил в печатную полемику – и теперь публично заявил, что голосом «Д. Р. К.» говорят конкуренты нового издания. Он напоминал, что издателям «Звезды» не очень нравилось предприятие издателей «Северных цветов». Сам же он отказывался сравнивать альманахи, каждый из которых был хорош в своем роде. Полевой заметил, однако, что «Цветам» не хватает альманашной прозы, – и это было для него важно: в преобладании стихов он видел знак литературного младенчества и потому решительно не верил в плетневский «золотой век». Вообще, обзором Плетнева он тоже был недоволен: легковесен, противоречив, со странными понятиями: Александр Крылов – в числе первейших поэтов. Зато в стихотворном отделе Полевой находил перлы: «Демон» и «Песнь о вещем Олеге» Пушкина, «Мотылек и цветы» и «Таинственный посетитель» Жуковского, «Череп» и «Звездочка»

Баратынского, весь цикл «народных песен», идиллия Дельвига. Он занимал как бы среднюю позицию в борьбе литературных групп**59**.

Теперь слово было за самим Бестужевым: в «Полярной звезде» должен был появиться его литературный обзор.

Пушкин ждал в Михайловском выхода «Северных цветов». Лев Сергеевич уехал в Петербург еще в начале ноября. От него Пушкин узнал, что книжки «Цветов» попорчены водой и сам Дельвиг откладывает свой приезд в Михайловское. Он просит брата «торопить Дельвига». Его обуял бес нетерпения; ему хочется вырваться – все равно куда: в Петербург, за границу. Он требует к себе Левушку, Дельвига, Прасковью Александровну Осипову.

Дельвиг не приехал; приехал Пущин. 11 января на занесенном снегом дворе Михайловского дома прозвенел колокольчик, и произошла та знаменитая в русской литературе встреча, о которой мы знаем по запискам Пущина и пушкинским стихам. Пущин вез гостинцы: список «Горя от ума», петербургские рассказы, поклоны друзей и письмо от Рылеева с обращением на «ты». Рылеев восторгался «Цыганами». Пущин пробыл день и к вечеру уехал, увозя с собой отрывок этой поэмы для «Полярной звезды».

Может быть, он привез Пушкину и «Северные цветы»: он был в Петербурге неделю или более и, конечно, посетил Дельвига. Уже в январских письмах Плетневу и Вяземскому Пушкин упоминает «Письмо о русских поэтах» и стихи Вяземского, помещенные в «Цветах» – «Черта местности» и «Чистосердечный ответ»; первое стихотворение ему нравилось, второе казалось растянутым и вялым.

Но, быть может, более всего интересовало петербургских литераторов мнение Пушкина о статье Плетнева, вызвавшей столько критических толков. Ни Плетнев, ни Бестужев не скрывали своего желания вынести свой спор на третейский суд Пушкина; Бестужев высказывает свое мнение – конечно, отрицательное, – в недошедшем до нас письме к Пушкину; со своей стороны Плетнев жалуется ему на критиков, не умеющих ценить по достоинству ни Баратынского, ни Жуковского, ни самого Пушкина.

Все было тщетно.

Пушкину статья не нравилась.

«Согласен с Бестужевым во мнении о критической статье Плетнева», – писал он Рылееву 25 января. И в тот же день Вяземскому: «Как ты находишь статью, что написал наш Плетнев? экая ералашь!».

Уступая настояниям Плетнева, он отправил ему письмо с подробным разбором его статьи. Письмо это утрачено, но мы можем отчасти восстановить замечания Пушкина по ответу Плетнева от 7 февраля. Плетнев сумел победить свое авторское самолюбие. Он не защищался, а принял с благодарностью строгий дружеский суд.

Статья Плетнева была для Пушкина символом веры умирающей элегической школы. На эту школу Пушкин напал одновременно с Баратынским – и вполне естественно, что Баратынский был также недоволен Плетневым. Авторы лучших русских элегий не хотели более числиться в «элегиках», и плетневская апология служила им обоим дурную службу.

Именно господство «элегического» направления заставляло Пушкина критически оценивать современную русскую словесность. Он упрекал Плетнева за то, что тот выбрал отправной точкой для своих рассуждений Ламартина – кумира унылых элегиков, за чрезмерность похвал В. Туманскому и А. Крылову; за преждевременно провозглашенный «золотой век», за то, наконец, что Плетнев находил в современной поэзии разнообразие и «направление», которых она не имела. В статье Плетнева он, несомненно, усматривал следы еще доромантической, «карамзинской» эстетики.

Пушкин был согласен с Бестужевым в общей оценке статьи Плетнева, но это не значило, что он разделял все симпатии и антипатии издателей «Полярной звезды». Холодные отзывы о Баратынском вряд ли могли вызвать его сочувствие. По поводу «Вещего Олега» он

возражал Бестужеву – деликатно, но твердо. И, наконец, еще одно несогласие его касалось Жуковского – и он прямо написал Рылееву, что нельзя «кусать груди кормилицы нашей» потому, что «зубки прорезались», и следует признать, что Жуковский «имел решительное влияние на дух нашей словесности»**60**. В этом заявлении сказалась прежняя его принципиальная позиция: как бы ни отклонялось движение литературы от пути, избранного Жуковским, историческое значение его неоспоримо и требует уважения и объективной оценки. Помимо всего прочего, это была уже и позиция историка, начинавшего рассматривать литературную жизнь как часть культурно-исторического процесса, не зависимого от произволения того или иного критика. Спор о Жуковском продолжался уже на ином уровне – на более высоком уровне историзма, еще не освоенном декабристской литературой и публицистикой.

«Полярная звезда» печатается; 21 марта книжка выходит в свет. Вяземский, больной, убитый потерей ребенка, в последнюю минуту успевает прислать «подмогу»; Рылеев с чувством благодарит его.

«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» Бестужева, открывавший книжку, был эстетическим манифестом зрелого декабризма. Бестужев провозгласил идею национальной литературы и – насколько это было возможно в подцензурной печати – литературы гражданственной. Среди новинок 1825 года он сказал и о «Северных цветах».

Отзыв Бестужева был весьма благожелателен. «Северные цветы. блистают всею яркостью красок поэтической радуги.» Он отметил – как Полевой – преобладание стихов над прозой, но и в последней выделил «статью г. Дашкова „Афонская гора“ и некоторые места „Писем из Италии“.».

Вечная бестужевская поспешность и небрежность! Раскрывать анонимы было не принято.

«Мне кажется, что г. Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они не умрут, потому только, что они живы, – но у каждого свой вес слов, у каждого свое мнение…»

Только и всего – взамен споров, обещанных Гречем. Но Бестужев избегает полемики с соревнующим изданием.

«Из стихотворений прелестны наиболее: Пушкина дума „Олег“ и „Демон“, „Русские песни“ Дельвига и „Череп“ Баратынского. Один только упрек сделаю я в отношении к цели альманахов: „Северные цветы“ можно прочесть не улыбнувшись».

Бестужев принял в расчет мнение Пушкина. О Жуковском он умолчал – и тем выразил свою позицию. В остальном он поднялся выше личных пристрастий: ему не нравился ни «Олег», ни «Череп». Но он поддерживал в глазах публики основное ядро «Северных цветов» – «союз поэтов» – Пушкина, Дельвига, Баратынского. При всех разногласиях эти люди никак не были его противниками – напротив. Что же касается «Песни о вещем Олеге», которую он не случайно (вслед за Плетневым) назвал «думой» – как у Рылеева – и песен Дельвига, – то они были для него знаком поворота к национальной литературе.

Бестужев отделил себя от своих подражателей, а вместе с ними и от «торговой словесности».

Глава II
НАКАНУНЕ 14 ДЕКАБРЯ

В журнальном движении, в шуме полемик, под знаком надвигающихся общественных потрясений русская литература вступала в 1825 год.

От этого года не дошло до нас почти никаких документов о деятельности двух литературных «вольных обществ». Самые общества рассеялись; активнейшие члены их сгинули на виселице, в сибирских рудниках, под пулями черкесов. Но закат обществ начался раньше, еще до 14 декабря. В них шло брожение, складывались небольшие кружки единомышленников, связанных общностью интересов и взглядов, симпатий и антипатий и даже бытовых уз. Вторая половина 1820-х годов – время кружков, а не обществ.

Историю литературной жизни этого времени нужно искать скорее в письмах и дневниках, нежели в официальных протоколах, и то, что вначале складывается в кружке, затем заявляет о себе полным голосом на газетных и журнальных страницах. Сам же кружок интимен; он не «функционирует», он живет обычной, домашней жизнью, с одной только особенностью: быт его литературен, и чтение чужих произведений и писание своих для него такая же повседневность, как дружеский визит или вечернее чаепитие.

Но что такое «дельвиговский круг» в 1825 году? Иван Иванович Козлов вел дневник.

Слепой поэт, прикованный к низкому передвижному креслу, брал в руки перо, чтобы написать письмо. Неровные, с трудом поддающиеся чтению строчки бежали наискось от верхнего угла листа к нижнему: шесть-семь строк на странице.

Иногда он диктовал дочери. Может быть, так, диктуя, он вел свой дневник – изо дня в день, почти без пропусков. Автографа дневника мы не знаем – он дошел до нас только в поздней копии.

Здесь, в этом дневнике, имя Дельвига появляется в 1825 году особенно часто – много что через день. Он приходит к Козлову один, со Львом Пушкиным, Плетневым, Жуковским, Гнедичем; приходит обычно вечером, когда подают чай и начинается чтение стихов. Он бывает на семейных праздниках Козлова и Жуковского, встречается с ними у Воейковой – «chire Svĕtlane». Он принят и на вечерах у Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, сенатора, дипломата, знатока греческого языка и древностей, на досуге пишущего греческие стихи. Иван Матвеевич – отец трех сыновей, из которых один погибнет на эшафоте, другой будет сослан, а третий, совсем юный, выстрелит себе в рот на кровавом поле под Белой Церковью.

«Вечером я был у Муравьева, – читаем в дневнике Козлова под 9 января, – прелестный вечер, великолепный чай. Гнедич читал „Пояс Венеры“ из „Илиады“, я – отрывки из „Невесты Аб.<идосской>“ и мою балладу, Лев П.<ушкин> – „Цыган“. Была г-жа Муравьева К<атерина> Фед<оровна>, ее сын, князь Трубецкой, его жена, Корнилович, Дельвиг»**1**. Гнедич – знакомец Муравьева и в некотором смысле коллега, может быть, он и приводит к нему Дельвига? Впрочем, есть и другие пути в этот дом: Екатерина Федоровна Муравьева – родственница хозяина и ближайшая знакомая Карамзиных, у которых постоянно бывают и Лев Пушкин, и Дельвиг.

Пройдет год – и приедут фельдъегери за участниками этого вечера: сыном Е. Ф. Муравьевой – Никитой, одним из вождей Союза Благоденствия, С. П. Трубецким, неудавшимся «диктатором» восстания на Сенатской площади, А. О. Корниловичем, пока еще – только издателем исторического альманаха «Русская старина».

И тогда Гнедич не побоится написать Е. Ф. Муравьевой письмо с выражением своего глубокого сочувствия и любви к ее сыну.

Сейчас же он читает им всем «Пояс Киприды» (отрывок из XIV песни «Илиады»)», который затем отдаст Дельвигу. И след этого вечера запечатлеется на страницах «Северных цветов на 1826 год».

А Козлов подарит Дельвигу читанную им балладу – «Разбойник», из «Рокби» Вальтера Скотта, которую перевел накануне, – да видно, подарит не в добрый час: Вяземский, не зная ни о чем, напечатает ее в «Телеграфе», по старой, неправленной копии, – за что и получит выговор от Александра Тургенева.**2**

После 12 февраля имя Дельвига на некоторое время исчезает из дневника Козлова. Его нет в Петербурге: приехал отец и увез его с собою в Витебск – как раз в тот момент, когда он собирался отправиться к Пушкину в Михайловское. Здесь он заболел и пролежал месяц в горячке.

Дельвигу делают кровопускание и ставят шпанские мухи, и он не знает, что находится на грани решительных перемен и что причиною их будет девятнадцатилетняя Sophie Салтыкова, дочь почетного «арзамасца», вольтерьянца XVIII века, известного умом, образованностью и мизантропией. Софья – ученица Плетнева по женскому пансиону Шретер, как и подруга ее Сашенька Семенова, в замужестве Карелина, которой она будет писать длинные французские письма, сообщая обо всем, что произойдет далее. Сейчас еще никто ни о чем не знает; еще подруги по неписанным законам всех пансионов «обожают» своего «Плетиньку» и переписывают в альбомы стихи «дорогого Пушкина», его друга поэта Дельвига и самого Плетнева, который рассказывает им о том и о другом. Но уже судьба «Сониньки» для Дельвига не безразлична – и в том виновата дружба Плетнева. Будущие супруги незнакомы – и уже почти знакомы; когда Дельвиг приедет – начнется роман.

25 марта Рылеев послал Пушкину «Полярную звезду». В письме он спрашивал о Дельвиге: он знал уже и о болезни, о выздоровлении, и о том, что Дельвиг должен быть у Пушкина по пути в Петербург. Пушкин ждал с нетерпением.

Дельвиг приехал в середине апреля, привел в восхищение Пушкина и очаровал тригорских барышень, но не изменил обычной своей флегме. Больше всего он любил лежать на постели, перелистывая «Полярную звезду», где особенно нравилась ему «Смерть чигиринского старосты» – отрывок из рылеевского «Наливайки». Об этой сцене он, конечно, разговаривал с Пушкиным, и, по-видимому, сравнивал ее с другой – со знаменитой впоследствии «Исповедью Наливайки».

«Исповедь» была программой, лозунгом. Почти все критики, писавшие о «Полярной звезде», – Греч, Вяземский – ставили ее на первое место. Так думал и сам Рылеев.

Дельвиг, как и Пушкин, предпочитал «Смерть чигиринского старосты». В этом выборе сказывалась в первую очередь позиция эстетическая. Ни Дельвиг, ни Пушкин 1825 года не принимали декларативных стихов, поэзии обнаженно-дидактической. «Я не поэт, а гражданин…» Эта формула – из рылеевского же посвящения к изданию «Войнаровского» тоже была у них перед глазами. Пушкин вспоминал, что Дельвиг «уморительно сердился» на Рылеева за эти строчки – и не отставал от него в ироническом скептицизме. «Гражданствуй в прозе». И те же претензии – к «Думам», претензии совместные: «Цель поэзии – поэзия, – как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все не в попад»**3**.

Отзвуки разговоров с Дельвигом слышатся в пушкинских письмах, написанных в конце апреля. По ним мы можем судить, что речь не раз заходила и о «Северных цветах». «. Зачем ты не хотел отвечать на письма Дельвига? – упрекает Пушкин Вяземского по свежим следам этих бесед. – Он человек достойный уважения во всех отношениях и не чета нашей литературной санктпетербургской сволочи. Пожалуйста, ради меня, поддержи его *Цветы* на след.<ующий> год. Мы все об них постараемся». И далее – уже просто под диктовку Дельвига: «Да нет ли у тебя и прозы?» И почти одновременно Жуковскому: «Кончи, ради бога,

*Водолаза»***4** – вожделенного «Водолаза», будущий «Кубок» – стихи, обещанные Дельвигу для его альманаха.

«Мы все об них постараемся».

Решение Пушкина было твердо, но в апреле 1825 года вряд ли он знал определенно, что может дать Дельвигу. В марте он прислал в Петербург свои стихи, чтобы приготовить отдельное издание; Лев Пушкин читал их у Карамзиных, у Козлова, у Воейковой, но не спешил с перепиской. Вторую главу «Онегина» Пушкин также предполагал напечатать отдельно и теперь отдавал Дельвигу переписанную набело – только для Вяземского, которого ждали в Петербург. Были еще «Подражания Корану», которые уже читали в столице, – и, вероятно, четвертое из них Пушкин отдал Дельвигу из рук в руки; во всяком случае в конце мая Софья Михайловна Салтыкова знала, что Дельвиг намерен печатать эти стихи**5**. Может быть, тогда же он получил и отрывок из «Цыган». Была еще проза – Пушкин, как мы помним, просил о ней и Вяземского. Вероятно, еще в конце 1824 года, прочитав книгу И. М. Муравьева «Путешествие по Тавриде в 1820 году», он начал набрасывать письмо к Дельвигу, точнее статью в форме письма, где рассказывал о впечатлениях, легших в основу «Бахчисарайского фонтана». Это «письмо» можно было сделать потом предисловием к поэме – Пушкин любил этот прием и позднее хотел проделать то же с «Борисом Годуновым». Нужно думать, что он предназначал эту статью-письмо еще для первой книги «Цветов», когда Дельвигу тоже нужна была проза, – но не окончил к сроку. И теперь еще, в апреле 1825 года, письмо не было окончено; Пушкин прислал его только в декабре с припиской, из которой как будто следует, что речь о напечатании его уже шла: «начала в самом деле не нужно».

Запас, привезенный от Пушкина, был, таким образом, не слишком велик, и Дельвиг выпросил пушкинскую черновую тетрадь**6**, из которой можно было, если Пушкин надумает, извлечь что-либо дополнительно.

27 апреля имя Дельвига вновь появляется в дневнике Козлова: он вернулся в Петербург.

Петербургские литераторы ждали от Дельвига новостей о Пушкине.

Рылеев ждал, может быть, более других. Как мы уже могли убедиться, он знал обо всем, что случилось с Дельвигом за эти месяцы. Он общался со Львом Пушкиным и бывал на субботах Плетнева; связи должны были стать теснее с тех пор, как в апреле в Петербурге появился Кюхельбекер**7**. Но в дельвиговском кружке не знали в подробностях, какие разговоры вел Пушкин с Дельвигом о «Звезде», о «Войнаровском», о «Думах», – а именно это интересовало Рылеева более всего. Он увиделся с Дельвигом, видимо, в первую же неделю мая, и Дельвиг рассказал ему и о замечаниях Пушкина, и об одобрении им «Смерти чигиринского старосты»**8**.

Вслед за тем пришло и пушкинское письмо с подробной критикой.

Рылеев был несколько задет и огорчен.

> …Пушкин суд мне строгий произнес
> И слабый дар, как недруг тайный, взвесил…

Пушкину нравилось как раз то, что, по ожиданиям Рылеева, должно было привлечь его в последнюю очередь, и не нравилось то, чем дорожил сам Рылеев больше всего. «Исповедь Наливайки» нельзя было ставить ниже «Чигиринского старосты» – и в «Войнаровском» следовало обращать внимание совсем на иные места. Именно поэтому в рылеевском кругу осталось убеждение, что Пушкин «Войнаровского» не понял и не оценил**9**, убеждение странное, ибо как раз эту поэму Пушкин ставил весьма высоко.

О поэтическом предисловии к «Войнаровскому», несомненно, они говорили тоже, и Дельвиг не скрыл от Рылеева своих претензий. Во всяком случае, строчка «Я не поэт, а гражданин» начинает теперь шутливо-полемически варьироваться в письмах Рылеева к Пушкину

и Дельвигу. «Будь поэт и гражданин», – пишет он Пушкину, а Дельвигу составляет целое письмо, милое и дружеское, построенное целиком на этой строчке. «…Не поэт, а гражданин» желал Дельвигу здоровья и благоденствия и уведомлял о получении денег – «етой прозаической потребности, которая и поэта и гражданина мучит только тогда, когда нечего есть». «Сего со мною не было, – заключал он, – и потому гражданин Рылеев не помнил о долге поэта Баратынского» **10**. Это письмо послано 5 октября, и в нем нельзя усмотреть и тени личных неудовольствий, хотя слышны отзвуки принципиальных полемик.

Дневник И. И. Козлова.

Апрель 1825

28. Лев читал нам мелкие стихотворения своего брата. Аполлон, Дельвиг, Лев, г-жа Вейдемейер обедали у нас. Вечером Гнедич, Александр и Сергей Тургеневы. Я был в салоне. <…>

3 мая. <…> Вечером Лев, Дельвиг, Грибоедов, человек умнейший, каких мало. <…>

9 мая. <…> Вечером милые Тургеневы, Жуковский, Перовский, Дельвиг, Плетнев, Лев, жена моя и дети, все были в сборе. Позже прочли отрывок из «Энеиды», переведенный Жуковским, и его балладу «Кассандра». Мы расстались в 2 ч. ночи.

10 мая. Пришли Дельвиг и Кюхельбекер, этот оригинал. Вечером также Дельвиг и Плетнев. <…>

12. Тургенев, Жуковский, Пушкин (Лев), Дельвиг и Кюхельбекер пили чай. Много смеялись. Дельвиг так уморительно бесил Кюхельбекера. Позже декламировали стихи.

В лаконичной записи – след ссоры. Шутки Дельвига Кюхельбекер принимал всерьез. Он писал матери, что прежний друг стал ему чужим и каждый раз оскорбляет его «в том, что есть самого дорогого и священного» для его сердца**11**. Самым дорогим и священным для Кюхельбекера, пожалуй, были его привязанности – сердечные и литературные. Если Дельвиг шутил над ними, это казалось Кюхельбекеру ничуть не забавно. Еще несколько ссор – и Кюхельбекер твердо решится избегать старинного приятеля: такими разрывами была полна его жизнь, и к ним привыкли; они не длились долго. Впрочем, в «Северных цветах» останется память о сердечных увлечениях Кюхельбекера: стихи «Пощада певца», посвященные юной Авдотье Тимофеевне Пушкиной, в которую он был влюблен и к которой даже сватался. Стихи появятся анонимно: когда выйдет альманах, Кюхельбекер будет уже «государственным преступником».

Но если Дельвиг действительно подшучивал над неудачной любовью «Кюхли», то сама судьба восстанавливала равновесие.

Вечера Козлова все чаще проходят без Дельвига. Он заходит утром 16 мая, чтобы передать в подарок слепому два галстука от «Светланы» – Воейковой, которая живет в Царском Селе. Затем он исчезает.

Теперь приходят Кюхельбекер, Жуковский, А. Тургенев, «Гнедич, который едет на Кавказ».

Гнедич в отпуске с 1 мая; все время собирается на Минеральные воды, но оттягивает отъезд; наконец, уезжает – до конца сентября**12**.

Козлов пишет ему послание «на Кавказ и Крым», где вспоминает о Пушкине, «Бахчисарайском фонтане», восставшей Греции и Байроне. Послание – «Стансы к Николаю Ивановичу Гнедичу» – он отдаст Дельвигу для альманаха. Дельвиг добавит к нему и свое старое послание «Н. И. Гнедичу» – получится поэтический венок.

Но все это случится несколько позже. До 22 мая Дельвиг в Царском Селе**13**. Он каждый день у Салтыковых – и сумел расположить даже старого ипохондрика. Дочь в восторге от «очаровательного мальчика» в очках, который читает ей стихи и сопровождает на прогулках. «Даже его проза – поэзия, все, что он говорит – поэтично, – он поэт в душе» **14**.

«24. <…> Плетнев, Химмелауэр, Дельвиг, Тургенев, Жуковский провели вечер за разговорами и чаем.

25. Дельвиг остался обедать. Около 6 час. Тургенев и Жуковский, который едет в Павловск и Царское. Лев (Пушкин) принес мне *чудное послание ко мне своего брата Александра, что мне доставило чрезвычайное удовольствие* <…>

27. Дельвиг, мой брат, кн. Павел Гаг<арин>. Вечером кн. Волконская (Софья), потом к чаю Кюхельбекер. Мы любим чудака. Вечером граф Егор Комаровский, Тургенев.

29. <…> Вечером Плетнев, Лев и Дельвиг».

30 мая Дельвиг не приходит. Решается его участь: он делает признание Салтыковой.

31 мая Дельвига снова нет. Двоюродный брат его Рохманов едет говорить с Салтыковым, который, ни минуты не колеблясь, дает согласие на свадьбу.

1 июня Дельвиг и Салтыкова – уже жених и невеста.

«1 июня. Г-жа Вейдемейер. <…> Дельвиг, Плетнев и Лев <…>

5. Вечером Липпман, А. Тургенев, Крылов, Дельвиг и Пушкин, – после Кюхельбекер. <…>

11. <…> Вечером Кюхельбекер <…>

12 июня. Утром Воейков. Кюхельбекер обедал. – Вечером Баратынский, уже офицер. – Пушкин, Дельвиг – позднее Тургенев. <…>

Воскресенье, 14. <…> Пушкин, Плетнев, Комаровский, мой брат, его жена. Наши поехали в Царское село к г-же Воейковой (каждое воскресенье). Обедаю с Варенькой. Вечером Кюхельбекер.

16. Баратынский, А. Тургенев, г-жа Вейдемейер, Федоров, к чаю его брат (?), Баратынский, Плетнев <…>

17. Мой брат, его жена. Баратынский, Дельвиг, Пушкин.

18. Кюхельбекер. – Кн. Софья Волконская с дочерью и Александр Тургенев – остались до полуночи».

Далее нить теряется: за вторую половину года дневник Козлова не сохранился.

Мы успеваем только узнать из него о приезде Баратынского. Долгие и, казалось, безнадежные хлопоты о нем, наконец, увенчались успехом. 4 мая А. Тургенев писал Вяземскому о производстве его в офицеры. «Давно так счастлив не был»**15**.

В июне 1825 года Нейшлотский полк с прапорщиком Баратынским прибыл в Петербург.

Может быть, в ожидании этого приезда Пушкин и передал Дельвигу для напечатания два маленьких стихотворения, обращенных к Баратынскому, – «Я жду обещанной тетради» и «Сия пустынная страна»: они появились в «Северных цветах на 1826 год». Кажется, об этих стихах писал А. Тургенев А. Я. Булгакову: «Скажи Вяземскому, чтобы не печатал нигде двух маленьких пиес в списке стихов Пушкина, вчера посланных. Он их отдал Дельвигу»**16**. Письмо написано 28 мая, когда Баратынского ждали со дня на день. Стихи были сюрпризом, памятью, поэтическим приветом.

В Петербурге – конец ссылки, друзья, приуготовившие освобождение, – Тургенев, Жуковский; Левушка Пушкин, Дельвиг, который тут же везет его к своей невесте. К свадьбе все готово; Баратынский и Жуковский должны быть шаферами. И вдруг все расстраивается, туча набегает на безоблачное небо: отец невесты чем-то разгневан, пишет грозное письмо, он полон недоверия и подозрений.

Дельвиг расстроен, растерян. Баратынский пытается успокоить его; они проводят часы в беседах о «Сониньке». Кажется, Карамзин пытался в эти дни воздействовать на Салтыкова**17**.

Баратынский, утешая друга, сам не вполне спокоен. В Петербурге обступили его старые и новые увлечения. Два его стихотворения в «Северных цветах» – маленькие элегии

об охлаждении и измене: «К Аннете» и «Л. С. П<ушки>ну». Последнее стихотворение – видимо, след платонического соперничества из-за «Светланы» – Воейковой; еще в марте влюбленный в Воейкову Языков замечал предпочтение, оказываемое ею обоим поэтам, и ревновал**18**. Теперь Баратынский в стихотворном послании уступал Левушке пальму первенства. Он влюблен – и не на шутку – но уже не в Светлану: мыслями его владеет Аграфена Федоровна Закревская, эта «Магдалина», «вакханка», современная Клеопатра. Дерзко пренебрегая мнением света, она словно стремится держать своих поклонников в горячечном упоении страсти – и Баратынский не избегнул наваждения. Он знал ее еще по Гельсингфорсу: теперь они встретились в Петербурге.

Мы вспоминаем об этом потому, что на страницах «Северных цветов» ей предстоит появиться несколькими годами спустя – и потому еще, что в готовящейся книжке на 1826 год Дельвиг напечатает загадочное стихотворение Баратынского «Надпись», которое долгое время относили к Грибоедову:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет,
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след.

Эти стихи удивительно напоминают то описание Закревской, которое сделал Баратынский в февральском или мартовском письме к Н. В. Путяте**19**. Может быть, и они адресованы этой женщине?

Баратынский не дождался свадьбы Дельвига: 11 августа он должен был ехать**20**. За эти три петербургских месяца он успел снова войти в литературный круг. Он оставил «Эду» на попечение Дельвига, вероятно, тогда же отдал свои приношения в его альманах и не забыл Рылеева и Бестужева. Охлаждение не означало разрыва; в альманахе «Звездочка» должны были появиться эпилог к «Эде» и «Бал». Это было гораздо больше того, что получил Дельвиг. В эпилоге «Эды» звучали антидеспотические мотивы:

…слава падшему народу!
Бесстрашно он оборонял
Угрюмых скал своих свободу.

Связи восстанавливались, хотя и менее тесные, чем прежде. 21 июня приехал из Москвы Вяземский**21**. Вечером в первый день приезда он отправился к Козлову, слушал «Цыган», которых читал неутомимый Левушка, и узнавал последние новости о Пушкине. Он торопился в Ревель на морские купания и почти все дни проводил в Царском Селе. Даже с Бестужевым он не успел встретиться, и Бестужев потом горько упрекал его за небрежение, а Вяземский извинялся**22**.

Он бы, конечно, не встретился и с Дельвигом, если бы Дельвиг (как и Баратынский) не был завсегдатаем вечеров у Козлова.

Но он виделся с Дельвигом и тоже извинялся и оправдывался. У него не было стихов, обещанных для альманаха. Он объяснил Дельвигу, что «хоронил и умирал» и что только теперь, несколько оправившись, начнет высылать свои недоимки. Так он написал и Пушкину: «Для Цветов дам ему своей ромашки»**23**.

Вяземский уехал 4 июля. Дельвиг зашел к Карамзиным попрощаться с ним**24**. Затем ненадолго приехал Языков**25**. Он тоже обещал помощь.

Все это время Дельвиг чувствует себя больным. Он потерял сон, аппетит; его лихорадило. На Михаила Александровича Салтыкова нашел очередной приступ ипохондрии, и он

не уступал уговорам. Свадьба откладывалась. Ни Жуковский, ни Карамзин, казалось, ничего сделать не могли.

И при этом он должен был еще заниматься делами альманаха. «У меня куча дел по цветам, – пишет он невесте, – я целое утро должен разъезжать, должен бог знает об чем говорить, в то время, когда только об одной тебе думаю»**26**. В Петербурге уже говорили о женитьбе Дельвига как о деле решенном, и это еще усугубляло треволнения. Федор Туманский написал поздравительный сонет. Дельвиг отдал сонет А. Е. Измайлову**27**, который продолжал работать над своим альманахом. Вражда его с «союзом поэтов» уже отошла в прошлое. Он рассчитывает на сотрудничество Кюхельбекера, с которым встретился дружески.

Кюхельбекер не вернулся к Дельвигу: он менял свою литературную среду. После отъезда Грибоедова он поселился у Греча и стал сотрудником «Сына отечества»; он проводил время в обществе Рылеева и даже ездил с ним вместе в деревню. В ноябре 1825 года Рылеев принял его в тайное общество. Он ужился с Рылеевым – но с Гречем и Булгариным ужиться не мог: за несколько месяцев он убедился, что «литературные торгаши» «имеют все достоинства, кроме честности».

Теперь он с энтузиазмом помогал Измайлову и дал в его альманах «Календарь муз» восемь стихотворений. Все они вышли без подписи: альманах появился уже после 14 декабря**28**.

У них больше не было стихов: и Измайлов, и Кюхельбекер отдают Дельвигу по одному стихотворению.

Трудно добывать материал: новые альманахи и журналы требуют пищи.

Мелькают дни, недели, месяцы.

4 августа Вяземский посылает Пушкину из Ревеля «Нарвский водопад» и требует замечаний. Это – стихи для Дельвига.

15 августа Пушкин посылает подробный разбор, отмечая стихи вялые, неточные или изысканные. 28 августа Вяземский отвечает – уже из Царского Села. Он вносит некоторые исправления и отдает «Нарвский водопад» в «Северные цветы»**29**. Вероятно, тогда же он передает Дельвигу и другое стихотворение – «О. С. Пушкиной». С сестрой поэта он познакомился коротко там же, на морских купаньях, и даже, кажется, увлекся «милым, умным, добрым созданием», с которым проводил целые дни в беседах о ее брате и своем приятеле. Собственно говоря, и послание было стихами не только о ней, но и о нем, об Александре Пушкине, с его бурной судьбой, требующей спокойного участия дружбы. В «Северных цветах» они приобретали особый смысл. Это был знак памяти, знак связи.

Дельвиговский кружок, как и ранее, делал дружескую связь фактом литературы.

Пушкин обращал стихи к Баратынскому.

Баратынский – ко Льву Пушкину.

Вяземский – к Пушкину.

Дельвиг и Козлов – к Гнедичу.

Плетнев писал дружеское послание к Дельвигу – послание почти домашнее: «Д***, как бы с нашей *ленью* Хорошо в деревне жить…»

Во всем этом была некая принципиальная позиция, которая приобретала совершенно особые оттенки, когда один из друзей оказывался в ссылке, как Пушкин, или в опале, как Баратынский.

Ближайший дружеский круг снабжал Дельвига материалом.

Иван Иванович Козлов был одним из усерднейших вкладчиков. Он дал пять стихотворений: отрывок из перевода «Освобожденного Иерусалима» Тассо, «Стансы к Гнедичу», о которых уже была речь, переводы из Байрона («Еврейская мелодия») и из ирландского поэта Чарлза Вольфа. Это последнее стихотворение – «На погребение английского генерала сира Джона Мура» – стало довольно популярным; ему потом подражал Лермонтов.

Еще одна маленькая пьеска Козлова была посвящена княжне Стефании Радзивилл, юной выпускнице Екатерининского института. Плетнев написал к этому посвящению стихотворный постскриптум – мадригал одновременно и девушке, и слепому поэту. Из четырех стихотворений Плетнева три оказались посвящениями: Дельвигу, Радзивилл и Софье Михайловне Салтыковой. Своей бывшей ученице он адресовал сонет, где прозрачно говорил о ее свадьбе с Дельвигом. Итак, все же сонет на свадьбу попал на страницы альманаха – но, конечно, написан был он уже после 30 октября, когда, наконец, сопротивление Салтыкова было сломлено и дочь его стала баронессой Дельвиг.

Быт кружка становился литературой.

Федор Антонович Туманский, подаривший Дельвигу свою эпиталаму слишком рано, был наказан за поспешность: его сонет, подаренный Измайлову, почему-то не был напечатан и канул в вечность. Он, видимо, не был обижен, потому что продолжал трудиться для альманаха в поте лица. Судьба вообще, кажется, обделила его авторским честолюбием; в Москве, где он учился в университете, на отделении словесных наук, даже не знали, что он пишет. Левушка Пушкин, служивший с ним в Департаменте духовных дел с 1821 года, познакомил его с Дельвигом и Баратынским, которым он был под стать если не талантом, то нищетой и беспечностью. Путята, конечно, со слов Баратынского, передавал забавную сценку: Дельвиг и Баратынский прогуливались однажды без гроша в кармане по Невскому проспекту и рассуждали, где бы отобедать. Встреча с Туманским прервала их беседу. «Где ты обедаешь сегодня?» – «Chez le grand Restaurateur» (у великого Ресторатора), – отвечал Туманский протяжно и подняв глаза к небу.

Как поэта Федора Туманского «открыл» Дельвиг. От него дошло до нас всего десять стихотворений – и из девяти, напечатанных им при жизни, четыре появились в «Северных цветах на 1826 год» – почти половина его литературного наследия! Три элегии и «Молитва» его были совершенно в духе традиционной элегической школы, но их ценили: почти через семь лет Воейков перепечатает их из «Северных цветов» в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» и даже произнесет им особую похвалу. В эти годы Туманский особенно близок к кружку: он очень дружен с Левушкой Пушкиным, постоянно бывает у Дельвига и даже, кажется, помогает им при переписке для издания пушкинских стихотворений**30**.

Старинное знакомство привело в альманах еще двух человек.

Алексей Дамианович Илличевский, «Олосинька» первого лицейского выпуска, только что вернулся в Петербург после двухлетнего заграничного путешествия. Лицейские однокашники, недолюбливавшие его за карьеризм и подозрительный характер, не без иронии рассказывали друг другу, что он марширует по столице в золотых очках с видом наблюдателя и мечтает быть кавалером разных орденов. Перед отъездом он имел неудовольствие с Дельвигом: он полагал, что барон, на правах цензора поэзии в Вольном обществе любителей российской словесности, ограничивает его стихам доступ в «Соревнователь» и не допускает перевод из «Лузиады» Камоэнса – предмет его авторской гордости. По пути за границу Илличевский остановился в Дерпте, где свел знакомство с Языковым; отношения были даже дружеские, и он оставил Языкову тетрадь своих стихов с правом печатать где хочет и даже исправлять. От последнего права Языков благоразумно отказался. В марте 1825 года Языков прислал эту тетрадь в Петербург для возвращения по принадлежности, а в апреле Илличевский появился в столице сам и возобновил свои литературные связи**31**. Он предложил Дельвигу пять небольших стихотворений – если не все, то часть их была написана еще до отъезда – и путевой очерк «Путешествие на Сент-Бернард». Остро нуждаясь в прозе, Дельвиг должен был принять даяние с благодарностью, хотя очерк вызывал потом нападки; к стихам же Илличевского он всегда относился скептически: это были искусно обработанные, не лишенные изящества и даже остроумия поэтические безделки, почти всегда переводные, но без

оригинальности и чаще всего без поэтического чувства. Илличевский видел в них русскую поэтическую «антологию», усовершенствующую стихотворный язык.

Вторым новым лицом был Иван Ермолаевич Великопольский, напечатавший у Дельвига мадригальное стихотворение «К подаренному локону».

Этот поэт остался в литературе почти исключительно благодаря эпиграммам Пушкина, на которые он в свое время очень обижался. В начале 1820-х годов он, однако, пользовался некоторой, хотя и ограниченной известностью. Он был членом обоих петербургских литературных обществ и помещал стихи в «Благонамеренном». Он знал довольно коротко Дельвига и И. И. Пущина и не вполне прервал с ними связь, когда перешел на службу в Староингерманландский пехотный полк, стоявший то в Пскове, то в его окрестностях. Здесь он встретился с Пушкиным, играл с ним в штосс – не всегда удачно и отсюда же посылал стихи в петербургские журналы. Когда вышла книжка «Цветов» с его стихотворением, Дельвиг послал ему экземпляр с надписью «Милому поэту»; Великопольский был растроган и откликнулся длинным посланием, где попутно задел Ореста Сомова и «Фаддея» – «отца безмедныя пчелы», который, рецензируя альманах, прошел его детище совершенным молчанием. В конце 1826 года он приехал в Петербург и побывал у Дельвигов**32**; плодом этого визита, видимо, было появление в «Северных цветах на 1827 год» нового его стихотворения «Воспоминание (Из Ламартина)».

Таковы были основные «вкладчики». По одному – двум стихотворениям дали прежние участники «Цветов». Востоков, столь щедро снабжавший Дельвига в прошлом году, поскупился на этот раз: он дал одну, хотя и весьма примечательную «сербскую песню» – «Строение Скадра» и небольшое стихотворение «К друзьям» – то самое послание к Гнедичу, которое так ценили Плетнев и Дельвиг. Одно стихотворение – «Развалины» – принес Масальский, одну «Элегию» – М. Л. Яковлев; Платон Ободовский дал два фрагмента из довольно обширной «персидской поэмы» «Орсан и Леила», еще какой-то «А. Ог-в» малозначительное «подражание Скаррону» («Моя эпитафия»). Две пьесы появились анонимно – «14 сентября 1824 г.» и «Фирдоуси» – своеобразная восточная аллегория, не случайно соседствующая с восточными аллегориями Федора Глинки: легенда о великом поэте и неблагодарном властителе – тема, излюбленная «соревнователями» и подхваченная декабристами. Наконец, у Дельвига были два стихотворения Батюшкова – «К N. N.» – послание к С. С. Уварову, написанное еще в 1817 году, и «Подражание Ариосту» – изящный антологический фрагмент, также из последних стихов. Эти стихи Дельвиг привозил Пушкину в Михайловское, и Пушкин сделал копию и послал Вяземскому**33**.

Это было все, чем располагал или мог располагать Дельвиг летом 1825 года. Свои собственные поэтические запасы он исчерпал почти полностью: в альманах ушли все его стихи последнего времени – кроме лицейской песни, написанной ко дню 19 октября. Это были две «русские песни» – «Две звездочки» и ставший потом знаменитым «Соловей мой, соловей», одно маленькое альбомное стихотворение («В альбом С. Г. К-ой»), большая идиллия «Друзья» и две антологических эпиграммы «Мы» и «Эпитафия». Последняя была надгробным приношением: она была посвящена памяти Софьи Дмитриевны Пономаревой. Дельвиг прощался со своей прежней привязанностью; последний раз на страницах альманаха мелькнет образ этой женщины, которая будет еще некоторое время вызывать запоздалую ревность у Софьи Михайловны Дельвиг. К этому собранию стихов он добавил и два ранних – трех– или четырехлетней давности: уже упомянутое нами посвящение Гнедичу и эпиграмму «Луна»; ранние стихи уже его не удовлетворяли, он не был уверен в их достоинствах и потому не поставил под ними полной подписи, а только инициал**34**.

Нужны были поэты, нужны были художники.

И нужен был – по примеру «Полярной звезды» – критический обзор, открывавший альманах. Но как раз критика в дельвиговском кружке не было. Статья Плетнева в про-

шлой книжке показывала это как нельзя лучше. Как бы ни спорить с Бестужевым, нельзя было не признать, что обзоры его превосходят плетневский во всех отношениях – и прежде всего по ясности и оформленности эстетической позиции. Здесь сказывалась не только разница талантов, но разность самих литературных групп. Кружок Рылеева и Бестужева имел общественную программу – это была теперь программа Северного тайного общества. Она направляла перо литератора, диктуя ему оценки, определяя его симпатии и антипатии. Критическая статья превращалась в декларацию; ее эстетические – а с ними и общественные – идеи читались без труда: национальная литература, гражданский романтизм с неизбежной социальной дидактикой, антидеспотический дух. Если затем в альманахе поместить несколько произведений в этом же ключе – он получит свое лицо.

«Полярная звезда» имела свое лицо.

Она начинала сближаться с *журналом*– не по внешним признакам, а в самом своем существе. Она проводила свою политику – общественную и литературную.

Мы увидим далее, что слово «журнал» все чаще будет произноситься литераторами, сочувствовавшими Рылееву и Бестужеву. «Северные цветы» не могли перерасти в журнал.

Это был типичный альманах и порождение «века альманахов», исчезнувшее вместе с ним. Кружок Дельвига не складывался в литературно-общественную группировку, которая могла бы выступить с прямой декларацией. Его объединяли не программы, а общественные и эстетические тяготения. Он был тем, что современные социологи назвали бы, вероятно, «неформализованной группой», и в ней особое значение приобретали связи литературно-бытовые, связи людей «кружка», но не литературной «партии».

Дельвиг, Баратынский, даже Плетнев были затронуты общественными веяниями декабристской эпохи, они сочувствовали многому, что содержалось в декабристских программах, – и уж, конечно, не сочувствовали ни российскому деспотизму, ни мистицизму, ни засилью цензуры. Они не были и не могли быть принципиальными врагами издателей «Полярной звезды». Но они не могли быть и их единомышленниками и союзниками; они либералы, не революционеры.

Они – романтики, и гражданский пафос не чужд им; он выливается иной раз в резких эпиграммах, как эпиграмма Баратынского на Аракчеева. Они чуждаются мистического романтизма Жуковского, и придворная его служба им не по душе. Но и гражданская поэзия – не их сфера, и они равным образом удаляются от эстетических деклараций декабризма, соприкасаясь с ними лишь там, где речь идет о поэзии Байрона, о неприятии официоза, об устремлениях к национальным поэтическим истокам – к народной поэзии. Именно поэтому они никогда не станут рассматривать Жуковского только под социальным углом зрения и не выступят против него как против принципиального противника. Эстетическая сфера для них более автономна, чем для идеологов декабризма. Здесь идеалы их – аморфнее, абстрактнее – но шире.

Их влечет к себе гармоническая античность – искусство времени наивного детства человечества – так они думают. В этом воскрешении есть нечто от социальных утопий, с их извечными грезами об утраченном золотом веке. Они полны внимания к пластическим искусствам и к живописи. Они не утеряли интереса и к элегии, с ее психологическим и философским началом.

Их искусство – внеполитично, но отнюдь не внесоциально. И сами они вовсе не отгорожены от общественной жизни. Не деяния декабристов, не декларации их, но самый пафос неприятия официальной России уже пустил корни в их среде. На службу правительству они не станут и приютят у себя запрещаемые стихи каторжников. Пройдет несколько лет – и неблагосклонное внимание Бенкендорфа обратится на кружок, которому отныне суждено будет оставаться под вечным подозрением до смерти Дельвига. И подозрения, нужно сказать, будут не совсем лишены оснований. «Неформализованная группа», с ее позицией, ско-

рее отрицательной, чем положительной, в эпоху всеобщих «поправений» окажется хранилищем идей и воспоминаний, о которых следует забыть.

Самая интимность кружка станет чуть что не гарантией его устойчивости.

Но сейчас, в 1825 году, эта интимность контрастирует с накаляющейся общественной атмосферой. В ней «Северным цветам» декларировать нечего. И они никогда не станут журналом.

«Северные цветы на 1826 год» открываются не литературным, а художественным обозрением.

В руках Дельвига был маленький фрагмент пушкинских «Цыган» – отрывок об Овидии.

Он хотел поместить к нему картинку и отправился за этим к академикам живописи. Академики взялись, но ни один не преуспел.

Тогда Дельвиг обратился к Василию Ивановичу Григоровичу, секретарю Общества поощрения художников, человеку весьма замечательному**35**.

Василий Иванович Григорович был связан с художниками не только по должности своей, но и своими симпатиями и помыслами. Он был близким другом Ф. П. Толстого, и самая идея общества, которое бы поощряло русских художников и создавало для них аудиторию, принадлежала ему. Он помогал потом и Федотову, и Шевченко, а в 1824 году писал записку о создании национального музея, «Русского музея», дабы споспешествовать развитию русского искусства и отклонять публику от «гибельного для талантов отечественных» пристрастия к «иностранцам». Еще в 1818 году он входил в ложу «Избранного Михаила», где собрались главные члены Союза Благоденствия, а затем был секретарем «Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения»; уже в это время у него установились связи с Ф. Н. Глинкой, Гнедичем, Кюхельбекером, Н. Бестужевым. Вероятно, тогда же он познакомился с Дельвигом и Плетневым; когда в 1823 году он стал издавать «Журнал изящных искусств», он пригласил Плетнева сотрудничать на льготных условиях, и Плетнев печатал у него стихи и рецензии. Они бывали в одних и тех же домах – у Толстого, иногда у Оленина**36**.

Григорович написал для Дельвига целый трактат «О состоянии художеств в России» – первый очерк истории русского искусства, занимавший почти сто альманашных страниц. В нем были все идеи, которым служил неутомимый энтузиаст. Григорович писал, что развитие изящных искусств есть следствие и условие распространения просвещения; что в России уже были свои «гении» (он так и говорил: «гении», вспоминая о зодчем Какоринове и ваятеле Козловском), и будет еще более, если общество будет поощрять отечественных художников; он перечислял превосходнейших художников новейшего времени: Мартоса, Захарова, Егорова, Шебуева, Щедрина, Кипренского и иных и прилагал гравюры с картин и скульптур. Григорович был «классик», требовавший от искусства «верного вкуса» древних – строгости и гармонии. Он понимал национальное искусство иначе, нежели теоретики гражданского романтизма – но сходился с ними в основной идее. Эту-то идею – национального искусства – и провозглашали теперь на своих страницах «Северные цветы».

Статья Григоровича была у Дельвига в начале октября, и он беспокоился, пропустит ли ее цензура. Он посылал Григоровичу «две пьесы» Ф. Н. Глинки, прошедшие сквозь горнило, и жаловался, что собственная его идиллия «Друзья» была признана «развратной и соблазнительной». Он просил, чтобы Григорович сам похлопотал о своей статье и обещал в благодарность сочинить для него идиллию. Он шутил, конечно, – но шутил всерьез**37**.

Григорович упрекал русских писателей, что они молчат о русских художниках, – быть может, потому, что мало знакомы с художествами. Дельвиг был счастливым исключением. «Художников друг и советник», – говорил о нем Пушкин, которого Дельвиг иной раз водил по выставкам и мастерским.

Он посвятил Григоровичу идиллию «Изобретение ваяния» – хотя не о русских художниках, но о художествах вообще.

Шла осень 1825 года.

Альманах еще не был собран окончательно, хотя наличный запас уже поступал в цензуру.

Поэты, кажется, были не при стихах. Языков в Дерпте жаловался на безмолвие своей музы.

Его осаждал просьбами Егор Аладьин, издававший «Невский альманах». Языков досадовал и отмахивался. Заботился он, пожалуй, об одной «Звездочке» Бестужева и Рылеева: он послал для нее весной «Зависть гения» («Гений»), а теперь, 16 августа, отрывок из недавно задуманной стихотворной повести из жизни эстов – описание восхода и заката на Чудском озере. Больше у него ничего не было; Аладьину он собирался послать старые элегии с тем, чтобы печатать анонимно. 20 сентября он пишет брату, что не надеется хоть что-нибудь послать вовремя Дельвигу.

Вяземский уехал к себе в Остафьево и не подавал признаков жизни.

От Жуковского Дельвиг в этот раз не получил ничего.

Буквально на его глазах Лев Пушкин переписывал начисто «Разные стихотворения» Александра Пушкина; Плетнев должен был наблюдать за изданием.

Он написал Пушкину и просил у него «Андрея Шенье», новинку, жемчужину, которой Пушкин сам гордился. Текст элегии был у Льва – но нужно было согласие автора, чтобы Лев изъял стихи из тома. «Разные стихотворения» могли выйти раньше альманаха, и тогда напечатание стихотворения в «Цветах» лишалось смысла.

Пушкину не хотелось отдавать «Андрея Шенье»; он хотел приберечь новинку для своей книжки. Он предлагал взамен строфы «Онегина» – той самой второй главы, которую сам же Дельвиг передал от Пушкина Вяземскому**39**. Подарок был завидный – десять строф, четверть всего текста – но у Дельвига их не было в руках, а Вяземский исчез. Нужно было списываться и просить копию.

Вяземский сам был в хлопотах в это время. Он деятельно помогал «Московскому телеграфу»: журнал требовал пищи. Он помнил, что за ним еще долги – Дельвигу и Бестужеву с Рылеевым, но рассчитывал, что его хватит на всех: он воспрянул после ревельских купаний, и ему писалось. Литературная жизнь в Москве как будто оживала, и это побуждало его к деятельности. В начале октября в Москву приехал Баратынский: здесь жила его семья, его мать, сильно постаревшая и больная; Баратынский скрепя сердце должен был остаться в Москве. Вяземский встретил его, угнетенного и полубольного, и очень ему обрадовался: за две недели старое знакомство перерастает в дружескую приязнь**40**. Среди забот и хлопот по делам литературным и нелитературным он успевает напечатать несколько статей в «Телеграфе» и еще свести новые знакомства. В середине октября он просит у Пушкина дополнительно стихов для альманаха «Погодина университетского», человека, как он слышал, хороших правил.

Тем временем петербургские «альманашники» ждут доли Вяземского. 30 октября Бестужев отправляет ему сердитое письмо. Он печатает «Звездочку», недоволен стихотворной ее частью и упрекает Пушкина и Вяземского за неисполнение обещаний. Вяземский отвечает только 18 ноября – он ездил по делам в свое костромское имение. «.Дайте срок – справлюсь и исправлюсь… Через неделю доставлю свой оброк»**41**.

Дельвигу же в эти дни не до писем. 29 октября он отнес в цензуру свой альманах – все, что ему удалось собрать**42**, и на следующий день играет свадьбу.

В маленькую квартирку молодых на третьем этаже дома Эбелинг в Большой Миллионной приходят гости. Почти каждый день заходит Лев Пушкин; Плетнев, Ф. Туманский – постоянные посетители, реже бывают Гнедич, Лобановы – драматург Михаил Евстафье-

вич с женой. У Козловых, Воейковой Дельвиги бывают сами. Когда при первом знакомстве Софью Михайловну подвели к Козлову, слепец ощупью нашел ее руки и стал целовать; она была рада и тронута**43**. По субботам собирались у Плетнева – как и прежде, это был день литературных вечеров.

«Поздравляю Вас от всего сердца, любезнейший Барон, и прошу поздравить за меня м. г. Софью Михаиловну, – писал Дельвигу Дашков. – Как скоро удосужусь, то непременно явлюсь к ней с личною просьбою принять меня в свое благорасположение как старинного друга ее семейства.

Я было воспользовался свободными от службы минутами и очень подвинул свою статью: у меня уже написано более половины, т. е. около трех четвертей прежней печатной статьи. Но между тем как я занимался межеванием храма Иерусалимского, мне досталась по законодательной части огромная работа о *специальном межевании* казенных и помещичьих земель. Что делать? поневоле пришлось оставить на время Сирию и окунуться в межевую инструкцию. Однако же я не изменю вам: пока будут переписывать первую часть моей работы для Комиссии (которая почти готова), я успею кончить работу для Вашего Цветника. Преданнейший вам Дашков. Середа»**44**.

В письме, как и в жизни, дела семейные и альманашные шли рядом. Молодая супруга переписывала своей рукой поступавшие рукописи.

Дашков готовил для Дельвига две новые статьи: «Русские поклонники в Иерусалиме. (Отрывок из путешествия по Греции и Палестине в 1820 году)» и «Еще несколько слов о Серальской библиотеке».

В конце ноября почти весь собранный Дельвигом материал уже вышел из цензорских рук и около половины было напечатано. Остались «недоимки». Он пишет к Языкову, напоминая о данном обещании. Языков в отчаянии: стихов нет, а претендует на них еще и Измайлов. Он пишет брату 6 декабря и просит отдать Дельвигу отрывок «несуществующей повести „Ала“» – не весь, а вторую половину. Стихи были написаны год назад, и началом Языков был недоволен. Имени своего он выставлять не хотел. А. М. Языков поспешил выполнить просьбу – и отдал все. Автор подосадовал – и махнул рукой. Больше стихов у него не было – ни для Измайлова, ни для кого бы то ни было**45**.

28 ноября Дельвиг отправил письмо Вяземскому.

Вяземский сулил ему прозу и четыре или пять стихотворных «пьес» и теперь должен был поторопиться. Малейшее промедление было губительно. Но Дельвиг был и сам виноват, отложив свое письмо до конца ноября. Он поступил тем более опрометчиво, что в письме возлагал на Вяземского дополнительные комиссии. Пушкин позволил ему взять в альманах десять строф из второй главы «Онегина», и Дельвиг просил Вяземского дать списать их или поручить это Баратынскому. Он сообщал также, что прилагает письмо к Ивану Ивановичу Дмитриеву и просит замолвить за него словечко**46**. В спешке он, вероятно, забыл вложить самое письмо: Вяземский, во всяком случае, не получил его, а получил сам Дмитриев.

Вяземский, однако, помнил о Дельвиге. Еще в начале ноября он отправил ему через Жуковского часть своего «оброка» – «Коляску» и «другие мелочи», а теперь собирался – тоже через Жуковского – переслать «К мнимой счастливице». Прозы готовой у него не было.

Отрывки из «Онегина» Вяземский обещал доставить немедленно, как только доберется до злополучной тетради: он писал из Остафьева, а тетрадь оставалась в Москве**47**. Письмо он отослал в Москву к Баратынскому и воспользовался случаем пригласить в Остафьево своего нового приятеля, который становился теперь связующим звеном между ним и Дельвигом**48**. Вяземский удовлетворен: «В „Северных цветах“ будет довольно моих новых стихов, если только цензура пропустит»**49**.

И не Вяземскому ли Дельвиг был обязан появлением в «Северных цветах» еще четырех стихотворений: Шевырева («Вечер» и «Лилия и роза»), Ознобишина («Мир фантазии») и Раича («К Лиде»)?

Все эти московские поэты были так или иначе связаны с «Погодиным университетским», об альманахе которого Вяземский ходатайствовал перед Пушкиным.

С Семеном Егорьевичем Раичем Вяземский был знаком ранее, чем с другими. Он был и старше остальных своих товарищей, которые делали первые шаги в литературном обществе под его руководством. Общество составилось из питомцев Благородного пансиона при Московском университете, где Раич преподавал; Д. П. Ознобишин был секретарем**50**; девятнадцатилетний Шевырев – активным членом. В обществе, правда, шло брожение – уже недалек был тот день, когда бывшие ученики отложились от Раича и образовали свое собственное общество. Но сейчас Раичев кружок еще клонился к своему концу довольно мирно и выступал чуть что не в полном составе имен в «Урании» – такое название получил погодинский альманах. Он оставил свой след и в «Северных цветах».

Последним отозвался на просьбу Дельвига Дмитриев.

Иван Иванович писал любезно, даже галантно, и несколько жеманно. В письмах он покидал тон непринужденного простодушия, какой принимал в личных беседах. Вяземский говорил, что он застегивает мундир.

Он выражал признательность за вторичное приглашение и рассказывал, чего стоило ему победить в себе авторское самолюбие и склониться на просьбы «бросить в. кошницу с яркими и свежими цветами зимний листок, сухой и бледный». «Из малого числа безжизненных стихов» он избрал две пиесы, которые и отдавал на растерзание классиков и романтиков. «Старость уже не так щепетильна, как молодость»**51**.

Иван Иванович кокетничал. Имени своего под стихами, впрочем, не поставил.

Он прислал «Надпись к портрету лирика» – Василия Петрова – и «Подражание 136 псалму».

На чуждых берегах, где властвует тиран…

Дмитриев не подозревал, что именно он посылает Дельвигу и как будут читаться его стихи, когда они дойдут до Петербурга.

…наш мститель в небесах,
Содрогнись, чадо Вавилона!
Он близок, он гремит, низвергнися со трона…

Письмо Дмитриева было написано 14 декабря.

Вечером 14 декабря колонны пленных отправлялись рядами от памятника Петру I в Петропавловскую крепость.

На опустевшей Сенатской площади стыли под ветром трупы. Стекла в соседних домах были выбиты, и картечь пробороздила стены Сената.

Солдаты грелись у горящих костров; жерла пушек смотрели в каждую улицу вокруг дворца.

На квартире Рылеева прощались с хозяином и между собой Оржицкий, Каховский, Штейнгель. Около восьми часов явился Булгарин. Рылеев вывел его в переднюю. «Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал – и вытолкнул за дверь, дав в руки пакет. В пакете были рукописи. Булгарин сохранил их.

Четырьмя часами позже за государственным преступником приехал с солдатами флигель-адъютант Дурново.

На следующий день на гауптвахту Зимнего дворца пришел Бестужев.

– Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.

Он был прост и спокоен, как будто и не он сутками раньше строил Московский полк в каре на площади. И тот же парадный вид: мундир, гусарские сапоги, белые панталоны**52**.

16 декабря на Толбухинском маяке арестовали Николая Бестужева. В Петербурге, в Москве, на границах России искали по приметам бежавшего Кюхельбекера.

3 января под Белой Церковью был разгромлен восставший Черниговский полк.

Не было больше ни Муравьевых, ни Муравьевых-Апостолов, ни «рыцарей Полярной звезды», ни Корниловича, издателя «Русской старины», ни Александра Одоевского, ни Николая Тургенева.

В Алексеевский равелин привезли Ореста Сомова. Он служил вместе с Рылеевым в Российско-Американской компании и жил с Бестужевым на одной квартире. Перепуганные обыватели называли его чуть что не зачинщиком мятежа. О нем спрашивали Рылеева; тот отозвался, что Сомов даже по характеру своему неспособен участвовать в заговоре. Его держали в крепости почти месяц, потом освободили и даже дали очистительный аттестат. «Обходились благородно, не как при блаженной памяти Ст. Ив. Шешковском»**53**.

«Северная пчела» поместила известие о происшествиях.

Высокоторжественный день восшествия на престол законного императора был омрачен неповиновением двух рот Московского полка, которым начальствовали «семь или восемь обер-офицеров» и «несколько человек гнусного вида во фраках». Правительство вынуждено было прибегнуть к силе.

Такова была официальная версия, продиктованная свыше.

Греч и Булгарин собственными руками должны были чернить своих недавних литературных друзей. Рылеев, целовавший Булгарина вечером 14 декабря, утром 15-го стал «человеком гнусного вида во фраке».

Железные законы управляли поведением политических конформистов. Неизвестно, как бы высказывались Греч и Булгарин, будь они предоставлены собственной воле. Но издатели «Северной пчелы» более не принадлежали себе.

Рылеев знал это и мог предсказать путь Булгарина. Он говорил ему полушутя: «Когда случится революция, мы тебе на „Северной пчеле“ голову отрубим». «Ты не Пчелу, а Клопа издаешь»**54**. С Булгариным еще можно было шутить так, по короткости отношений; с Гречем держались осторожнее. Рылеев и Николай Бестужев предупреждали Михаила Бестужева, что Греча надо остерегаться: как бы не оказался шпионом. Михаил однажды по молодости лет прямо высказал Гречу такое предположение. В «Пчеле», в «Северном архиве» печатались статьи «в духе правительства»; за неделю до восстания появилась статейка «Бедный Макар», где «монархические чувствования и правосудие русских государей» были «выставлены в самом блестящем виде», – так оценивал это произведение Бенкендорф**55**. И все же.

И все же Рылеев осторожно выведывал у Греча, как он отнесся бы к обществу, действовавшему для общего блага, и на прокофьевских обедах при нем велись дерзкие речи. Все же и Греч, и Булгарин виделись с заговорщиками еще в самый день восстания, а Булгарин прощался с Рылеевым перед самым приездом жандармов. Все же в Петербурге передавали шепотом, что Греч и Булгарин – отчаянные заговорщики – печатали у себя прокламации и убили наборщика, который мог их выдать. О них осведомлялась Следственная комиссия, и даже сам новый император якобы спрашивал Бестужева, не участвовали ли журналисты «в деле». Бестужев отвечал отрицательно.

И все же, наконец, Воейков составил анонимный донос и разослал его по Петербургу и Москве. «Сучья обрублены; дерево остается»; известные возмутители и злодеи, Булгарин и

Греч, сумели укрыться от преследований правосудия. Донос не имел реальных последствий, но доставил «возмутителям» несколько весьма неприятных дней**56**.

Не только положение – самая свобода петербургских журналистов, казалось, висела на волоске.

В эти дни, перепуганные насмерть, они стремятся как можно скорее выказать свою благонамеренность.

15 декабря Греч пишет записку о причинах возмущения 14 декабря.

Булгарин «очень умно и метко» описывает в полиции приметы Кюхельбекера.

Последние книжки «Сына отечества» и «Северного архива» задерживаются по причине «жестокой и продолжительной болезни» издателя. «У Греча и Булгарина болит живот», – язвит Измайлов.

30 декабря Булгарин пишет Ф. Глинке отчаянное письмо, умоляя написать к новому году «маленькие стишки» «в честь нашего доброго, кроткого и мужественного царя Николая». «Такой царь стоит вдохновения поэта добродетельного». И стихи Глинки появляются в «Северной пчеле»**57**.

Может быть, они в чем-то и помогут Булгарину и Гречу – но Глинке они не помогут. Он знал обо всем – и еще 12 или 13 декабря был на квартире Рылеева. Когда послышались слова: «Ну вот, приспевает время», он сказал только: «Смотрите вы, не делайте никаких насилий». Он монархист, конституционалист – таких ссылают в Олонецкую губернию из снисхождения к их миролюбию.

Идет суд – над теми, кто участвовал, над теми, кто знал, над теми, кто не донес.

Никаких документов за эти дни кружок Дельвига не оставил. Он тоже под подозрением, хотя и меньшим, чем Булгарин и Греч, – но зато ему никогда не удастся очиститься. Обвинить его, правда, не в чем – хотя имя Дельвига нет-нет да и мелькнет на следствии и внесено в «Алфавит декабристов». Но невысказанные в 1826 году подозрения прорвутся через четыре года, когда Бенкендорф заявит Дельвигу, что у него собирается кружок, настроенный против правительства.

В запальчивости Бенкендорф сгустит краски. Дельвиг не был политиком – ни раньше, ни позже.

8 января 1826 года он пишет Баратынскому, что петербургский Парнас «погибает от низкого честолюбия. И дело ли мирных муз вооружаться пламенниками народного возмущения? Бунтовали бы на трагических подмостках для удовольствия мирных граждан.»**58**.

Осуждение? Да, конечно. В письме нельзя было бы писать иначе, но можно было не писать вовсе.

Впрочем, есть и еще одно письмо, посланное не по почте, – письмо Софьи Михайловны Дельвиг к А. Н. Семеновой от 22 декабря. «Я не могу писать тебе о том, о чем хотела бы поделиться с тобою: об этом надо *говорить*... Все письма теперь распечатываются… В числе многих молодых людей, замешанных в это дело, находятся также Рылеев и Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца. Кюхельбекер еще не разыскан до сих пор. Дай бог, чтобы не открыли. Я трепещу, что его схватят. Мы были в большой тревоге в продолжение всех этих дней.»**59**.

Гнусного вида люди во фраках. Кюхельбекер, Иван Пущин, Левушка Пушкин.

Лев Пушкин был с восставшими; кто-то дал ему в руки отнятый у жандарма палаш.**60**.

В семье Дельвигов царила «большая тревога».

В январе 1826 года альманах был уже почти собран. Часть листов была в корректуре, другую переписывала Софья Михайловна. Дельвиг ждал обещанной статьи Дашкова.

Дашков медлил – но не от лени, как думала неискушенная Софья Михайловна. На прошлую статью его о Серальской библиотеке возражал правнук того Скарлата, на которого Дашков ссылался как на основной источник своих сведений о книгохранилище. Даш-

ков готовил ответ и запросил в Одессе дополнительные справки. Ожидая их, он просил отсрочки – на месяц, потом на три недели. Это происходило уже 14 января. Вторую статью – «о поклонниках» он обещал непременно доставить 1 февраля поутру.

Дельвиг ждал терпеливо.

1 февраля Дашков прислал первые два листа рукописи и сообщил, что окончательный ответ из Одессы вот-вот придет**61**.

Цензурное разрешение на книжке было поставлено 25 февраля. Она опаздывала безнадежно.

То, что Дашков поздно «выпростался», говоря словами Дельвига, было лишь одной из причин опоздания «Северных цветов».

Как бы ни декламировал Дельвиг против тех, кто вооружался пламенниками народного возмущения, собственная его книжка носила на себе отблеск времени, заставлявшего умы клокотать. И сам же он намеревался печатать в «Цветах» пушкинского «Андрея Шенье», где призыв к свободе звучал с такой силой, что в политических процессах подекабрьских лет его прямо связывали с «народным возмущением» 14 декабря. Дельвиг, конечно, знал, на что шел, когда просил у Пушкина именно эту элегию, содержавшую стихи совершенно бесцензурные.

Эту пушкинскую поэтическую автобиографию ему не довелось напечатать – но он поместил другую, отрывок из «Цыган» об Овидии:

Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье…

И отрывок из «Алы» Языкова, прославляющий ливонские свободы, что мечом защищали против королей, и стихи Вяземского, за которые приходилось бояться, что цензура их не пропустит…

Цензура, действительно, задержала какие-то стихи. 8 января Дельвиг писал Баратынскому, что кое-чего напечатать не смог, и причины изъяснит Муханову. Три месяца спустя он рассказал Вяземскому, что после 14 декабря цензоры вновь взялись за альманах и выбросили уже напечатанные стихи, в том числе «Коляску» Вяземского. Опасались уже не только мыслей, но и слов; строчки «что я не подлежу аресту» и «воздушные Кесари» погубили все стихотворение**62**.

Заполнять пустоты было нечем. Правда, Языков отдал ему еще «Две картины» – из альманаха «Звездочка», который был арестован и сложен в кладовой Генерального штаба. Один экземпляр остался у Сомова; его выпросил Егор Аладьин и перепечатал из него сомовского «Гайдамака» и «Кровь за кровь» А. Бестужева (под названием «Замок Эйзен»). Это не прошло ему даром: возникло цензурное дело, по счастью, не имевшее для альманашника серьезных последствий**63**.

В «Северных цветах» остались стихи и проза Ф. Глинки, подписанные полным именем, анонимные стихи Кюхельбекера «Пощада певца» и повесть «Трактирная лестница», принадлежавшая никому не известному Алексею Коростылеву.

То, что Алексеем Коростылевым был Николай Бестужев, что «Трактирная лестница» была последней редакцией новеллы «Отрывок из дневника флотского офицера 1815 года»64 и, кажется, вообще последним, что написал Бестужев перед восстанием и арестом; что Дельвиг сохранил все это в «Цветах», скрыв имя автора от цензуры и литературного мира, – обо всем этом узнали ровно через сто лет.

Глава III
БЕЗВРЕМЕНЬЕ

Весна 1826 года была тяжелой. В январе – начале февраля Дельвиг заболел, восемь дней продолжалась лихорадка. Только к середине февраля он стал на ноги; но теперь болезнь настигла Гнедича. Мнительный и капризный, он неделями не выходил из комнаты. Врачи решительно не знали, чем помочь. Боялись, что ему не удастся окончить перевод «Илиады».

Сильно ухудшилось здоровье Карамзина. К концу марта стало совершенно ясно, что в Петербурге ему не выздороветь: начались приготовления к отъезду в Италию.

Жуковский, постоянно навещавший Карамзина, сам был тяжело болен и готовился ехать в Эмс на воды. Подозревали наклонность к водянке, он уже не мог взойти по лестнице, не мог двинуться без одышки. Он уехал 11 мая. Перед отъездом он написал рескрипт Карамзину от имени нового императора. Николай подписал: это была «милость», оценка заслуг, устройство материальных дел – признание по существу посмертное, все это знали. Об этой милости будут отныне говорить чуть что не полстолетия, о том, что она была выхлопотана, предпочтут молчать.

И как будто по заказу, в марте заболевает самый деятельный член дельвиговского кружка – Плетнев. Плетнев сроду ничем не болел – а теперь исхудал, побледнел, глотал лекарства по две ложки через час и готовился тоже уехать на какие-нибудь воды. Он не оставляет, однако, дел и еще выполняет пушкинские комиссии, даже замышляет издание «Цыган»**1**.

В этих-то условиях Дельвигу нужно было приниматься за новую книжку «Северных цветов», которую к тому же он был намерен теперь издавать один, без помощи Сленина**2**.

Это стало возможно только теперь; годом раньше Дельвиг не решился бы на это, если бы у него и возникла такая мысль.

Прежде всего, у него был теперь издательский опыт и был надежный помощник – Плетнев, уже издавший стихотворения Пушкина и поэмы Баратынского. Еще существеннее было то, что «Полярная звезда», а затем и «Северные цветы» приучили читателей к альманахам; число тех и других росло от года к году. И было еще третье, уже драматическое обстоятельство, которое ставило «Северные цветы» на первое место среди альманашных собратий. У них больше не было достойного соперника.

«Полярная звезда» закатилась. Все лучшее в русской поэзии отныне сосредоточивалось в дельвиговском альманахе.

Теперь – к несчастью – опасаться ему было некого.

22 мая 1826 года скончался Карамзин.

Вокруг кружка Дельвига увеличивалась пустота. С Карамзиным он никогда не был связан особенно тесно, но все же это было еще одно выпавшее звено. Люди уходили по-разному: умирали, отправлялись в ссылку, уезжали, замыкались дома, в семье, – но все уходили.

Плетнев все не поправлялся, он жил за городом, на Кушелевой даче, и Дельвиг видел его редко. Гнедич тоже жил на даче, в бывших комнатах Батюшкова, умершего заживо. На окошках оставались еще следы руки сумасшедшего поэта: «Есть жизнь и за могилой» – и другая надпись: «Ombra adorata», возлюбленная тень. Гнедич часами смотрел на эти строки. Батюшков был когда-то его другом.

Баратынский женился и замолк. Александр Тургенев был в Петербурге, но почти ни с кем не общался. Двойное горе легло на него: смерть Карамзина, осуждение брата.

Не было ни Пушкина, ни Жуковского.

Живым, кажется, был один Вяземский. Он приехал 24 мая, едва успев на погребение Карамзина. Он был подавлен, но не сломлен. В этот свой приезд он в первый раз зашел к Дельвигу. Он ехал в Ревель с осиротевшим семейством Карамзиных и с Пушкиными; перед отъездом он успел написать письмо Пушкину, советуя вновь обратиться к царю с обещанием держать язык на привязи и проситься для лечения в Петербург или за границу**3**.

В эти месяцы Дельвиг писал мало.

В «Северных цветах на 1827 год» появилось только одно его новое стихотворение – «В альбом А. Н. В-ф», написанное 20 января. «А. Н. В-ф» была Анна Николаевна Вульф, старшая дочь приятельницы Пушкина П. А. Осиповой, владелицы тригорского имения, – одна из тех девушек, которые были так заинтересованы бароном во время его визита в Михайловское. Тогда же укрепились дружеские отношения Дельвига с Прасковьей Александровной и всем семейством – и общая их привязанность к Пушкину сыграла здесь не последнюю роль. Еще в июне 1825 года Дельвиг писал Осиповой, что вышлет в Ригу альбом Анны Николаевны со стихами Баратынского и своими, а осенью 1826 года А. Н. Вульф была в Петербурге и познакомилась с Софьей Михайловной**4**. Вероятно, тогда же Дельвиг и вписал в ее альбом свое полушуточное посвящение – на первых же страницах, вслед за выписками из Пушкина и Жуковского.

Наряду с этими стихами – спокойными и безмятежными – Дельвиг печатает в альманахе и другое стихотворение, выбранное из старого запаса – «Гений-хранитель (Сновидение)» – 1820 или 1821 года. В 1826 году они получали совершенно иной смысл, нежели пятью годами ранее. Обремененный душевными страданьями герой во сне видит себя покрытым ранами и в цепях, над ним рыдает светлый вестник богов. Не один гений-хранитель, сами боги бессильны перед законами мощного рока и парками, прядущими нить человеческой жизни, – и страдание невинного потому неизбывно.

Каковы бы ни были намерения автора, в эпоху аллюзионной поэзии эта аллегория приобретала зловещий и конкретный смысл. Вряд ли она была общественным выступлением, но она отражала общественное мироощущение.

Два других стихотворения Дельвига в альманахе оказывались поэтическим апофеозом дружбы. Одно из них – «Дифирамб (На приезд трех друзей)» было написано в августе 1821 года, когда съехались вместе Баратынский – из финляндской ссылки, П. Л. Яковлев – из Бухары и Кюхельбекер – из Германии. «Три гостя, с детства товарищи, спутники.» Здесь уже был прямой умысел: рано или поздно книжка альманаха должна была дойти до Кюхельбекера, ныне томившегося в Шлиссельбурге. «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы.»

Четвертое и последнее стихотворение было той самой посвященной Баратынскому идиллией «Друзья», которую не удалось провести сквозь цензуру в 1825 году.

«Союз поэтов» продолжал существовать.

Дельвиг отказался на этот раз от тематической подборки своих стихов, но устойчивые литературные интересы кружка все же продолжали заявлять о себе. Книжка открывалась «Письмом V» – продолжением статьи Григоровича о русских художниках – и тем самым как бы формально продолжала «Северные цветы на 1826 год». «Сербские песни» Востокова связывали ее и с первым выпуском альманаха. На этот раз Востоков дал четыре первоклассные песни, в том числе знаменитую «Жалобную песню благородной Асан-Агиницы» – ту самую, которая так заинтересовала Мериме, Гете и которую в 1835 году начал переводить Пушкин. И здесь же появляется один из наиболее значительных опытов русской «народной идиллии» – «Рыбаки» Гнедича.

Идиллия Гнедича отнюдь не была новинкой: она была напечатана дважды еще в 1822 году, и тогда же о ней писали с похвалой Бестужев и Плетнев. Гнедич совершенно намеренно

поэтизировал русский национальный быт и притом быт современный, уравнивая его в правах с античным бытом феокритовских идиллий. Эти эстетические задачи были очень близки декабристскому крылу «соревнователей» – и здесь с ними совершенно сходился Дельвиг. Поэтому, когда Гнедич вернулся к своим «Рыбакам» и усовершенствовал текст, Дельвиг воспользовался случаем и напечатал новую редакцию, приложив к ней картинку.

Наконец, в книжке были и антологические стихи – «Наяда» Баратынского – перевод из Шенье – и четыре «антологических» элегии Плетнева. «Садовник», «Рассудок и страсть», «Воспоминание» и «Ночь». Это были последние по времени плетневские стихи и его последнее увлечение: от элегии-медитации, элегии-размышления он шел к «элегическому фрагменту», как у Пушкина или Баратынского.

Иван Иванович Козлов дал два стихотворения: «Подражание Шатобриану (Отрывок, посвященный Александру Ивановичу Тургеневу)» и «Лунная ночь в Кремле». Первый из них получил потом название «Разорение Рима и распространение христианства». Второе же произведение носило подзаголовок «Из поэмы Наталья Борисовна Долгорукая, посвященной В. А. Жуковскому». К нему Дельвиг сделал примечание: «Эта маленькая поэма, начатая в 1824 году, через несколько месяцев будет окончена и напечатана».

Дельвиг имел все основания опасаться аллюзий, которые возникали сами собой. Прямая связь поэмы Козлова с рылеевской думой о Наталье Долгорукой бросалась в глаза. Отрывок в «Северных цветах», конечно, был невинным пейзажным описанием – но далее в полном тексте шла сцена явления призрака: казненный Иван Долгорукий перед женой поднимает за волосы свою отрубленную голову. Если все это было написано в 1826 году – о печатании поэмы не могло быть и речи. Нам неизвестно, когда Дельвигу пришла мысль сделать свое примечание – не в самом ли начале 1827 года, когда уехали в Сибирь Волконская и Трубецкая, и самое имя Натальи Долгорукой читалось как прозрачный намек на жен, оставшихся верными жертвам самовластья? В 1827 году, когда поэма готовилась отдельным изданием, Жуковский очень беспокоился о ее судьбе – и было отчего.

В дельвиговском альманахе сохранялась еще атмосфера додекабрьского времени. Сейчас, когда все должно было меняться, он то и дело становился против течения – то вольно, то невольно.

Федор Туманский отдал сюда «Птичку» и элегию «18 апреля». В «Птичке» слышались отзвуки поэтических аллегорий о свободе. Туманский подражал пушкинской «Птичке», в которой южный изгнанник радовался, что может доставить свободу хотя одному живому существу. Дельвиг тогда тоже создал свою вариацию – «К птичке, выпущенной на волю». Туманский запоздал, но его стихи зато выиграли в популярности: его «Птичка» осталась в памяти поколений читателей, и современники были убеждены, что он превзошел не только Дельвига, но и Пушкина. Лев Пушкин вписал эти стихи в альбом Анны Вульф**5**.

Цензор П. И. Гаевский предлагал исключить из «Цветов» стихи «Сон тирана (Из Брета)» и сделать купюры в «Подражаниях корану» Ротчева, в послании Богдановичу и «Телеме и Макаре» Баратынского. Главный цензурный комитет определил: запретить семь стихов в послании, а «Сон тирана (Из Брета)» заменить на «Сон злодея (Из Садия)»**6**.

«Сон тирана», ныне «злодея», был подписан «1. 8.», т. е. «А. И.», – не Илличевским ли? Он снабдил Дельвига еще прозаическим анекдотом и четырьмя «легкими стихотворениями» в обычном своем роде. По одному стихотворению дали М. Яковлев, Великопольский; два перевода с немецкого – Платон Ободовский. Все это были имена, уже известные нам по прошлым книжкам; но к ним добавились и новые.

Список новых имен открывался неожиданно Фаддеем Булгариным.

Мы оставили Булгарина в тот момент, когда он лихорадочно пытался обелить себя перед новым правительством.

Он делает все новые и новые шаги. Он действует через М. Я. Фон-Фока, родственника Греча, ставшего правой рукой Бенкендорфа, он пишет дежурному генералу Потапову, он оправдывается, объясняет, указывает на свои статьи, в которых проповедовал чистую нравственность и любовь к престолу.

Он составляет две записки – «О цензуре в России и о книгопечатании вообще» и «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного». В записках содержались рекомендации, следуя которым правительство должно было безраздельно господствовать над общественным мнением.

Следовало искоренять европейский либерализм, искоренять убеждением и воспитанием, употребляя «благонамеренных писателей и литераторов». Последних надлежало привлекать к себе, направляя их перо и снимая бессмысленные цензурные запреты. Дайте невинную пищу умам – и вы отвлечете их от политики. «Должно знать всех людей с духом лицейским, наблюдать за ними, исправимых ласкать, поддерживать, убеждать и привязывать к настоящему образу правления.»

Либерализм свил себе гнездо в высшем сословии – среди людей богатых и знатных, отравленных французским воспитанием и честолюбивыми стремлениями. Истинной же опорой правительства является «среднее сословие» – достаточные, но небогатые дворяне, чиновники, богатые купцы, промышленники, частью мещане. К ним-то и должно адресоваться правительство и «благонамеренные литераторы», формируя общественное мнение.

Это была целая программа «официального демократизма», которой отныне будет следовать Булгарин в «Северной пчеле» и в своем «нравственно-сатирическом романе»**7**.

Записки Булгарина иногда рассматривались как прямые доносы, но это неверно. Он не называл никаких имен, неизвестных правительству, он даже пытался извинить лицейских преподавателей, которые не имели сил справиться с веяниями, идущими извне. Записки имели назначение не карательное, а охранительное.

Но как бы ни рассматривать их, они были решительно враждебны тому «лицейскому духу», который продолжал сохраняться в дельви-говском кружке, – и не вызвали в нем возмущения лишь потому, что о существовании их никому из литераторов не было известно.

Булгарин делал отчаянные усилия выскользнуть из-под дамоклова меча, но старые связи напоминали о себе ежеминутно. На гауптвахте Главного штаба сидел арестованный Грибоедов и писал такие записки, от которых и вчуже становилось страшно. Он просил газет, книг; ему нужны были деньги. Он научал Булгарина, как к нему проникнуть, и посмеивался над его «трусостью». Булгарин исполнял комиссии.

Он был искренне привязан к Грибоедову и даже готов был идти на какой-то риск, что вообще ему было не свойственно. Он любил по-своему и Рылеева, и Бестужева, и Петра Муханова, и Корниловича. Потеря их была ему чувствительна. Как коммерсант наполовину, он скорбел вдвойне: с ними его издания лишались первоклассных сотрудников.

Книжки его журналов запаздывали. Булгарин с Гречем работали в поте лица. С ними работал и Орест Сомов – единственный, кто остался из редакционного кружка «Полярной звезды». Сомов не имел никакого состояния и жил только литературным трудом. Целыми днями он читал корректуры, писал критики, переводил и еще умудрялся писать повести. При всем том сотрудников не хватало.

Булгарин взбешен, раздражен – и неустойчивостью своего положения, и уменьшением числа подписчиков, и журнальными неудачами. В июне он обрушивается на Греча, обвиняя его в коммерческой несостоятельности**8**. Греч проглатывает пилюлю: он зависит от Булгарина; лишь в письмах третьим лицам он замечает язвительно, что на соратника его напало «периодическое исступление, в котором он лает на всех и грызется со всеми». Греч исповедует теперь принцип: сиди тихо; он тихо сидит перед открытым окном своей дачи на Черной

речке и предается утешительным мечтаниям о будущем благоденствии России под эгидой доброго государя.

В этом смысле он пишет Федору Николаевичу Глинке, не скупясь на похвалы царскому семейству и прося у ссыльного новых стихов – на коронацию.

Письмо – демонстрация безграничной преданности престолу; так лучше – и для корреспондента, и для адресата.

В этих условиях лучше всего заключить всеобщий мир.

С 1827 года отзывы «Северной пчелы» о прежних противниках – Баратынском, тем более о Жуковском становятся все лояльнее и благосклоннее. Летом этого года Булгарин делает первые шаги к примирению с Николаем Полевым**9**.

С Дельвигом же и прямой борьбы у него не было, была интрига, конкуренция.

Булгарин дает в «Северные цветы» очерк – «Развалины Альмодаварские» из своих старых испанских впечатлений.

Одновременно в дельвиговский альманах приходит Орест Сомов.

Еще в июне отношения его с Дельвигом были прохладны: вероятно, сказывались следы прежних литературных распрей.

«…С Дельвигом я иногда видаюсь, но, не знаю почему, до сих пор мы не могли сблизиться», – писал он в одном из писем**10**. Стало быть, потепление отношений приходится на вторую половину 1826 года. Во всяком случае, в «Северных цветах» появилась его «малороссийская быль» «Юродивый» – небольшая повесть из быта и преданий Малороссии, его родины. Сомов был одним из зачинателей этой темы, которой предстояло достигнуть своей вершины в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Прежние «вкладчики» «Полярной звезды» шли в альманах Дельвига.

И что было особенно важно – они доставляли Дельвигу прозу: беллетризованный очерк, новеллу – то, в чем постоянно нуждались альманахи – все альманахи, исключая, быть может, «Полярную звезду». И Булгарин, и Сомов умели писать именно альманашную прозу – и в этом сказывались навыки профессиональных литераторов. Сомов был даровитым прозаиком, но все его замыслы большого романа остались незавершенными: он работал всю жизнь для журналов и альманахов, которые требовали малых прозаических форм.

И еще один человек из кружка «Полярной звезды» появился в «Северных цветах». Это был уже знакомый нам Василий Никифорович Григорьев. Восстание и все последовавшие события не коснулись его – во всяком случае, внешне; в поздних записках он с некоторой боязнью вспоминал о своей короткости с людьми, которые, как оказалось, замышляли произвести государственный переворот. Когда эшафот и каторга поглотили его старших покровителей и учителей, он сохранил связи с Булгариным и Сомовым – и Дельвигом. Он дал ему стихотворение «Бештау», навеянное впечатлениями от Грузии, где он побывал весною 1825 года; Кавказ теперь питал его творчество, и с Грузией же окажется связанной его биография ближайших лет**11**.

В «Северных цветах» собирались остатки рассеянного Вольного общества любителей российской словесности.

Председатель же общества, Федор Николаевич Глинка, испытавший арест, суд и высылку, сидел в это время в Петрозаводске советником Олонецкого губернского правления, и приказные хлопоты не заглушали в нем невыносимой тоски. Мир его рушился, и ему начинало казаться, что «любви и дружества уже не стало на земле». Оставались письма, стихи и воспоминания. Письма становятся для него беседой, визитами. Вместо живых людей он населяет свою комнату портретами: у него есть уже гравированный портрет Крылова; он просит таких же от Гнедича и от Греча. В этом иллюзорном мире нарисованных слов и нарисованных лиц он ведет свою иллюзорную жизнь – в стихах: он заново переживает тюрьму, суд, опровергает клеветников, спасается от доносчиков, жалуется и исповедуется.

Библейские пророки его псалмов уже не гремят обличениями, они томятся на чужбине, под снежными бурями Прионежья, они ждут, когда исполнятся сроки, их окружают «ловители», готовящие кандалы.

Эти стихи, столь личные, столь субъективные, попадая в печать, становились фактом общественным. В них отсвечивала судьба автора, принадлежавшая истории общества.

А в печать они проникали. По счастью, он не был осужден формально и ему дозволялось печататься. В ноябре 1826 года Греч письмом пригласил его к сотрудничеству в «Сыне отечества и Северном архиве». Обрадованный Глинка поспешил ответить согласием – но Греч замолк. Глинка ждал долго и тщетно, но никаких объяснений не последовало. Иллюзия рухнула – и это было для него особенно тягостно. Он считал, что над ним тяготеют три несчастия: бедность, политическое унижение и одиночество; сотрудничество в петербургском журнале было бы если не избавлением, то облегчением.

Связи с альманашниками не приносили денег, но скрашивали одиночество. Глинка всегда охотно откликался на просьбы, тем более сейчас. «Если увидите Дельвига и Плетнева, – пишет он Гнедичу, – поклонитесь то-же им. Барон что-то долго уж не пишет». Стало быть, Дельвиг писал уже Глинке-ссыльному – но письма эти не дошли до нас**12**.

В «Северных цветах на 1827 год» есть несколько произведений Глинки: два в прозе («Чудесная сопутница», «Осенние дни»), «аполог» из Гафиза «Нетленные глаза» и маленькое полушуточное «Приключение». Все эти вещи могли бы быть написаны еще до несчастий, постигших Глинку. Может быть, так оно и было: ссыльному не менее Греча нужно «сидеть тихо», не страдать и не жаловаться. Уместно ли публиковать в Петербурге тюремные стихи?

Глинка «сидит тихо» – до поры до времени.

В январе 1827 года в Главный цензурный комитет пересылается по заключению цензора П. И. Гаевского его стихотворение «Сон», предназначенное для «Северных цветов», где «поэт представляет мать свою явившеюся ему в сновидении и предсказывающею со слезами будущий бедственный жребий его». Стихи, по заключению министра, не подлежали напечатанию: «подписанное под стихотворением имя сочинителя, замешанного в происшествиях 1825 года», могло «подать повод к различным заключениям»**13**.

Глинка был последним из могикан «Вольного общества».

Оно вырастило плеяду поэтов и прозаиков, познакомило их между собою, создало печатные органы и в недрах своих зародило два альманаха. Потом оно распалось на кружки – и кружок Дельвига был теперь единственным оставшимся, к которому тянулись литературные силы.

В «Северных цветах на 1827 год» есть стихи, написанные начинающими поэтами. Одним из них был Валериан Павлович Шемиот, принесший в альманах одну переводную элегию из Парни. Он был в каком-то родстве с Пушкиным: во всяком случае Л. Н. Павлищев, сын Ольги Сергеевны, называет его двоюродным братом своей матери**14**.

Двадцатилетний Павел Шкляревский отдал в «Цветы» перевод «Der Tanz» Шиллера («Пляска»). Этот сын священника из Лубен был даровитым поэтом и подавал блестящие надежды как филолог. Он только что окончил петербургскую гимназию и поступил в университет; он знал несколько языков и питал особое пристрастие к немецкой поэзии и русским «архаистам»; шиллеровские дистихи выходили у него торжественными и важными, насыщенными славянскими речениями.

Его заметили А. Е. Измайлов и граф Хвостов, вероятно, почувствовавший в юном поэте интерес к классической традиции; когда Шкляревского в числе наиболее преуспевших студентов отправляли в 1828 году в Дерпт, в Профессорский институт, он писал тамошнему профессору, своему знакомому и тоже «классику», В. М. Перевощикову: «Я знаю, что вы очень озабочены приготовлением лекций для студентов разных наших университетов, кото-

рые назначаются после вашего в Дерпте курса отправиться в чужие края, в том числе будет некто Шкляревский, которого я знаю с очень хорошей стороны и при отъезде его не премину вам рекомендовать особливым письмом». И спустя некоторое время: «.снова прошу не оставить покровительством вашим студента Шкляревского». Перевощиков внял рекомендации и не пожалел об этом; 6 января 1829 года Хвостов вновь писал Перевощикову о своем протеже, посылая и для того, и для другого свою оду с надписью: «Очень доволен, что слышу от Вас о сем молодом питомце наук похвальные вести. Я всегда от него ожидал доброго поведения и прилежания к наукам, и теперь, имея Ваше о нем одобрение, остаюсь покоен.»

Шкляревский не появится больше на страницах «Северных цветов». Из Дерпта он не вернулся. Страшное нервное переутомление, простуда и начавшийся туберкулез свели его в могилу двадцати четырех лет**15**.

Люди неизвестные или почти неизвестные, без связей, без протекции в литературном мире. Они появляются на вечерах у графа Хвостова: меценат любит молодежь, а может быть, ищет популярности. Они приносят свои первые опыты Воейкову, которому нечем наполнять свои издания и который ищет сотрудников, не пренебрегая ничем и никем. «Новости литературы» не пережили 1826 года – но в следующем же году Воейков затевает «Славянин», другое журнальное приложение к «Русскому инвалиду». Как и ранее, он пишет жалобные письма и просит хоть что-нибудь на зубок новому журналу; он льстит и христарадничает, почти не скрывая иронической ужимки. Он печатает и Шкляревского – в том же 1827 году; а еще ранее, в старых «Новостях литературы», и двух других поэтов, имена которых появляются в «Северных цветах на 1827 год» – Ивана Балле и Александра Николаевича Глебова.

Первый из них – восторженный дилетант, некогда протеже Плетнева, еще в 1817 году ободрившего его письмом. Почти через пятнадцать лет он будет писать Плетневу, добиваясь помещения в «Современнике» какой-то своей статьи и называя Пушкина, Баратынского и Жуковского не иначе как по имени-отчеству – в знак особого благоговейного уважения и в то же время интимности**16**. Второй – литератор-полупрофессионал, какие стали появляться на рубеже 1830-х годов, сменив собою любителей – «аматеров» предшествующего десятилетия. Его описал В. Бурнашев, встречавший его у Воейкова в 1830-е годы: молодой поэт, в черной паре, в очках, «сам ярко-розовый, рыжеватенький, с узенькими бакенбардочками», застенчивый, как девушка, и хватающий за пуговицы знакомых во время разговора. Глебов был провинциалом, по-видимому, из Курска и приехал в столицу в 1824 или в 1825 году. Тогда же его впервые и заметил Воейков. В исходе октября 1826 года Глебов ездил со служебным поручением на север, в Олонецкую и Новгородскую губернии. С этого времени северные безотрадные пейзажи входят в его стихи; элегические мотивы изгнания и заточения придают им однообразно-унылый колорит, навлекший на него цензурные подозрения; наводили даже справки, не тот ли это Глебов, который выходил на Сенатскую площадь, и, узнав, что не тот, все же запретили стихи. Глебов не растерялся и вновь подал их – уже другому цензору и для другого издания, – и они прошли благополучно. В 1830 году история повторилась: запретили его послание «К брату», начинавшееся словами: «Ты прав, брат, сердце воли просит.», через два года Глебов напечатал и это послание в собственном альманахе.

Он участвовал почти во всех петербургских альманахах и повременных изданиях: у Воейкова, у Михаила Алексеевича Бестужева-Рюмина, издателя «Северного Меркурия» – мелкотравчатой газетки, где собирались литераторы «задней шеренги», но где всплывали и неизвестно откуда взявшиеся неизданные стихи Рылеева. Глебов переводил с французского, немецкого, писал очерки, повести, критические разборы. До нашего времени дошла его тетрадь, где между его собственными стихами были вписаны пушкинская «Вольность» («Ода на свободу») и послание В. Ф. Раевского «К друзьям» – знаменитые тюремные стихи «первого декабриста», тоже, кстати, курянина. Итак, и запрещенных стихов он не сторонился,

и, стало быть, не были совершенной случайностью ни его лавирование между цензурными рогатками, ни самые тюремные мотивы его лирики. Гражданская поэзия двадцатых годов успела наложить свой отпечаток и на «массовую литературу», типичным представителем которой был Александр Глебов.

В «Северных цветах» он напечатал два стихотворения – «Волшебный сад» и «Август месяц»**17**.

Альманах собирается, новые люди приходят в него, он выигрывает в разнообразии, но при этом теряет в единстве. В январе 1826 года в Москве вышла «Урания», изданная «Погодиным университетским». В ней были стихи Пушкина, добытые Вяземским, самого Вяземского, Баратынского, которого Погодин видел у И. И. Дмитриева и тут же выпросил несколько стихотворений, старшего поколения московских поэтов – Раича, Мерзлякова, Нечаева – стихи, предназначавшиеся для злополучной «Звездочки». Основной же круг участников составляли молодые поэты: Шевырев, Ф. И. Тютчев, Ознобишин; Михаил Александрович Максимович, подающий надежды ботаник и страстный любитель народной поэзии, уже начавший подбирать материалы для своего собрания малороссийских песен**18**. Сюда же попали и стихи А. Полежаева, посещавшего иногда Погодина, и товарища Полежаева по университету, Александра Гавриловича Ротчева, человека довольно типичного для тогдашней университетской богемы, переводчика Байрона и Шиллера, писавшего и антиправительственные стихи, за которые ему пришлось попасть потом под надзор жандармов**19**. У Ротчева уже был некоторый литературный опыт: он печатался и в «Московском телеграфе», и даже в воейковских «Новостях литературы».

«Уранию» ждал успех. В январе Баратынский прислал книжку Пушкину как не выдающееся, однако же отрадное явление на альманашном горизонте – и особенно обращал его внимание на стихотворение Шевырева «Я есмь» – талантливое, хотя и тронутое «трансцендентальной философией», к которой Баратынский присматривался не без настороженности. Он успел расположить Пушкина в пользу Шевырева; Пушкину также понравилось это стихотворение**20**. Вслед за тем альманах получил и Дельвиг.

Прислал книжку сам Погодин, и Дельвиг откликнулся вежливым письмом, где, впрочем, перепутал имя и отчество своего нового корреспондента. «Милостивый государь Михайло Алексеевич, – писал он, – Вы предупредили меня, но и я не совсем виноват. Уважая и любя вас за литературные труды ваши, я не знал ни вашего имени, ни места жительства». Он благодарил Погодина за «приятное товарищество» – «Урания», по его мнению, была единственным из альманахов 1826 года, достойным внимания, – и просил принять участие и в «Северных цветах»**21**.

Погодин счел за благо закрепить начавшиеся отношения, и прислал повесть «Русая коса». Этим своим опытом он был очень доволен, и она была ему дорога еще по особым причинам: прототипами были он сам и княжна Александра Ивановна Трубецкая, его ученица и предмет страстного поклонения. Естественно, что он не поставил своего имени, но взял значащий псевдоним «З-ий» («Знаменский»). Так называлось имение Трубецких, где писалась повесть и где Погодин вместе с молодыми княжнами издавал когда-то рукописный «Знаменский журнал» и был облечен званием «историка Знаменского»**22**.

Два поэта – участника «Урании» – приносят в альманах Дельвига ориентальные стихи. Один из них – Ознобишин, уже печатавшийся в прошлой книжке «Цветов»; он востоковед, полиглот, переводит с арабского и персидского; он дает Дельвигу «Фиалку», «подражание Ибн-Руми». Второй – Ротчев, явившийся со своим «Подражанием арабскому»:

Клянусь коня волнистой гривой
И брызгом искр его копыт,
Что голос бога справедливый

Над миром скоро прогремит!

Это – «Подражания корану», а еще более – подражание пушкинским «Подражаниям».

В ротчевских стихах звучала тема «страшного суда», как в третьем стихотворении пушкинского цикла. Именно эти пушкинские стихи с восхищением повторял Рылеев.

Ротчев был воспитан на поэтических инвективах декабристской лирики и на мятежных восточных стихах Байрона. Цензура колебалась, пропускать ли в печать цитированные нами строки. Пророческий пафос их не был случайностью; нам придется убедиться в этом, когда мы снова встретимся с Ротчевым на страницах «Северных цветов».

Ротчевские подражания должны были обратить на себя внимание Дельвига. «Сияющий Коран» Пушкина он прочел одним из первых и в первой же книжке своего альманаха напечатал четвертое стихотворение цикла. Начатая Пушкиным тема находила продолжателя.

Дельвиг печатает стихи Ротчева с забавной подписью-оговоркой: «Тютчев», которую тут же спешит исправить в «Северной пчеле»**23**.

Но мы вынуждены были забежать несколько вперед, чтобы закончить речь о московском альманахе.

Идет июль 1826 года.

В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления.

Откуда он узнал, что на рассвете 13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу – в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно.

Все же они дознались и пришли – и Путята, и будущий историк Шницлер, и чиновник Пржецлавский, и Греч, который стоял рядом с Дельвигом у кронверка, и еще человек двести глядели издали.

Дельвиг должен был выйти с Миллионной и перебраться через Неву по понтонному Исаакиевскому или по Троицкому мосту – но первый из них был уже разведен в полночь, а на втором стояла стража, перекрывая выход к крепости. Если Дельвиг шел пешком, а не воспользовался яликом, как это сделал Путята, стало быть, он отправился задолго до полуночи. Он добрался до самой площади, где сооружали помост для виселицы, и когда Путята явился туда – это было, вероятно, в исходе второго часа или даже позднее – он уже увидел его и Греча в числе безмолвных зрителей – обитателей окрестных домов, сбежавшихся на барабанный бой. Дельвиг ждал; сколько времени – неизвестно. Он видел, как ставили виселицу, как вывели арестантов, осужденных на каторгу, как читали им приговор и сжигали офицерские мундиры. Возвращаясь уже в арестантском платье, рассказывал Путята, осужденные «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе».

Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?

Судьба на вечную разлуку
Быть может, здесь сроднила нас.

Строки лицейской песни Дельвига всплывут в памяти Пущина еще через двенадцать лет.

А затем Дельвиг видел то же, что и Путята: как взвели на помост смертников, как три тела тяжело рухнули вниз, проламывая доски, и как совершилась вторичная казнь. И, может

быть, он слышал ропот – толпы ли, казнимых или казнящих? – ропот ужаса, сострадания или негодования**24**.

Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря. Мы знаем только одно: в конце июля он собирается вместе с женой покинуть Петербург и даже делает к тому какие-то шаги**25**. В июле – именно в июле 1826 года что-то гонит его из столицы. Это «что-то» – не внешние причины, а внутреннее чувство.

К лицейской годовщине 19 октября 1826 года он напишет стихи о двух друзьях, отторгнутых от своего круга, – о Кюхельбекере и о Пущине. С одним из них он успел проститься, хотя молча; с другим попрощается за него Пушкин, ровно через год, 12 октября, на случайной дорожной станции, затерянной под Псковом.

Выпьем, други, в память их,
Выпьем полные стаканы
За далеких, за родных,
Будем нынче вдвое пьяны.

Здесь – темы декабристских стихов Пушкина. И не только темы, даже слова. «Внятен им наш глас, Он проникнет твердый камень». «Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы Доходит мой свободный глас».

«Храните гордое терпенье» – парафраза «лицейской песни» Дельвига.

«Арион» будет напечатан в газете Дельвига – Пушкин напишет его в годовщину казни и ссылки – после первых встреч с Дельвигом в Петербурге**26**.

Итак, все же Дельвиг рассказывал о виденном – хотя бы Пушкину?

«Я уже засеял цветы и понемногу они подрастают, – писал Дельвиг Вяземскому в Ревель. – Не оставьте меня и нынешний год, нынче я решился издать без помощи Сленина»**27**.

Дельвиг спрашивал Вяземского, пишет ли он в Ревеле стихи. Без него, Пушкина и Баратынского альманах был немыслим.

Вяземский писал – но не стихи, а политические рассуждения. Известие о казни декабристов застало его в Ревеле. Гневные, «возмутительные» строки срываются с его пера. Он пишет о нелепости и жестокости доклада Следственной комиссии, о всеобщем ропоте, подготовившем возмущение, о долге совести, управлявшем действиями заговорщиков.

Среди этих строк в его записной книжке вдруг всплывают стихи – не свои, чужие. Это были стихи Батюшкова, «подражание Байрону», знаменитый потом перевод из «Чайльд Гарольда» «Есть наслаждение и в дикости лесов». Вяземский, видимо, только что получил его и спешил оставить для себя копию. Потом он вернулся к мысли, не дававшей ему покоя, – о пристрастности и несправедливости суда, о несоразмерности вины и наказания Михаила Пущина, Николая Тургенева.

В середине этого рассуждения поместились великолепные стихи Батюшкова – и какие-то темные связи стали вдруг возникать между ними и всем остальным, что их окружало: какое-то неосознанное пророчество слышалось в гениальных и оборванных, словно насильно, строках полубезумца:

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран;
Но море чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей…

Море, извечное воплощение свободы, неподвластное тирану – человеку… Байрон, недавно умерший певец моря… пушкинские стихи о море и Байроне – он был подобен тебе, создан твоим духом… и опять оборванные строки великого поэта, заживо поглощенного слепой, безжалостной и неотвратимой смертью – смертью сумасшествия. Батюшков писал стихи задолго до смерти Байрона, задолго до восстания и катастрофы – но как они ложились в сегодняшний день, в двадцатые числа июля 1826 года.

Вяземский берется за перо. Все, что творится вокруг него и в нем самом, есть предмет поэзии, глубокой и мрачной.

Он пишет элегию «Море». Здесь будет все – и прочитанный Батюшков, и свобода, и Байрон, и тиран, и друзья, ушедшие на каторгу, или унесенные морем, как Николай Тургенев. «Как стаи гордых лебедей На синем море волны блещут.» Уже в этом начале слышен Батюшков: «Но вот в тумане там, как стая лебедей Белеют корабли, несомые волнами.» («На развалинах замка в Швеции», 1814). Потом он прямо подхватывает мысль Байрона – Батюшкова: минутные развалины на прахе – дело рук человеческих; свободный океан смеется над тщетными усилиями:

На почве, смертным непослушной,
Нет мрачных знамений страстей,
Свирепых в злобе малодушной.

Земля – раба времени и людей, «владыки, веки и судьба» шутя властвуют ею, но море есть единый хранитель первоначальной чистоты человечества, единый источник поэзии, умолкающей при виде всего, что делается на земле.

31 июля Вяземский посылает Пушкину законченную элегию. Он делал так нередко; Пушкин – постоянный читатель и критик его стихов и прозы, предназначенных в печать. Но здесь есть и еще знак, умысел: певец «Моря» получает стихи о море, певец Байрона – байроническую элегию. Вяземский не оставлял, кажется, намерения вызвать у Пушкина поэтический отклик на смерть Байрона.

Пушкин отвечал 14 августа. Он понял все, что хотел сказать ему Вяземский – и возразил ему. Он не хотел более воспевать моря.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун – Земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

И далее вопрос: верно ли, что Николая Тургенева привезли морем из Англии? «Вот каково море наше хваленое!»**28**. Цепь ассоциаций продолжилась и замкнулась – молчаливым отказом на невысказанное предложение.

Не пройдет и года, как следы этого диалога обнаружатся в «Северных цветах».

Но сейчас не поэзия занимает Пушкина.

Он пишет Вяземскому, что еще надеется на коронацию: «повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» – и отказывается посылать царю прочувствованное письмо: рука не поднимается.

Вяземский и на коронацию не надеется и специально уезжает из Москвы, чтобы не присутствовать на торжестве под тенью веревки.

А 3 сентября за Пушкиным приезжает по высочайшему повелению нарочный фельдъегерь.

Мы знаем – и не знаем – что произошло дальше. Покрытый дорожной пылью, не успевший прийти в себя после четырхдневного тяжкого пути, Пушкин предстает перед новым императором. Разговор с глазу на глаз в течение часа или двух – и вот уже новый царь представляет почтительным придворным «нового» Пушкина – прощенного Пушкина, «своего» Пушкина, – и обещает сам быть его цензором.

«Фасадной империи» нужны были театральные сцены. История царствования требовала исторических эпизодов и исторических слов.

Подлинная история была обыденнее, страшнее и глубже. Она включала молчаливые драмы в затерянном в псковской глуши михайловском домике, рисунки отяжелевших трупов на перекладине, оборванную запись «и я бы мог…». Она хранила в своих недрах признание Пушкина царю, что он был бы «с ними», и глухие слухи о каких-то стихах против правительства, которые Пушкин привез с собою в Москву. И вместе с тем: «каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости»**29**. Это была совершенно официальная декларация Пушкина, провозглашенная еще 7 марта в письме к Жуковскому. Формула вынужденного смирения, которая оставалась неизбежной и сейчас, но теперь, после разговора с царем, приобретала новые черты. «Необходимость» была не просто условием самосохранения; за этим словом стоял некий исторический закон, в силу которого победило правительство. Он был жесток, но его нельзя было ни изменить, ни отвергнуть.

Правительство предложило Пушкину договор – и поэт его принял. Ему предстояло теперь жить и действовать в новых условиях – и на новых условиях. Но он не собирался «сидеть тихо», как Греч.

Что он собирался делать – покажет будущее. Пока же он пользуется первыми днями свободы после шестилетнего изгнания.

Из Чудова дворца Пушкин поехал к дядюшке Василию Львовичу, а потом в трактир «Европа» на Тверской, где и остановился.

Ему предстояло теперь входить в московские литературные круги, которые он знал лишь заочно. Вяземский еще не вернулся, и Пушкин поспешил к княгине Вере Федоровне рассказать о новом своем положении. Только вечный Соболевский был на месте из старых знакомых, и он сразу же с готовностью взял Пушкина под свою опеку. Этот бесцеремонный всеобщий приятель умел быть удивительно тактичным и выжидал, пока Пушкин сам скажет, с кем он хотел бы познакомиться. Пушкин назвал Веневитинова.

Веневитинов приходился ему четвероюродным братом, и Пушкин знал его, кажется, еще маленьким мальчиком. Сейчас это был юноша двадцати одного года, одаренный необыкновенно: поэт, музыкант, художник и критик, написавший разбор «Онегина»; Пушкин читал его статью еще в Тригорском и обратил на нее особенное внимание.

Пушкин приглашал Веневитинова слушать привезенного «Бориса Годунова» – к Соболевскому, в дом Ринкевича на Собачьей площадке. Приехали М. Ю. Виельгорский, Чаадаев; Соболевский вспоминал потом, кто был еще, – и называл без полной уверенности Шевырева и Ивана Киреевского**30**.

Вспомнить первых слушателей было нелегко, так как чтения шли одно за другим: у Соболевского, у Веневитиновых. Собрания становились все многолюднее: являются Баратынский, Погодин, завсегдатаи салона Зинаиды Волконской, прежние члены кружка Раича. Пушкин читает и Блудову и Дмитриеву.

Имя Пушкина не сходит с уст. В театре оборачиваются при его появлении.

На бале у Веневитиновых ему представляют Шевырева. Пушкин помнил его стихи в «Урании» – и прочел несколько строк наизусть. Шевырев был счастлив.

У Веневитинова он встречается с Погодиным. «Мы с вами давно знакомы. и мне очень приятно утвердить и укрепить наше знакомство нынче». Погодин смотрит во все глаза на «превертлявого» гения.

Кружок «любомудров» постепенно собирается вокруг Пушкина. Это были первые подлинные ценители его творчества, которых он увидел по своем возвращении. Ему нравились эти молодые люди – полные юношеского энтузиазма, знатоки поэзии, музыки и пластических искусств, эстетики, ученые и философы. Он был готов даже, кажется, сделаться их главой.

Еще в Михайловском он охладел к «Московскому телеграфу»: его раздражала поверхностность и опрометчивость журнала Полевого. Он досадовал, что Вяземский связывал с ним свою литературную судьбу: ему нужен был кружок «своих».

В первые же дни Веневитинов рассказал ему о новых замыслах. За «Уранией» должен был последовать «Гермес» – сборник переводов из классических писателей: Гете, Шиллера и древних: Геродота, Фукидида, Ксенофонта.

К этому плану Пушкин отнесся холодно.

«Альманах не надо издавать, – тогда же он сказал Веневитинову, – пусть Погодин издает в последний раз, а после станем издавать журнал».

Идея была соблазнительной, но от альманаха «любомудрам» отказаться не хотелось. 20 сентября, собравшись на совещание, они взапуски настаивали на издании «Гермеса».

Пушкин оставался равнодушен и говорил только о журнале. У Веневитинова и В. П. Титова стали появляться сомнения: не отнимет ли альманах у будущего журнала лучшие материалы**31**.

И здесь нам необходимо сделать небольшое отступление, чтобы уяснить себе сущность спора.

Еще в южной ссылке, в 1824 году, Пушкин думал о своем журнале. Эта мысль возникала не у него одного: ее вынашивал и Вяземский, и тогда же они стали обсуждать ее в письмах. Журнал соединял разрозненные литературные силы, он влиял на общественное мнение, и пушкинский кружок обретал голос. Здесь были согласны все – но самое осуществление замысла казалось нереальным: «Мы все прокляты и рассеяны по лицу земли – между нами сношения затруднительны, нет единодушия», – писал Вяземскому Пушкин**32**. Это было действительно так – и все же Вяземский не оставлял любимой идеи, которая владела им еще с арзамасских времен. Он пишет Бестужеву в конце 1825 года: «.Мне сказали было, что вы свой альманах обращаете в журнал, и я порадовался. Кто о чем, а я все брежу о хорошем журнале»**33**. Это было писано 18 ноября, а 30 ноября Пушкин предлагает Бестужеву поговорить с Вяземским о журнале: «он сам чувствует в нем необходимость – а дело было бы чудно-хорошо». В это время Вяземский – уже участник «Московского телеграфа», и Пушкин готов поддерживать новый журнал, которым, впрочем, не вполне удовлетворен. «Телеграф человек порядочный и честный, но враль и невежда». А в первой половине февраля 1826 года он пишет Катенину, сообщившему ему о замысле какого-то нового альманаха: «. знаешь ли что? Вместо альманаха не затеять ли нам журнала в роде Edinburgh Review? Голос истинной критики необходим у нас…». И, наконец, к Вяземскому из Пскова 27 мая:

«Пора бы нам отослать и Булгарина, и Благонамеренного, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей богу, когда-нибудь примусь за журнал. Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. А для журнала – он находка».

В сентябре – октябре 1826 года долгожданный замысел начинал становиться реальностью. И теперь самое слово «альманах» вызывало в Пушкине глухое раздражение.

Он писал Языкову 21 декабря: «Рады ли вы журналу? пора задушить альманахи – Дельвиг наш»**34**.

Любопытен здесь самый ход мысли: «задушить альманахи» и тут же: «Дельвиг наш». Смертный приговор подписан и «Северным цветам», издателю же его уготовлено место в новом журнале, «своем» журнале, где соединятся, наконец, «порядочные люди», которые должны работать «вместе», а не «в одиночку».

Альманахи между тем продолжали существовать. В Москве Раич и Ознобишин готовили «Северную лиру». Альманах вышел к началу 1827 года. Он был хорош: в нем приняли участие Баратынский, Вяземский, ученики Раича, как молодой Тютчев, в конце 1825 года уехавший за границу, Андрей Николаевич Муравьев, Ознобишин; дал стихи одесский знакомец Пушкина Туманский; наконец, единым строем выступил весь кружок «любомудров», уже отделившийся от раичева сообщества, – Веневитинов, Погодин, В. Одоевский, Шевырев, Титов. Больше всего произведений, однако, напечатали здесь сами издатели – Раич и Ознобишин. Они выступали и за полной подписью, и за инициалом, и вовсе анонимно**35**.

Пушкин стал набрасывать рецензию для «Московского вестника». «Альманахи сделались представителями нашей словесности. По ним со временем станут судить о ее движении и успехах.»

Он похвалил Туманского, Баратынского, Вяземского, Андрея Муравьева. Затем шли иронические замечания. Убийственные насмешки достались на долю Раича.

Рецензия осталась ненапечатанной, – быть может, потому, что Вяземский в «Московском телеграфе» успел сказать многое из того, что намеревался говорить Пушкин**36**.

Пушкин ничего не имел собственно против «Северной лиры», но его не удовлетворяло, что альманахи сделались представителями нашей словесности.

Когда в 1827 году Погодин вознамерится продолжить «Уранию», Пушкин напишет ему взволнованное и негодующее письмо. «Вы, издатель европейского журнала в азиатской Москве, Вы, честный литератор между лавочниками литературы, Вы!.. Нет, вы не захотите марать себе рук альманашной грязью»**37**.

Альманах – дело коммерческое; журнал – дело литературное.

Дельвиг узнал об освобождении Пушкина одним из первых в Петербурге и ездил вместе с Левушкой оповещать общих знакомых.

Он рассказал о счастливой новости Козлову, Гнедичу, Анне Николаевне Вульф, Сленину и поспешил обрадовать письмом Прасковью Александровну Осипову. Обо всем этом он сообщил Пушкину, умоляя его не молчать и написать сейчас же родителям.

Среди всего этого радостного возбуждения он должен был, однако, помнить и о делах. Пушкин был в Москве, и Дельвиг просил его подумать о «Цветах» вместе с Вяземским и Баратынским**38**. Он рассчитывал, что друзья «навербуют» ему «хорошеньких пьесок», своих и чужих, и может быть даже получат страничку из «журнала» И. И. Дмитриева – его мемуаров, которые он изредка читал посетителям, но в печать не отдавал.

Дельвиг просил у Пушкина «стихи к Анне Петровне». Это был прощальный подарок Пушкина Керн – «Я помню чудное мгновенье…», вложенный в экземпляр первой главы «Онегина» в тот памятный день, когда они прощались в Михайловском июльским утром 1825 года**39**. Анна Петровна уже переехала в Петербург и жила вместе с отцом и сестрой; она постоянно бывала у Пушкиных, познакомилась с Дельвигом, и дружеская их приязнь крепла день ото дня. Она не удержалась, чтобы не показать Дельвигу стихи, и он теперь писал о них Пушкину.

Пушкин соглашается – а тем временем думает о «своем» журнале. Послание к Керн не годилось в журнал, – во всяком случае, в первый номер. Место ему было в дружеском приюте дельвиговского альманаха.

На зубок новорожденному «Московскому вестнику» Пушкин даст то, чего не будет ни у кого другого: отрывок из ожидаемого всеми «Бориса Годунова».

Юноши-«любомудры» слушают его в оцепенении, со слезами на глазах и блуждающей улыбкой. Им, и только им, расскажет он об утраченной сцене с Мариной Мнишек, прочтет песни о Стеньке Разине и неизвестное еще никому новое предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У лукоморья дуб зеленый.»**40**.

Дельвигу же он отдает вещь старую, хотя и первоклассную: ту самую сцену из «Онегина» – разговор с няней, – которую он когда-то через Льва продал Бестужеву по пять рублей за строку. Издатели «Полярной звезды» успели набрать ее для «Звездочки», теперь лежавшей как ненужный хлам в кладовой Генерального штаба. К этой сцене он присоединяет письмо Татьяны, которое тогда не отдал Бестужеву. Дельвиг не будет обижен.

Но Пушкин не забудет и о том, что он получил «золото за золотые стихи» и, стало быть, обязан его вернуть. Он поручит Плетневу отыскать вдову Рылеева – Наталью Михайловну – и возвратить ей долг: пять рублей за строку, шестьсот рублей[41].

И еще третье стихотворение он подарит Дельвигу – «Роняет лес багряный свой убор», «19 октября», свой шедевр, написанный к лицейской годовщине 1825 года.

Воспоминания о Лицее должны принадлежать лицейским.

Когда писались эти стихи, он был в заточении, и лицейская дружба поддерживала его.

Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный…

Теперь все изменилось: Пущин, Кюхельбекер в узах, он на свободе. Он оказался пророком – но не до конца. «Промчится год – и с вами снова я». В октябре двадцать шестого года он мог бы быть с Дельвигом, но двоих, воспетых им, не было на лицейском пиру. О них писал Дельвиг в своей «годовщине»: «за далеких, за родных.»

Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет…

Стихи наполнялись новым смыслом. Они читались иначе, чем годом ранее. Отдавая их Дельвигу для печати, Пушкин не мог этого не знать.

И сам Дельвиг это знал как никто другой. Ведь он тоже поместил в альманахе старые стихи – «на приезд трех друзей», стихи о Кюхельбекере, о горькой разлуке и радости встречи.

Верьте: внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень.

Строчки из ненапечатанных дельвиговских стихов к 19 октября 1826 года становились девизом, лейтмотивом, паролем «союза поэтов» в глухие и темные времена. Буквально то же самое скажет Пушкин в послании в Сибирь, а пока напечатает у Дельвига апофеоз дружбы, услаждающей изгнание. И Кюхельбекер, и Пущин прочтут его.

Здесь не нужно ни объяснений, ни уговоров: все ясно без слов.

«За 19-е октября благодарю тебя с лицейскими скотами братцами вместе», – писал ему Дельвиг в январе 1827 года**42**.

В «Северных цветах» зарождалась поэтическая тема, которая в ближайшие годы выльется в цикл «декабристских» стихов Пушкина.

Дельвиг просил Пушкина напомнить о «Северных цветах» Вяземскому и Баратынскому.

Он почти потерял с ними связь. Баратынский не писал ему со времени своей женитьбы. Он нашел, казалось, приют в мирном и спокойном семейном убежище, и друзья не в шутку опасались, что сонная Москва уже засасывает его.

Первое время по приезде Пушкина они виделись часто, и взаимное тяготение их вспыхнуло с новой силой. Они появлялись вместе, и восхищенные москвичи уступали им дорогу, поясняя шепотом, что высокий блондин – Баратынский, а курчавый брюнет – Пушкин. Их видели в салоне Зинаиды Волконской, в Благородном собрании; в доме Баратынского Пушкин читал «Бориса Годунова». Но тесная связь продержалась недолго: новый пушкинский круг был Баратынскому чужд, и взаимная холодность все более давала себя знать. «Любомудры» не любили его поэзии и встречали его самого с принужденной церемонностью. Он лучше чувствовал себя в доме Николая Полевого, у которого, случалось, проводил целые дни**43**.

Зато с Вяземским Баратынский сближался все больше и больше. Еще в мае Вяземский писал Пушкину с одушевлением, что в новом знакомце его «основа плотная и прекрасная» и что «чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет»**44**. Этот энтузиазм не прошел у Вяземского и несколько месяцев спустя, когда Баратынский стал бывать у него запросто и вошел как свой человек в дружеский круг Вяземского: в дом Дениса Давыдова, еще прежде ему знакомого, к Ивану Ивановичу Дмитриеву, к которому, впрочем, относился с легкой, снисходительной иронией. Вяземский, конечно, привлекал его и в «Телеграф» – но постоянным сотрудником журнала Баратынский не сделался. Впрочем, он напечатал здесь несколько стихотворений, и в том числе две эпиграммы на Булгарина, своего давнего неприятеля, общего с Вяземским.

Круг литературных друзей должен был сомкнуться – но он не смыкался. «Мы все разбросаны», – писал Вяземский Тургеневу в июле 1826 года, совершенно так же, как Пушкин Вяземскому несколькими годами ранее, – «держимся только одною внутреннею верою, темными преданиями и каким-то чужестранством, чужеязычием в толпе, которая нас только что терпит…»**45** Да и как было объединяться в 1826 году?

Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно <…> Может быть, не Погодин, а я – буду хозяин нового журнала. Тогда, как ты хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в гузно»**46**.

Вяземский отмалчивался, и Пушкин сожалел, что он остается «тверд и верен Телеграфу». Но он преувеличивал эту твердость. Вяземский соблюдал свои обязательства перед Полевым – и иначе поступать не мог, хотя легкие трения с издателем «Телеграфа» уже возникали у него в 1826 году, и он колебался**47**. В конце этого года он думал вместе с Баратынским об издании своего журнала, отличного и от «Московского вестника», и от «Московского телеграфа». Ни он, ни Баратынский не могли стать официально его издателями: подобно Пушкину, они были на подозрении у правительства и не получили бы разрешения. Они искали издателя нейтрального и благонамеренного – и нашли его в В. В. Измайлове.

Владимир Васильевич Измайлов принадлежал уходящему литературному поколению. В 1810-е годы имя его было хорошо известно; среди последователей Карамзина он был одним из самых примечательных, пока на сцену не выступил «Арзамас». Он писал стихи и «сентиментальные путешествия», знал хорошо французский, немецкий и даже английский язык, что было в те годы редкостью, и понимал по-латыни. Руссо был его кумиром, и в самой домашней жизни он старался следовать «Эмилю», что налагало на него некоторый отпечаток странности и, кажется, повредило его благополучию. В 1814 году он был издателем «Вестника Европы» – и приютил в нем стихи петербургских лицеистов, среди которых были Дельвиг и Пушкин; и в следующем же году дал им место в своем «Российском музеуме». Еще в 1818 году, когда начались споры об «Истории» Карамзина, он выступал в защиту учителя. В 1820 году он издал собрание своих сочинений и переводов – и тихо сошел со

сцены; для него наступила приватная жизнь, старость и бедность. Ксенофонту Полевому он казался в конце 1820-х годов дряхлой развалиной: пришепетывающий старичок с отвисшей губой, старомодно сентиментальный, но всегда с долей высокомерия; впрочем, и Полевой не отказывал Измайлову в «честности и благонамеренности»**48**.

Их был целый кружок, этих московских стариков, карамзинистов, доживавших литературный век. Они собирались у Дмитриева, у В. Л. Пушкина на вечера полулитературные, полудомашние; их связывали общие воспоминания, давнее знакомство или даже родство: В. В. Измайлов, постоянный и любимый собеседник Дмитриева, был в свойстве с Пушкиными. Они писали друг другу послания о домашних делах и стихотворные приглашения на обед. В этом кружке было и старшее поколение – князь П. И. Шаликов, Измайлов, и младшее, около сорока лет: М. Н. Макаров, Н. Д. Иванчин-Писарев, братья Глебовы, Александр и Дмитрий Петровичи. Они следили за литературными новинками: Дмитрий Глебов даже переводил Байрона, толкуя его в сентиментально-элегическом духе; Вяземского это раздражало, и он печатно советовал Глебову «не браться за Байрона»**49**. Они судили о литературе иной раз не без проницательности – но время ставило их вне литературных партий.

Именно поэтому Вяземский собирался издавать журнал вместе с В. В. Измайловым; самый выбор этого имени становился для него символическим. «Литератор честный, добросовестный и чистый», пусть заурядный, но ничем не запятнавший себя в век коммерческой словесности, он, казалось, мог бы возродить времена благородных литературных соревнований.

План был чистой иллюзией; журнал, конечно, не состоялся**50**.

Измайлов издал альманах. Он собрал книжку за несколько месяцев, обратившись с просьбами к Пушкину, Баратынскому, к Оресту Сомову и Федору Глинке**51**. Все приглашенные откликнулись: век нынешний демонстрировал свое уважение веку минувшему. Книжка называлась «Литературный музеум» – и в самом деле стала таковым: запоздалый московский карамзинизм вспыхнул в ней едва ли не в последний раз. Николай Иванчин-Писарев поместил в ней «Речь в память историографу Российской империи» – цветок на могилу Карамзина, не слишком яркий, но пока чуть что не единственный. Был здесь и отрывок из письма самого Карамзина, и стихи Дмитриева, обращенные к Измайлову и посвященные памяти умершего друга. В. Л. Пушкин был одним из усердных вкладчиков, дал стихи и Дмитрий Глебов, и другие.

Пожалуй, менее прочих помогли Измайлову Вяземский и Баратынский.

Ни у Баратынского, ни у Вяземского не было свободных стихов: запасы их истощились – и от того пострадал Измайлов и «Северные цветы».

Вяземский прислал Дельвигу только одно стихотворение – «Нетленный цветок» – и несколько «выдержек из записной книжки»; Измайлову он тоже дал одно стихотворение и «выдержки».

От Баратынского Дельвиг получил перевод из Вольтера «Телема и Макар», «Песню» («Когда взойдет денница золотая») и маленькую эпиграмму («И ты поэт, и он поэт»). С двумя другими стихотворениями произошло недоразумение: они оказались напечатанными дважды и почти в одно и то же время.

Одно из этих стихотворений – посвящение А. А. Воейковой («Очарованье красоты…») Баратынский подарил В. В. Измайлову. Он чувствовал себя обязанным откликнуться на просьбу старого литератора, который просил у него отрывок из новой поэмы «Бал». «Бала» Баратынский дать не мог: поэма была не окончена и не отделана. Он предложил другое – стихи к А. Ф. Закревской: «Как много ты в немного дней…», но боялся, что их не пропустит цензура, как однажды уже случилось**52**. По-видимому, так и произошло: стихи эти в альманахе не появились, и, может быть, тогда же Баратынский заменил их стихами к Воейковой,

забыв, что уже отдал их Дельвигу. Так это было или не так – но одно и то же стихотворение появилось в двух альманахах. И то же самое произошло с «Наядой», только что сделанным переводом из Шенье, который Вяземский сообщал А. Тургеневу и Жуковскому 6 января 1827 года**53**. Он вышел в «Северных цветах» и в «Северной лире».

Зато четвертое стихотворение Баратынского было приобретением важным. Это было послание «Богдановичу», в новой, переработанной редакции.

Эти самые стихи, как мы помним, читал Баратынский у А. И. Тургенева в июне 1824 года, когда шли споры о Жуковском и начиналась борьба с «коммерческой словесностью».

Сейчас споры были позади, а тема «железного века» для Баратынского не только не утеряла остроты, но занимала его все более.

Дельвиг, не вполне удовлетворенный в свое время посланием «К Богдановичу», печатает его – на расстоянии двух сотен страниц от сочинения Булгарина.

Сатирик и объект сатиры пока уживаются под одним переплетом. И Булгарин не примет послания Баратынского на свой счет.

Главные бои еще впереди – но начало уже положено.

В самом конце октября или начале ноября Дмитрий Веневитинов уехал на службу в Петербург.

Столица готовила ему сюрприз: сразу же по приезде он был вытребован в III отделение. Его держали двое или трое суток и допрашивали, выясняя, не связан ли он со злоумышленными обществами. Он отвечал резко. Недоразумение разъяснилось, но происшествие потрясло его.

В Петербурге его ждали старые знакомые из «любомудров» – Владимир Одоевский, А. И. Кошелев. Москвичи держались друг друга и постоянно виделись – чаще всего у Одоевских.

В первые же недели Веневитинов отправляется с визитом к Дельвигам – но не застает. Дельвиг наносит ответный визит – и тоже неудачно. Зато, встретившись, они сходятся необыкновенно быстро: за два месяца. Веневитинов теперь проводит у Дельвига целые вечера. «Мы с ним дружны, как сыны одной поэзии», – пишет он в Москву.

Его ласкают все члены дельвиговского семейства: Софья Михайловна, двоюродный брат Дельвига Андрей Иванович, тогда тринадцатилетний мальчик, Анна Петровна Керн, тоже почти член семьи, которую для краткости Дельвиг именовал «женой № 2». С Анной Петровной у Веневитинова установилась та «amitié amoureuse», которая могла бы перерасти в чувство, если бы не его платоническая и безнадежная страсть к оставшейся в Москве Зинаиде Волконской. Над романтическим влечением его к «молодым и умным дамам» у Дельвигов слегка подтрунивали.

Все это время он не оставляет мыслей о журнале. Он договаривается об участии с Дельвигом и Козловым. Он полон решимости «не щадить Булгарина и Воейкова», не требует от сотрудников гибкости и дипломатии: не нужно торопиться с полемикой, умный журнал сам себя поддержит, «главное отнять у Булгариных их влияние».

Это был пушкинский план. Литературная трибуна, объединение сил. Борьба с Булгариным еще не началась: в начале января 1827 года Веневитинов обедает вместе с ним и Гречем. Встречи, однако, только усиливают в нем неприязнь**54**.

«Московский вестник» ждет помощи от Дельвига – но и Дельвигу нужно сотрудничество «любомудров».

В «Северных цветах на 1827 год» появляются стихи Веневитинова – «Песнь грека» и «Три розы».

В декабре 1826 года Дельвиг снова заболел. Он не выходил две недели и только под новый год почувствовал себя лучше, но не надолго. В январе он снова слег, и на этот раз лихорадка была так сильна, что Софья Михайловна перепугалась не на шутку**55**.

«Северные цветы» были уже почти отпечатаны. То, что получал Дельвиг в январе, уже не попадало в книжку и оставлялось для следующего выпуска.

В начале января забеспокоился долго молчавший Языков. Он просил брата взять у В. М. Княжевича несколько стихотворений, посланных ранее, в том числе послание к А. А. Воейковой, и отдать их Дельвигу**56**. Стихи эти к Дельвигу, однако, не попали – и, может быть, из-за Воейкова, который усиленно требовал от Языкова стихов для «Славянина»; то же, что было посвящено Александре Андреевне, принадлежало ему по праву. В «Славянине» эти стихи и появились. Зато в руках Дельвига оказалось «Тригорское» – правда, на короткий срок. «Тригорское», поэтическое воспоминание о Пушкине и Осиповых, было получено Пушкиным в Москве в начале ноября, и поэт тогда же завладел им, чтобы напечатать в «Московском вестнике». Он сообщил об этом Языкову 21 декабря**57**, в том самом письме, где делился с ним своей радостью по поводу грядущего уничтожения альманахов. Нужно сказать, что Языков не разделял этого энтузиазма к журналу, который вообще считал «делом непоэтическим»**58**. Альманахи, по его мнению, были более извинительны. Как бы то ни было, «Тригорское» в январе было в руках у Дельвига.

Мы знаем об этом потому, что 21 января 1827 года цензор П. И. Гаевский препроводил в цензурный комитет несколько стихотворений для «Северных цветов», вызвавших у него сомнения и потому представленных на усмотрение министра. Это были «Кинжал» Веневитинова, «Море» Вяземского, «Сон» Глинки и «Тригорское» «Н. Я….ва».

«Кинжал» был запрещен: в нем был изображен человек на грани самоубийства, произносящий к тому же «совершенно ложные мысли об аде». О «Сне» Глинки у нас уже шла речь: его держали месяц и также запретили 27 февраля по резолюции министра.

«Море» и «Тригорское» разрешили с какими-то «переменами»**59**.

Из этих стихов только «Море» появится в следующей книжке «Цветов». «Тригорское» выйдет в «Московском вестнике» к некоторому неудовольствию Языкова. «Ей-богу, не знаю, что мне делать с Дельвигом, – писал он брату, – у меня теперь ровно ничего нет по части стихов моих нового. Напишу эпистолу к Свербееву, но она, вероятно, поспеет уже после выхода в свет Сев<ерных> Цв<етов>, долженствующих явиться в текущем месяце»**60**.

Но «Северные цветы» не явились ни в феврале, ни даже в марте – и причиной тому были стихи Пушкина.

С тех пор, как император взял на себя функции пушкинского цензора, к нему следовало отправлять все, написанное Пушкиным, до последней строчки. Осенью 1826 года Пушкин не вполне ясно представлял себе свое новое положение и готов был находить в нем даже некоторые для себя привилегии. Он спокойно читал в Москве «Бориса Годунова» и раздавал стихи в альманахи и будущий «Московский вестник», когда в конце ноября получил от Бенкендорфа холодное и строгое напоминание о неуклонном исполнении высочайшего приказа. Его следовало понимать буквально: без санкции августейшего цензора не могло быть и речи не только о напечатании, но даже о чтении новых произведений.

Вследствие этого распоряжения Пушкин должен был остановить в цензуре все, что им было отдано в печать, в том числе и стихи, посланные Дельвигу**61**.

Дельвиг должен был везти их Бенкендорфу, но болезнь удерживала его дома, и только 23 февраля он отправил шефу жандармов пакет – отрывки из «Онегина», «19 октября», послание к Керн и «Цыган» – для отдельного издания. Он извинялся, что не мог доставить их лично и передавал «убедительнейшую просьбу» Пушкина рассмотреть их скорее. Бен-

кендорф ответил 4 марта, выразив свое крайнее удивление посредничеством Дельвига. К нему обращались в обход всех правил субординации, почти как к частному лицу. Дельвига же он «вовсе не имел чести знать» и сделал новый выговор, уже обоим сочинителям. Самые же стихи он разрешил, – уведомляя при том, что представлял оные государю императору.

«Позвольте мне одно только примечание, – так заключал он свое письмо к Пушкину. – Заглавные буквы друзей в пиесе *19 октября* не могут ли подать повода к неблагоприятным для вас собственно заключениям? – это предоставляю вашему рассуждению»**62**.

Письмо Бенкендорфа было отправлено не в Москву, а в Псков, и не сразу нашло Пушкина, а тем временем Дельвиг представил стихи в обычную цензуру.

Здесь начинался парадокс. Пушкин, казалось, был освобожден от цензуры министерства народного просвещения, но издатель альманаха должен был следовать установленному порядку. Александра Сергеевича Пушкина цензуровал государь император; автора стихов в альманахе сочинителя Пушкина – цензор альманаха, назначенный Петербургским цензурным комитетом. Привилегией Пушкина было цензуроваться дважды.

Дельвиг передал стихи цензору альманаха П. И. Гаевскому, который затруднился их пропустить. Он указывал, что поэт «употребляет некоторые выражения, которые напоминают об известных обстоятельствах его жизни», как-то

Поэта дом опальный,
О П – мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный…

И далее, в том же духе: «Когда постиг меня судьбины гнев», «опальный затворник», «в глуши, во мраке заточенья»…

Дело было не только в «заглавных буквах друзей», как выражался Бенкендорф.

12 марта Главный цензурный комитет отправил эти стихи на усмотрение министра народного просвещения.

18 марта министр разрешил их: они прошли высочайшую цензуру, и ответственность с него и с цензоров, таким образом, снималась**63**.

22 марта Пушкин получил, наконец, письмо Бенкендорфа и уверил шефа жандармов, что немедля напишет Дельвигу об исключении заглавных букв имен – и вообще всего, что может подать повод к «невыгодным»**64** для него заключениям.

Он успел сделать это в самый последний момент: альманах уже переплетался и 25–28 марта вышел в свет. Инициалы друзей были убраны. Самые же стихи Пушкина заключали книжку: их набирали последними. Дельвиг мог бы пожертвовать чем угодно – только не ими.

Глава IV
ПУШКИНСКИЙ АЛЬМАНАХ

К марту 1827 года выяснилось, что журнальные отношения Пушкина вовсе не безоблачны.

Издатели «Московского вестника» были, конечно, людьми порядочными, учеными и способными, – даже талантливыми, но для журнала всего этого было недостаточно. «Московский вестник» был глубокомыслен и сух.

Презирая «коммерческую журналистику», издатели в то же время ревниво следили, как раскупается журнал, потому что состояние редакционной кассы их не могло не волновать. У них начались денежные осложнения – и прежде всего с Пушкиным.

Пушкин не хотел «работать исключительно журналу» и не хотел входить в пай – он рассматривал себя как сотрудника, а не соиздателя.

Отсюда происходили трения и взаимные неудовольствия; на них накладывались трения и неудовольствия среди самих издателей но венцом всего являлось растущее сознание, что для разногласий есть и более глубокие причины. В самых основах своего литературного воспитания, связей и взглядов Пушкин и «любомудры» оказывались различны и кое в чем даже враждебны.

Воспитанные на Шеллинге, на немецких историках и философах-романтиках, они склонны были видеть где-то в глубинах пушкинской личности человека чуждого им восемнадцатого века, с его «классическими», «французскими» предрассудками; в гармонической его поэзии, которой они так безотчетно восхищались поначалу, они усматривали недостаточную «философичность». Слишком легко, слишком изящно, а потому неглубоко. Они предпочли бы более сложный, трудный и дисгармоничный язык метафизической поэзии. Их раздражал вольтерьянский скептицизм Пушкина к религии и философии.

Они избегают споров, но в глубине души уверены, что он говорит «нелепость».

Они, конечно, отдают Пушкину должное, они принимают его – но выборочно. Но ведь Пушкин и читает им выборочно – историко-философского «Бориса Годунова», фольклорные «Песни о Стеньке Разине»…

Пушкин тоже отдает им должное, сознавая при этом, что за определенными пределами взаимное понимание оканчивается. Тогда он начинает цитировать для себя знаменитую басню Хемницера о школяре, начитавшемся метафизических бредней: школяр сидит в яме и отказывается от спасительной веревки, покуда не получил для нее философских дефиниций.

«Моск. <овский> Вестн.<ик> сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?»**1**.

И – что для нас очень важно – издателям «Московского вестника» органически чужд весь пушкинский круг 1820-х годов. Они холодно относятся к поэзии Дельвига и откровенно не приемлют Вяземского и Баратынского.

Все это для них – поэзия прошлого, доживающая свой век.

Если бы Дмитрий Веневитинов провел больше времени в общении с кружком Дельвига, он, может быть, успел бы сблизить с ним своих московских друзей и если не преодолеть, то смягчить разногласия.

Но дни юного поэта уже были сочтены. Случайная простуда, пустяк, которому не придавали значения, уложила его в постель на неделю. 15 марта он скончался на руках Алексея Хомякова. Рассказывали, что в предсмертном бреду он звал Дельвига.

В Москве в беспредельном отчаянии рыдали Погодин, Соболевский, Владимир Титов.

В доме Дельвигов было горе.

Хомяков подарил Анне Петровне Керн посмертный портрет Веневитинова. Анна Петровна сделала для него черный альбом. Дельвиг вписал туда свою эпитафию покойному

другу: антологическую надпись, где короткий век юноши сравнивал с мгновенной жизнью розы; подобно благоуханному цветку, он не успел испытать горечи жизненных невзгод. Эти стихи появятся в «Северных цветах»**2**.

Петербург пустел.

В феврале уехал на Кавказ Лев Пушкин**3**.

В марте скончался Веневитинов.

Гнедич все был болен грудью; боялись чахотки. Он почти не выходил из комнаты.

Дельвиг тяжело проболел весь январь, и семья готовилась к отъезду в Ревель на купанья.

Лишь одно радостное событие случилось в эти мрачные месяцы. 24 мая в Петербурге неожиданно появился Пушкин – к неописуемому счастью Дельвига и своей семьи.

Пушкин провел с ними не более недели. 2 июня родители его уехали с Дельвигами в Ревель и ждали Пушкина туда, но он не явился. Он жил у Демута и предавался рассеянию; иногда играл. В Петербурге почти не оставалось домов, где он был бы своим, – разве Карамзины; он заезжает к ним по нескольку раз в неделю и читает «Годунова». Но и Карамзины уезжали; 19 июня Пушкин зашел к ним попрощаться.

У Карамзиных были люди для него новые или почти новые. Его познакомили с Константином Степановичем Сербиновичем, которого представили как цензора. Пушкин сказал, что не может жаловаться на цензуру.

Им предстоит познакомиться ближе несколько месяцев спустя, когда Сербинович станет цензором «Северных цветов». Сейчас он – просто домашний человек у Карамзиных, незаметный помощник покойного историографа в повседневных делах, ученых и домашних, умеренный и аккуратный, исправный и благоразумный. Он всегда выбирает золотую середину: воспитанник иезуитов, он пользуется покровительством гонителя их Александра Тургенева, был принят дома и у Карамзина, и у Шишкова, был дружен с Александром Одоевским – и работал усердно в Следственной комиссии**4**.

Именно такие чиновники нужны были николаевскому царствованию. Впрочем, и «Северным цветам», как мы увидим далее, он принес некоторую пользу.

Люди новые, или почти новые, или все равно что новые – полузабытые старые, случайные знакомства. К нему приходят; его зовут на обеды. Пушкин не умеет отказывать.

Владимир Павлович Титов, переехавший на службу в Петербург, 18 июля жаловался редакторам «Московского вестника», что не может исполнять своей роли эмиссара, потому что не видит средств держать Пушкина в узде и нянчиться с ним не имеет охоты; тот целые дни проводит бог весть где и дома бывает только в девять часов утра. «У него часто бывает Сомов и т. п., – продолжал Титов свое письмо, – последний взял у него (как говорит для Сев.<ерных> Цв.<етов>) отрывок из „Онегина“ и из „Годунова“. Я желал бы знать от вас, много ли он вам оставил и что обещал?» Он собирался дождаться Дельвига, с которым уже познакомился, и воздействовать на Пушкина через него**5**.

На письме Титова нам следует несколько задержаться.

Накануне отъезда Пушкина в руках у Погодина почти не было пушкинских стихов. Он хотел было напечатать «Черкешенку» («Нет, не черкешенка она»), но Пушкин решительно воспротивился: это был любовный мадригал, обращенный к Софье Федоровне Пушкиной, которой он увлекся в Москве. Скрепя сердце, он соглашался на печатание послания к Языкову, но с тем, чтобы не помещать ничего в двух следующих номерах**6**. Правда, в десятом номере Погодин напечатал только что написанное мадригальное послание Пушкина к Зинаиде Волконской**7**, но в двух следующих действительно ничего не было. Для тринадцатого номера Пушкин уже в Петербурге передал Рожалину «Жениха» – но далее наступил опять перерыв**8**.

Именно в это время он дает в «Северные цветы» ни много ни мало – отрывки из «Онегина» и «Годунова». Титов не мог знать, что еще до отъезда Дельвига Пушкин обещал ему и третью пьесу, написанную еще в 1826 году на смерть Амалии Ризнич, – «Под небом голубым страны своей родной…»**9**.

Беспокойство Титова было поэтому вполне оправдано: Пушкин явно охладевал к журналу, и тому были веские и вполне материальные доказательства.

И самое его постоянное общение с Сомовым было свидетельством этого совершавшегося обращения.

«Сомов, быв в лагере Греча и Булгарина, а прежде в лагере Измайлова, писал эпиграммы и статьи против Дельвига, и потому появление его – так долго жившего в сообществе шпионов-литераторов, – в обществе Дельвига было очень неприятно встречено этим обществом. Наружность Сомова была также не в его пользу; вообще постоянно чего-то опасающийся, с красными, точно заплаканными глазами, он не внушал доверия. Он не понравился и жене Дельвига. Пушкин выговаривал Дельвигу, что тот приблизил к себе такого неблагонадежного и мало способного человека. Плетнев и все молодые литераторы были того же мнения.

<…> Вскоре однако же все переменили мнение о Сомове; он сделался ежедневным посетителем Дельвига или за обедом, или по вечерам. Жена Дельвига и все его общество очень полюбили Сомова; только Пушкин продолжал обращаться с ним с некоторою надменностию»**10**.

Так рассказывал двоюродный брат Дельвига, Андрей Иванович, в своих мемуарах.

Он вспоминал также, что увидел Сомова зимой 1827–1828 года, по возвращении Дельвига, когда новый сотрудник альманаха стал постоянно ездить в дом. Но сближение произошло раньше. Дельвиг сам обратился к Сомову с предложением соединиться с ним «de coeur, d'âme et de travail», – сердцем, душой и трудами, – как шутливо сообщал Сомов в письме к Н. М. Языкову, – и произошло это, вероятнее всего, еще весной 1827 года. В это время Сомов замышлял свой собственный альманах; получив предложение Дельвига, он оставил этот замысел и принялся за «Северные цветы»**11**. В июле, как мы видели, он уже берет у Пушкина стихи.

Для Пушкина Сомов был «человеком А. Е. Измайлова», а потом «человеком Булгарина», и выступления его против Дельвига Пушкин отлично помнил. А. И. Дельвиг ошибался в одном: летом 1827 года ни Греч, ни Булгарин не имели репутации «шпионов-литераторов»; она появилась позже, в разгар ожесточенных полемик. «Дельцы-литераторы», «интриганы-литераторы», – быть может, но не более.

Ни в 1827, ни в 1828 году Пушкин и Дельвиг не прервут с Булгариным дипломатических отношений.

Но журнальные схватки уже назревают; они должны поколебать монополию «Северной пчелы». Газета самовольно вершит свой суд, раздает венки и упреки, ее эстетические вкусы, устаревшие, тривиальные, превратились в диктат. Сочинения Булгарина объявлены чуть что не эталоном литературы. Публика слушает «Пчелку» и верит. Прочие литераторы молчат, один Вяземский ратует со страниц «Телеграфа».

Этому должен прийти конец.

Уже в «Московском вестнике» ратоборцы собирают силы. «Критика должна быть беспощадной». Это лозунг покойного Веневитинова, Титова, Рожалина, Шевырева. Пушкин согласен с ними.

В июне, на обеде у Свиньина, он в присутствии Греча «открыто воевал против Булгарина», – «вероятно, по убеждению Вяземского», – догадывается Свиньин**12**.

Еще в прошлых «Цветах» Вяземский печатал стихи «Семь пятниц на неделе», где задел «Флюгарина», «Фиглярина», журналиста с флюгерным пером. Теперь Баратынский выступил против журнальных приговоров, внушенных «торговой логикой».

Булгарин не принял всего этого на свой счет. Он избегает полемики. Он участвует в альманахе Дельвига. Он ищет сближения с Пушкиным.

Войны пока не будет.

Но литературная неприязнь растет, и отсветы ее ложатся на сотрудника Булгарина – Сомова.

«Сомов говорил мне о его (Булгарина. – *В. В.*) «Вечере у Карамзина». Не печатай его в своих Цветах. Ей-богу неприлично. Конечно, вольно собаке и на владыку лаять, но пускай лает она на дворе, а не у тебя в комнатах. Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было б еще неприличнее».

Пушкин остерегает Дельвига: Булгарин, старинный неприятель Карамзина, печатавший на него критики при жизни, спешит теперь выступить с посмертными славословиями. «Неприлично».

Дельвиг сумеет уклониться: «Вечер у Карамзина в 1819 году» Булгарин напечатает у А. А. Ивановского в «Альбоме северных муз».

«Сомов говорил мне…» Разговор происходил в Петербурге, в июле 1827 года и касался «Северных цветов». Сомов принадлежит уже двум кружкам и двум изданиям: он служит у Булгарина и занимается дельви-говским альманахом. Дельвиг поручает новому сотруднику альманашные дела на время своего отъезда; Сомов делит теперь хлопоты с Плетневым.

Имя этого человека отныне станет неотделимо от истории «Северных цветов».

В конце июля Пушкин уехал в деревню. В первые же дни по приезде он посылает Дельвигу в письме обещанную элегию. Теперь у Дельвига было три произведения, и Пушкин обещал ему еще, может быть, «послание о черепе» его, Дельвига, пращура; череп этот был похищен Языковым в студенческие годы из старого рижского склепа, и Алексей Вульф держал в нем табак, а потом подарил Пушкину. Пушкин начал по этому поводу писать к Дельвигу послание, но не закончил.

Между тем его беспокоила судьба «Московского вестника», и он писал Дельвигу: «Я не могу его оставить на произвол судьбы и Погодина». Приходилось перераспределять стихи.

22 августа Бенкендорф возвратил Пушкину очередную партию стихотворений. Император дозволял напечатать «Ангела», «Стансы» и третью главу «Онегина»; из «Графа Нулина» было предложено исключить два «неблагопристойных» стиха и столько же – из «Новой сцены между Фаустом и Мефистофелем»; песни о Стеньке Разине запрещались вовсе. Плетнев поспешил сообщить об этом Пушкину. Он полагал, что все стихи – полученные и неполученные – предназначались Дельвигу, но Пушкин судил иначе: у него на руках был журнал**13**.

Ожидая решения императора, Пушкин отослал Погодину отрывок из четвертой главы «Онегина», – вероятно, тот самый, который вначале был отдан Дельвигу, – и добавил к нему только что написанного «Поэта» («Пока не требует поэта…»), – стихи пошли в 20-й и 23-й номера журнала. «Фауста» Пушкин также берег для Погодина, равно как и другие стихи: «Стансы», песни о Разине. Из возвращенного Бенкендорфом запаса он отдал Дельвигу одного «Ангела».

Как раз в это время – в августе 1827 года – до него дошло известие о намерении Погодина издать альманах, и он обеспокоился. Тогда-то он и написал Погодину письмо об «альманашной грязи», которой нельзя марать рук, стращал его утратой репутации и обещал на будущий год участвовать в «Вестнике» «безусловно деятельно» и для того разорвать связи с альманашниками обеих столиц**14**. Вряд ли он, впрочем, верил всерьез, что выполнит это последнее обещание.

Пушкин вернулся в Петербург 16 октября. На пути из Пскова ему предстояла неожиданная встреча. На станции Залазы у Боровичей подъехали тройки с фельдъегерем: везли арестантов, – и Пушкин бросился в объятия бледного и худого человека с черной бородой. Жандармы их растащили, угрожали, ругали. Пушкин ничего не слышал. Он прощался с Кюхельбекером. Больше они не увиделись никогда.

17 октября в семье Дельвигов праздновали именины Андрея и пили за его здоровье из привезенного Пушкиным черепа одного из баронов Дельвигов. Пушкин читал законченное им послание, которое должно было пойти в альманах.

В тот же день – 17 октября – рукопись альманаха была представлена в цензуру. Наблюдал за ней Сомов – он и получил ее обратно «для доставления»**15**.

Одобрение рукописи не означало, однако, что Дельвиг закончил дела с альманахом и цензурой. Напротив, ему предстояли самые хлопотные дни. Корпус альманаха был собран лишь в первом приближении; рукописи – и в их числе такие, от которых отказываться было бы грешно, – продолжали поступать, как всегда бывает, в последнюю минуту. Их отправляли к цензору дополнительно – и здесь-то вступали в дело личные связи. Издание, уже, казалось бы, подписанное и сброшенное с плеч долой, продолжало тяготеть над цензором почти до нового года.

27 октября по докладу цензора «Цветов» – уже знакомого нам К. С. Сербиновича – Петербургский цензурный комитет исключает из альманаха две «пьесы». Одна из них была «отрывком из дневных записок Русского офицера» Ф. Глинки и содержала «обозрение происхождения масонских лож». Ложи были строжайше запрещены еще в 1822 году; правительство уже тогда – и не без основания – видело в них рассадник вольномыслия и своего рода организационную репетицию тайных обществ; сам Глинка был активным деятелем ложи «Избранного Михаила», близкой к Союзу Благоденствия. Его исторический экскурс, конечно, возбуждал ассоциации нежелательные. Второй «пьесой» было «Сравнение Вольтера и Руссо» В. В. Измайлова; оно было исключено «за неумеренные отзывы, особенно в похвалу Руссо»**16**.

Итак, старый поклонник Руссо также принял участие в альманахе. В «Северных цветах» появилась лишь его басня – перевод из Флориана; рассуждение же его оказалось не ко времени. Руссо был противником Вольтера, и еще лет двадцать назад можно было искать в нем противоядия против религиозного скептицизма вольтеровского толка – но сейчас не это было важно: на Руссо ретроспективно ложился отблеск Французской революции.

Альманах тем временем начинали печатать. Через два дня, 29 октября, Сомов отправляет к Сербиновичу дополнение к какой-то статье, чтобы по одобрении тут же отправить в типографию «для пополнения листа»**17**. Цензурование, печатание и даже составление книжки идет одновременно.

В ноябре до Пушкина доходит написанное Языковым послание к Арине Родионовне – доходит кружным путем, через П. А. Осипову. Пушкин отдает его Дельвигу и просит напечатать**18**. В редакции «Цветов» делают в первой строке необходимую поправку: Языков называл «Родионовну» «Васильевной». Автор послания не думал видеть свои стихи в печати; еще 20 ноября он, как обычно, беспокоился, что ничего не успеет послать Дельвигу, а по выходе книжки удивлялся, что напечатано его «пустословное послание к няне»**19**. Между тем послание и для Пушкина, и для Дельвига было важно: оно частично восполняло потерю «Тригорского». В нем были те же темы: поэтической дружбы – притом дружбы Пушкина и Языкова – и «поэтической обители», связанной с воспоминаниями о Тригор-ском. Уже в который раз Тригорское и его обитатели являлись у Пушкина и Дельвига в окружении поэтических ассоциаций: Пушкин посвятил П. А. Осиповой «Подражания корану», Дельвиг будет испрашивать ее согласия на посвящение сборника своих стихотворений; Пушкин адресует стихи Керн; Дельвиг печатает их в «Цветах» и вместе с ними – свое послание к А.

Н. Вульф. Имя Языкова вплеталось в эту вязь; он как бы становился тоже членом интимного «союза поэтов», каким хотели его видеть и Пушкин, и Дельвиг. Другое дело, что сам Языков как-то сторонился этого литературного содружества: ни Пушкин, ни Дельвиг, кажется, не представляли себе этого ясно.

И Пушкин же отдает в «Северные цветы» стихотворение Василия Туманского, старого приятеля своего и Дельвига, уже несколько лет жившего в Одессе. Он получил от Туманского по почте стихотворный запас для «Московского вестника» и держал его при себе; в декабре он отослал его Погодину, оставив для «Северных цветов» только одно стихотворение, но зато едва ли не лучшее: «Прекрасным глазам» («Большие глаза, голубые глаза.»)**20**.

Что касается его собственных стихов, то он опять вынужден их делить. Дельвиг просил оставить за «Северными цветами» «Стансы»**21**, и Пушкин согласился. Во всяком случае, в протоколах Главного цензурного комитета за 18 ноября 1827 года была сделана запись:

> «Статья VI. Цензор коллежский асессор Сербинович внес на общее суждение Главного цензурного комитета *Стансы государю императору,* сочинение А. Пушкина, принадлежащее к издаваемому бароном Дельвигом альманаху «Северные цветы».
>
> Определено: Хотя Комитет не находит в сих Стансах ничего противного правилам цензурным, но как они написаны государю императору, то по важности предмета представить об оных на разрешение его высокопревосходительства г. министра народного просвещения».

«Стансы» были разрешены царем еще в конце августа, и 23 ноября министр просвещения позволил их к печати. 25 ноября решение это стало известно цензору**22**.

Итак, в конце ноября эти стихи еще принадлежали Дельвигу, в декабре же Пушкин посылает их Погодину вместе со стихами Туманского и отрывком из «Онегина», и они немедленно появляются в первой книжке «Московского вестника» за 1828 год. К этому времени Пушкин уже решился напечатать в «Цветах» полностью «Графа Нулина»; «Северная пчела» сообщила об этом еще 19 ноября.

И, наконец, Пушкин отдавал Дельвигу «Череп».

Прими сей череп, Д***, он
Принадлежит тебе по праву…

С этими стихами вышло некоторое осложнение.

«Стихотворения, назначенные к напечатанию в „Северных цветах“ на 1828 г., были в октябре уже просмотрены императором, – рассказывал А. И. Дельвиг, – и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение „Череп“, которое однако же непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске „Северных цветов“. Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением „Череп“ букву „Я“, сказав: „Никто не усомнится, что Я – Я“. Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что „Череп“ написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его цензуры. Между тем, по нежеланию обеспокоивать часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.»**23**.

Это решение – обойтись без цензуры императора – явилось, вероятно, в последний момент: как и в предшествующей книжке, стихи Пушкина заканчивают альманах. Когда они набирались, все остальное было, конечно, уже напечатано. Однако еще ранее Пушкину пришлось заранее предусмотреть тактический ход, чтобы избежать надзора Николая, о чем у нас пойдет речь особо.

Пушкинские стихи были венцом поэтического отдела, и к книжке недаром был приложен портрет Пушкина – гравюра Уткина с оригинала Кипренского. Кипренский писал портрет по просьбе Дельвига и выставил его в Академии художеств в том же 1827 году. Дельвиг намеревался вначале открыть книжку портретом Карамзина, но потом изменил намерение. Он ставил альманах под эгиду пушкинского имени**24**.

Однако и другие стихи, не пушкинские, как замечала потом критика, поддерживали прежнюю славу «Северных цветов» – и выбор был строже, чем в прежней книжке. Здесь почти не было случайных имен.

«Граф Нулин» начинал поэтический отдел; за ним следовало «Море» Вяземского и «Элегия» Батюшкова. Они стоят рядом, как будто и напечатанные сохраняют между собой таинственную внутреннюю связь**25**. Далее идет эпитафия Дельвига «На смерть В<еневитино>ва» – едва ли не лучшее стихотворение Дельвига в альманахе. Издатель «Цветов» поместил здесь еще «Застольную песню», «Ответ» на старое послание Плетнева, «Идиллию» («Некогда Титир и Зоя.») – критика находила ее весьма удачной, – три антологические эпиграммы и полушутливый пастиш «На смерть собачки Амики», написанный еще для покойной Софьи Дмитриевны Пономаревой в подражание знаменитой катулловой элегии, переведенной Востоковым. В стихах была прелесть непринужденной поэтической игры.

Баратынского был отрывок из «Бального вечера» и одно стихотворение, но весьма значительное. Это была «Последняя смерть».

Баратынский вступал в переломный период творчества. «Последняя смерть» была написана рукой «позднего Баратынского» – эта апокалиптическая философская медитация говорила о фатуме, тяготеющем над человечеством. Овладевая природой, человечество утрачивает с ней естественную связь – а это ведет к вырожденью, уничтожению. В стихах Баратынского начинался философско-романтический бунт против цивилизации – и вскоре поэт отойдет от кружка Дельвига в лагерь адептов «философской поэзии», к бывшим «любомудрам». Сейчас они еще этого не понимают: не только для них, но и, например, для Плетнева Баратынский еще «классик», «элегик», человек XVIII века.

От Плетнева – «Соловей» и «Безвестность»; последняя, как и в прошлой книжке, в антологическом роде. На этих антологических элегиях затухает его поэтическая деятельность.

Одно стихотворение Языкова, одно В. Туманского, одно – И. Козлова, но зато это «Вечерний звон».

Стихи достаются с трудом; они хороши, но их мало. От старших поэтов приношения случайны. Крылов представлен посланием к А. Н. Оленину; он написал его как посвящение на титульном листе нового издания «Басен» в 1826 году**26**. Дельвиг печатает и отрывок из старого послания Гнедича к Плетневу, написанного в 1824 году в ответ на плетневское послание и в свое время не напечатанного. Тяжело больной Гнедич писал из Одессы и жаловался на молчание друзей; друзья же в это время, пусть символически, но все же возвращали его в петербургскую литературу.

От Жуковского, только что вернувшегося из-за границы, нет ничего. От Дашкова.

Страницы 71–74 заняты циклом «Надписи к изображениям некоторых итальянских поэтов»: Данте, Петрарки, Ариосто, Тассо. Подписи под стихами нет, но торжественные, слегка архаизированные элегические дистихи, фонетическая передача имен, филологические примечания, кажется, выдают автора. Это почти наверное Дашков, еще в юности увлекавшийся Италией и писавший письма на языке Торквата своим русским соотечественникам**27**.

За главными вкладчиками следуют рядовые – постоянные и несколько новых. «Две оды из Горация» – обычное приношение В. Вердеревского; басня «Цветок и терновник» – архангельского крестьянина Михаила Суханова, самоучки, баснописца не без дарования (благо-

желательная критика не забывала именовать его «земляком Ломоносова»); ориентальные стихи под звучным названием «Учан-Су» – Ефима Петровича Зайцевского, «рифмоплета Зайчевского», которого встретил в 1825 году в Херсонской губернии Василий Туманский и переслал от него стихи Бестужеву в «Звездочку»**28**. Он живет теперь в Одессе и общается с Туманским и А. А. Шишковым; с Дельвигом же и Сомовым познакомится позже, в 1830 году. Молодой поэт А. И. Подолинский; некто «М.» (не Максимович ли?), поместивший стихи «Пчела и мотылек»; чья-то острая и забавная «Характеристика»**29**, анонимное «подражание Беранжеру» «Падающие звезды»; «Надежды», перевод с немецкого.

И неизменный Алексей Дамианович Илличевский, с россыпью мадригалов и эпиграмм; он издал свои «Антологические стихотворения» и может не беречь стихи. Среди девяти его «пьес» – три сонета: «Аккерманские степи», «Плавание», «Бахчисарайский дворец» – первые петербургские отзвуки новой поэтической славы. В Москве вышли по-польски «Сонеты» Адама Мицкевича; сам автор также в Москве; о нем пишут в «Телеграфе», и Вяземский переводит его в прозе. Илличевский решается переложить три «крымских сонета» в русские стихи – и опыт удачен.

Прежние арзамасцы, бывшие лицеисты, поэты уходящие, поэты начинающие. А что же «гражданские романтики» старой «ученой республики»? Есть ли они?

Федор Николаевич Глинка прислал из Петрозаводска два прозаических этюда и для стихотворного отдела – сцену «Переговоры в Белой Церкви (Черта из жизни Богдана Хмельницкого)»; сцена была написана вольным стихом и напоминала несостоявшийся драматический отрывок. Она сохраняла след литературных впечатлений: буквально за несколько дней до декабрьских событий Рылеев говорил с ним о своем замысле трагедии «Богдан Хмельницкий», для которой успел написать только одну сцену; обоих собеседников тема интересовала издавна**30**. Глинка прислал еще «Псалом LXII», который самым своим жанром принадлежал еще той, додекабрьской эпохе, и наряду с ним в «Цветах» поместились два библейских переложения Платона Ободовского и «Сетование» В. Н. Григорьева. Видимо, эти стихи О. Сомов привозил 30 ноября Сербиновичу из духовной цензуры. Он собирался отдать туда и «Сетование», но этого не потребовалось: Григорьев очень свободно перелагал 136-й псалом, давно уже вошедший в светскую литературу. Все эти стихи также напоминали об увлечениях «переложениями псалмов» в «ученой республике». Из них «Сетование» в 1827 году звучало конкретно и зловеще: полный трагизма плач пленников, переживших гибель родины, воспринимался как реквием по погибшей вольности. Было ли у Григорьева, испытавшего литературное и личное воздействие Рылеева, такое намерение или нет – мы не знаем. Второе его стихотворение – «Послание к Н. Ф-у», Николаю Илларионовичу Философову, товарищу его по Санктпетербургской губернской гимназии, не заключало в себе никаких политических намеков.

Все это люди, связанные друг с другом лично и литературно, и сходство жанров, мотивов, тем вряд ли случайно. Григорьев знал Глинку в вольном обществе и десятки лет помнил, как он читал свои псалмодические инвективы; с Ободовским Григорьев вместе учился в гимназии; теперь он посещает «любезного Дельвига», у которого встречает Пушкина и Илличевского**31**.

В послании Гнедича Плетневу также жил еще дух «ученой республики». Гнедич писал о высоком назначении поэта, независимого от земной власти.

И, наконец, в «Северных цветах» были напечатаны стихи Рылеева – фрагмент из неосуществленной его поэмы, названный в альманахе «Партизаны»: короткое описание ночного бивака и «Партизанская песня». Подписи под отрывком, естественно, никакой не было, и об имени автора узнали только в 1870-х годах, когда автограф «Партизанской песни», без всякого заглавия, обнаружился среди булгаринских бумаг. Это были те самые бумаги, которые Рылеев передал Булгарину накануне своего ареста.

Рылеев замышлял произведение, быть может поэму, о войне 1812 года. На том же сохраненном Булгариным автографе записан маленький набросок о жертвенном пожаре Москвы, – конечно, для той же поэмы**32**. Больше до нас ничего не дошло.

Почти нет сомнений, что более полная рукопись, бывшая в руках Дельвига, также принадлежала «булгаринской части» рылеевского архива и отсюда попала к издателю «Северных цветов».

Опасаться Дельвига Булгарину не приходилось, и на риск шел не он, а Дельвиг. В «Партизанах» не было ничего противоцензурного, и об авторе их знал только узкий издательский круг.

При всем том это было сочинение государственного преступника, поставленного «вне разрядов», которое Дельвиг пустил в публику.

В 1827 году нечто подобное сделал один Андрей Андреевич Ивановский, некогда секретарь Следственной комиссии, ныне издатель «Альбома северных муз». Он выкрал рукописи Рылеева и Бестужева из следственных дел и напечатал кое-что в своем альманахе.

Он был убежден, что, сохраняя их наследие, оказывает немалую услугу словесности – и в том не ошибся.

Дельвиг, вероятно, был движим тем же убеждением. Он напечатал стихи казненного – недалек тот день, когда он станет систематически публиковать стихи каторжников.

Мир и дипломатия царили в республике словесности.

Осень 1827 и первые месяцы 1828 года – время, когда кружок Дельвига дружелюбно общается с издателями «Северной пчелы». Конечно, Сомов играл тут не последнюю роль.

В ноябре Пушкин и Дельвиг отправляются на званый обед к Булгарину. 26 ноября заехавший в Петербург И. А. Второв застает Пушкина и Булгарина у Дельвига. Они мирно беседуют; разговор на литературные темы достаточно откровенен. Второву запомнилось, что Пушкин резко отозвался об идиллии Гнедича «Рыбаки» – в прошлом выпуске «Северных цветов»**33**.

Булгарин печатал в «Цветах» свое «Падение Вендена».

Вслед за ним в дельвиговский альманах приходят его литературные соратники – Греч и Осип Иванович Сенковский.

Еще в 1824 году, когда молодой Сенковский печатал в «Полярной звезде» своего «Витязя буланого коня», Пушкин с похвалой писал о нем Бестужеву: «Советую тебе держать за ворот этого Сенковского.» Прошло немногим более трех лет, когда Пушкину, наконец, привелось увидеть Сенковского на обеде у Булгарина – сейчас это был блестящий университетский профессор, ориенталист, уже получивший европейское имя, с того самого времени, как в середине 1827 года он опубликовал в «Северной пчеле» свое знаменитое «Письмо Тютюнджу-Оглу.». В это время он чаще всего, пожалуй, бывает у Булгарина: сюда влечет его и долголетнее литературное сотрудничество, и «голос крови» – непрервавшаяся связь с соотечественниками, которых Булгарин постоянно собирает вокруг себя. Дружба эта не безоблачна; они ссорятся и спорят постоянно – но они нужны друг другу, и так будет продолжаться до тех пор, пока Сенковский, «Барон Брамбеус», не станет издавать свой журнал. Но до этого должно пройти еще почти семь лет.

Сенковский помещает в «Северных цветах» повесть «Бедуинка», переведенную с арабского. Он продолжал цикл «восточных повестей», начатый им еще в «Полярной звезде». За четыре года он очень окреп как литератор, и старая арабская антология ал-Итлиди, на которую указал ему когда-то в Сирии его наставник Арыда и из которой он черпал свои сюжеты, перестала удовлетворять его; он уже почти не переводил, а пересказывал оригиналы, давая волю собственной фантазии. Так он поступал в «Бедуинке», так будет и в «Воре» в «Северных цветах на 1830 год»**34**.

Что же касается Греча, то издатели «Цветов» обратились к нему сами и просили переделать для альманаха некрологию Карамзина, напечатанную им после смерти историографа в «Северной пчеле»**35**. Это была благопристойная официальная статья, обязательная дань памяти, благосклонно принятая И. И. Дмитриевым. Она была необходима тем более, что книжка альманаха открывалась портретом не Карамзина, а Пушкина.

С нею альманах вступал в область литературной и даже общественной борьбы.

> «Право, мне совестно Вас утруждать ежедневными просьбами, милостивый государь Константин Степанович. Но что делать: volens-nolens, а принимаюсь за прежнее. Если вы имеете досуг просмотреть нынешним утром прилагаемые статьи или по крайней мере важнейшую из них: „О жизни и сочинениях Карамзина“, то покорнейше вас прошу сделать мне одолжение сие; ибо типография требует пищи. Здесь же маленькая статейка в прозе Ф. Н. Глинки и несколько стишков, короче утиного носа. Ожидаю благосклонного вашего внимания к моей просьбе, возврата статей (или хотя одной) с сим подателем и имею честь быть с совершенным почтением и преданностью вашим покорнейшим слугою Орест Сомов.
>
> Ноября 25 дня, 1827»**36**.

Допечатывались первые листы прозы. За статьей «о жизни Карамзина» в вышедшей книжке следует «картина с натуры» Ф. Глинки – «Восхождение солнца в бурное осеннее утро». Уже напечатаны были литературный обзор Сомова, повесть Булгарина, рассуждение Глинки «о классической и романтической поэзии» и «Бедуинка» Сенковского.

«О жизни и сочинениях Карамзина» – статья Греча говорила об идеальном верноподданном, чьи труды на благо России были отмечены чинами и орденом св. Анны, а затем и последней, «истинно царской наградой» – посмертной пенсией семье.

Это была одна из тех некрологий, которые читал Пушкин полутора годами ранее, сразу после смерти Карамзина, и называл их «холодными и низкими». Он читал и «бесился», и писал об этом Вяземскому. Вяземский соглашался с ним, но в тогдашних условиях оставалось только молчать.

Молчали Пушкин, Вяземский, Жуковский. Один Александр Тургенев написал письмо «О Карамзине и молчании о нем литературы нашей.» – и Вяземский поместил его в «Телеграфе».

Зато полным голосом говорила официальная печать, и голос ее уже слышался со страниц «Северных цветов».

А. И. Тургенев прочтет статью Греча за границей и напишет Жуковскому: «.что-то такое рабское и писателя недостойное. На счет истины делают фразы <…> и беспрестанно твердят о 3-м Влад<имире> и о том, что один он имел в чине ст<атского> сов<етника> анненскую ленту»**37**.

Жуковский, знавший это, Жуковский, тайная пружина «истинно царской награды», уже был в Петербурге. Он приехал в конце октября**38**, проведя за границей полтора года. Болезнь его отступила.

«Не печатай его в „Северных цветах“. „наше молчание о Карамзине и так неприлично, не Булгарину прерывать его.“

Все молчали, говорили Булгарин и Греч.

> «Милостивый государь Константин Степанович! Вчерашний день я два раза был у вас, но не имел удовольствия найти вас дома, и потому решил оставить у вас статьи, мною привезенные: недоконченную мною повесть или отрывок „Гайдамак“, которой окончание непременно доставлю вам дня чрез два, и *мысли* разных лиц, без подписи, в коих с именем одни только стихи

> Пушкина. Стихи сии, равно как и самую сию статью, отдавал я г. Фон-Фоку, а он представлял их А. Х. Бенкендорфу, для рассмотрения КЕМ все стихи Пушкина рассматриваются. А. Х. Бенкендорф сказал, что для сих маленьких стишков не стоит утруждать г<осударя> И<мператора>, и что они могут быть пропущены с одобрения Цензуры. Итак теперь, с полною надеждою на ваше благорасположение и снисхождение обращаюсь к вам» и т. д., и т. п.
>
> Если бы можно было все помянутые статьи или хотя *мысли* получить сегодня; ибо типография ожидает, а время сближается.»**39**.

Сомов извиняется, торопит, умоляет. Он приезжает 30 ноября дважды, на следующий день пишет письмо. «Мысли», привезенные им, – пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания». Они будут набраны вслед за уже отпечатанной статьей Глинки; за ними пойдет сомовский «Гайдамак».

Сербинович не знает, что «Мысли» – пушкинские, он полагает, что Пушкиным написан только незначащий отрывок «Не знаю где, но не у нас», под которым стоит подпись «А. Пушкин». Он записан отдельно; в каллиграфически переписанной рукописи «Мыслей» в нужном месте Сомов сделал помету: «сюда стихи».

«Стихи Пушкина» и «Мысли разных лиц, без подписи».

Так поняли дело и Фон-Фок, и Бенкендорф, почему и не стали отправлять к императору всю статью: если автор «мыслей» не Пушкин, то он не подлежит высочайшей цензуре.

Сомов знает автора: он слегка редактирует статью, и почерк Пушкина, хоть и каллиграфический, ему небезызвестен. Он знает и тот фрагмент «Мыслей», который печатать в «Цветах» нельзя: похвалу идиллиям Дельвига; ему ведомы закулисные редакционные секреты.

Он – уже «человек Дельвига», доверенное лицо во всем вплоть до рискованных маневров с цензурой.

В «Отрывках из мыслей.» – фрагмент из уничтоженных пушкинских записок о Карамзине – не Карамзине-верноподданном, но о Карамзине – писателе, ученом, «честном человеке» в глубоком общественном смысле. Это Карамзин – символ независимости социального поведения, проходящий равнодушно мимо критики, мимо почестей и чинов, мимо двора и суждений публики. Пушкин берет его под защиту; он напоминает о его критиках – «умном и пылком» «Н.» – Никите Муравьеве, о Михаиле Орлове; в доцензурном тексте он вспоминает и о себе самом. Он глухо упоминает об ограничениях, какие налагало на историка самодержавное государство.

Пушкин думает и о самом себе – нынешнем; силою обстоятельств он, Жуковский, Вяземский должны занять теперь пустующее место Карамзина.

«Предстатели за русскую грамоту у трона безграмотного», – говорил Вяземский.

За русскую грамоту, за русскую культуру, за русскую мысль. И за осужденных «братьев и товарищей».

Тени декабристов поднимаются со страниц альманаха Дельвига.

В прошлой книжке – Пущин, Кюхельбекер, лицейские. Теперь – Муравьев, Орлов, Рылеев. И Николай Тургенев, чье неназванное имя угадывалось посвященными в мятежных строчках «Моря» Вяземского.

Здесь нет пропаганды их деяния; она невозможна, самоубийственна, и сама история склонила чашу весов в пользу правительства. В «Отрывках.» Пушкин с неодобрением говорит о тайных обществах. Но жизнь этих людей, их судьба, их мысль уже неотделима от оставшихся – тех, кто составляет сейчас дельвиговский альманах.

Все было живо – живо до такой степени, что даже начатые за несколько лет споры требовали продолжения. Споры были не с людьми, а с идеями, которые оставались, переживая людей.

В 1825 году Пушкин защищал Жуковского от Бестужева, ссылаясь на историческое значение его творчества. Идея исторической преемственности, национальной культурной традиции, составляющей основу «просвещения», – вот что было важно для него теперь. Жуковский был частью этой традиции, так же, как Карамзин. Это следовало показать публике, внушив ей уважение к собственному прошлому, к «славе предков», – прежде чем допускать ее колебать треножник.

Его собственный путь, пушкинский, мог расходиться и с путем Жуковского, и с путем Карамзина – но так и должно быть; заслуги же того и другого тем не умалялись.

В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» Пушкин берет под защиту Карамзина – не те или другие идеи, не монархические пристрастия, но самого Карамзина как культурное явление, и возражает самым последовательным и серьезным его критикам, не удостаивая полемикой мелких журнальных забияк.

Он прерывал «неприличное молчание», говоря от имени своей литературной группы, и, вероятно, торопился напечатать «Отрывки из писем.», чтобы Греч не был единственным, кто сказал о Карамзине в «Северных цветах».

В «Отрывках» названо еще несколько имен: Жуковского, Вяземского, Баратынского – ныне живущих корифеев современной поэзии. Из них Баратынский особенно нуждался в поддержке. Долгожданный сборник его стихов вышел, наконец, в 1827 году – и можно было ожидать, что недружелюбная критика, уже открывшая войну против его элегий, не оставит его в покое. Тогда Пушкин начал статью о Баратынском, но не окончил; некоторые счастливые выражения и афоризмы он печатал теперь как «мысли и замечания»**40**. Лишь один набросок в печатном тексте содержит прямую характеристику Баратынского и выдает тем самым свое происхождение:

«Никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах».

«Отрывки из писем, мысли и замечания» спешно набираются 1–2 декабря. Вслед за тем Сомов привозит Сербиновичу окончание своего «Гайдамака», и набирают эту повесть.

После «Гайдамака», в конце отдела прозы, мы находим статью Плетнева «О стихотворениях Баратынского».

Пушкин не закончил статью; он вернется к ней тремя годами позже. Но статья о Баратынском настоятельно нужна, и Плетнев спешно пишет ее и приносит в самый последний миг, когда корректура первого отделения альманаха уже готова.

Может быть, потому, что статья его кончилась на лицевой стороне листа, к ней присовокупили особое известие о книгах – вновь выходящих и уже явившихся в свет.

В статье Плетнева были прямые переклички с Пушкиным. «Увлекаясь движениями сердца, – пишет он, – Баратынский не перестает мыслить и каждую свою мысль умеет согревать чувством». Итак, поэт мысли – и поэт строгого вкуса, добавляет Плетнев. Вслед за Пушкиным он берет под защиту элегиков. Но главной задачей Плетнева было отвести от Баратынского упрек в «безнравственности», который легко было предвидеть: когда-то им широко пользовались моралисты из «Благонамеренного». В «Северных цветах» печатался отрывок из его новой поэмы «Бальный вечер» (потом получившей название «Бал»); она готовилась к отдельному изданию, и в ней являлся чувственный образ «беззаконной кометы», испепеляемой страстью. Имея это в виду, Плетнев заготовляет цитаты из писателей «строгой нравственности» – М. Н. Муравьева, Жуковского. От поэта требуется, повторяет он за Жуковским, чтобы он не противоречил морально-изящному, но моральная дидактика – не дело поэзии.

С этих позиций вскоре Пушкин будет оценивать «нравственно-сатирические» романы Булгарина.

«Северные цветы» на 1828 год, таким образом, включали критику – впервые после долгого перерыва. Подобно «Полярной звезде», они открылись литературным обозрением за год; автор его, О. М. Сомов, профессиональный критик, возрождал некоторые идеи бестужевских обзоров. Он ратовал за национальную литературу, за широкую читательскую аудиторию и метал стрелы в эпигонов, в том числе элегиков, с их неизменной «тоской по лучшем» и «томлениями жизни». Сам прозаик, он призывал разрабатывать язык оригинальной прозы.

Обо всем этом писал когда-то Бестужев, а за ним Булгарин – и Сомов разделял не только их общие суждения, но и частные оценки. Он с похвалой отозвался о «Сыне отечества» и «Северной пчеле» (где сотрудничал сам) и о сочинениях самого Булгарина – зато напал на старинного врага Воейкова, не забыв упомянуть о его достопамятных выкрадках из чужих сочинений. Все это было отзвуком старинных полемик, как и умеренные, впрочем, критические замечания в адрес «Московского телеграфа» и «Вестника Европы». Больше досталось «Дамскому журналу»; в князя Шаликова метила и анонимная эпиграмма «Русский романтик русскому классику», также принадлежавшая Сомову. Шаликов откликнулся эпиграммой; Сомов продолжил перестрелку и в следующей книжке поместил еще одну – злую и удачную: «Мнимому классику»**41**. Сомов был действительно романтик, хотя и умеренный: он с восторгом приветствовал Пушкина – «Цыган», «Братьев разбойников» и «Онегина», ничему не отдавая явного предпочтения; он поощрял и новейшие романтические поэмы – и в первую очередь «Дива и Пери» А. Подолинского. Вместе с тем он одним из немногих встретил с похвалой отрывок из «Андромахи» Катенина и его переводы; Катенину, не избалованному лестными отзывами, еще предстояло это оценить. Зато издатели «Московского вестника» имели все причины для недовольства: Сомов, правда, воздал должное «отлично хорошему» поэтическому отделу и глубокомысленным статьям по теории изящных искусств – но затем обрушился на Погодина, с которым у него были еще прежние счеты. Литературные вкусы и манера Погодина казались ему устарелыми, а ученость – школьной; обо всем этом он прямо писал в обозрении. Должно было ожидать полемики.

Критика благосклонно приветствовала «Северные цветы». И Полевой, и Булгарин считали, что альманах не имеет себе равных. Общий голос признавал «Гайдамака» Сомова лучшей прозаической статьей. О стихах мнения расходились; впрочем, все восторженно писали о Пушкине. Один Полевой, кажется, отдавал предпочтение «Последней смерти» Баратынского.

Критический же отдел возбудил страсти.

Первым выступил Булгарин и с неожиданным пафосом напал на статью своего «приятеля и сотрудника» О. Сомова. В двух номерах «Пчелы» он шумно опровергал «ложную мысль», что русская словесность уже стала в ряд европейских, – и был едва ли не прав; противник его, Н. А. Полевой, поборник западного просвещения, также оспаривал в этом Сомова. Булгарину решительно не нравилось сомовское обозрение – и вероятно, более всего не нравилось то, что Сомов выступил с ним на страницах дельви-говского альманаха и тем как бы изменил «Пчеле». Он хвалил лишь те пассажи, где Сомов нападал на «элегиков», – это была и его, Булгарина, позиция. Он не упустил случая оспорить – очень корректно – слишком высокую оценку таланта Баратынского в статье Плетнева и вступил с ним в спор о дидактике. Конечно же, соглашался он, прямые уроки нравственности не обязательны в словесности, но истинно моральное сочинение должно изображать порок отталкивающим – взгляните на «Графа Нулина». Булгарин лавировал между противоречащими друг другу мнениями критиков. В то время как Сомов превозносил русскую словесность, Пушкин называл ее «забавной»: ее репутация в глазах иностранных путешественников зиждется на неизданной грамматике, ненапечатанном романе и неигранной комедии. Здесь Булгарин чувствовал легкий укол: Ансело, которого он принимал, сообщал о грамматике Греча, о «Горе от ума»

и его, Булгарина, «Иване Выжигине». Булгарин спешил дать объяснения и галантно заключал их упоминанием о неизданном же «Борисе Годунове», которому предстоит прославить отечественную литературу.

Несогласия, возражения – но отнюдь не враждебность. Войны не будет.

Война открывается в иной части литературного мира. Шевырев все же грянул со страниц «Московского вестника» критическим обзором словесности и сказал о Булгарине все, что думал: упомянул о «безжизненности» его романов и об отсутствии у него своего воззрения на мир, которое он заменил «обветшалыми правилами» нравственной дидактики. Отныне в «Северной пчеле» из номера в номер будет доказываться, что Шевырев – самовлюбленный педант, не знающий даже правописания.

Шевырев писал и о «Северных цветах». Он осуждал названия отделов – «Проза», «Поэзия», как свидетельствующие о сбивчивости понятий: «поэзия» может быть и в прозе – итак, следовало делить альманах на «прозу и стихи». Он пренебрежительно третировал обозрение Сомова как пустое и лишенное общей идеи. Вообще альманах, по его мнению, хотя и хорош, но уступает прежним книжкам; лучшие стихи в нем наперечет: «Нулин», «Череп», «Отрывок из Бориса», «Море», «Ангел», «Отрывок из Бального вечера». «Последняя смерть» не ясна; это отрывок, не заключающий полного смысла. Вообще же «Г. Баратынский более мыслит в поэзии, нежели чувствует» – и даже более того: «его можно скорее назвать поэтом выражения, нежели мысли и чувства». Это – о вышедших «Стихотворениях» Баратынского, и здесь почти прямая полемика с Плетневым и Пушкиным: «никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах»**42**.

«Северные цветы», введя критику на свои страницы, становились предметом полемики и вступали в нее сами. Но в их критическом лагере не было полного единства. Пушкин и Плетнев не сходились с Сомовым во многих мнениях – и противоречия были почти неизбежны: альманахом нельзя было управлять так, как журналом. Более того: с расширением состава участников ослаблялись внутренние связи внутри дельвиговского кружка – и первой причиной тому были недавние события, все смешавшие и перевернувшие. Кружку нужно было определять свою позицию в литературной борьбе.

В двадцатых числах января 1828 года Дельвиг покидает Петербург; у него назначение по службе в Украинско-Слободскую губернию, и он должен жить в Харькове вплоть до окончания всех дел. Вместе с ним едет Софья Михайловна.

У Софьи Михайловны – роман с Алексеем Вульфом, сыном П. А. Осиповой, приятелем Пушкина и Языкова. Вульф умен, красив и опытен в любовных делах. Отъезд разрушает его надежды, и он досадует.

Несколько дней Дельвиги остаются в Москве: повидаться с друзьями и расширить литературные связи. Дельвиг отправляется с визитом к И. И. Дмитриеву, затем к В. Л. Пушкину. Василий Львович пишет «романтическую поэму» – «Капитан Храбров», которую Баратынский шутя называет «совершенно балладическим произведением», а самого поэта – Громобоем, продавшим душу романтическому бесу**43**. В поэме действительно мелодраматический сюжет – но вместе с тем и легкая пародия на романтиков.

Баратынский и Вяземский сводят Дельвига с «низшей братией московской» – с Раичем, «благоухающим анисовою водкою» и похожим на «домового пииту», с Шевыревым. «Шевырев пел, вопиял и взывал, но не глаголил, – сообщал Дельвиг Пушкину, – гнев противу „Северной пчелы“ носил его на крилиях ветра…» Дельвиг иронизирует, но статьей Шевырева, как увидим далее, раздражен не на шутку.

30 января Соболевский устроил прием в честь гостя и пригласил людей разных партий – Погодина, Полевого, Максимовича и других; вечер был многолюдный. Погодин чувствовал здесь себя чужим и остался недоволен**44**. Взаимная холодность «Московского вестника» и «Северных цветов» нарастала.

Зато с Полевым Дельвиг несколько сблизился. В конторе «Московского телеграфа» продавались книги, и Полевой взял на комиссию «Северные цветы». Из Харькова и из-под Тулы Дельвиг будет писать ему дважды, прося о денежной ссуде**45**, У Соболевского он впервые познакомился и с Максимовичем, издателем «Малороссийских песен», о котором Сомов подробно писал в «Северных цветах», – и они с час беседовали о народных русских песнях**46**.

На этом вечере был и Мицкевич, только что с дорожной коляски, три дня назад выехавший из Петербурга, где пробыл немногим менее двух месяцев**47**.

8 февраля уставшие и намерзшиеся путники, наконец, прибыли в Харьков.

В провинциальном городе не было ни души знакомых и было томительно скучно. Переписка была единственным спасением, но почта из Харькова ходила раз в неделю, и письма шли долго. Дельвиги жили петербургскими и московскими впечатлениями.

Софья Михайловна посылала А. Н. Карелиной «Северные цветы», обращала ее внимание на портрет «милого доброго Пушкина» и раскрывала анонимы: «Мысли в прозе – Пушкина, и пьеса под заглавием „Череп“, под которой он не пожелал поставить свое имя, – также его»**48**.

Софья Михайловна еще обсуждала с подругой вышедшие «Цветы», Дельвиг уже думал о следующих. Ему предстояло определять свою позицию в начавшейся журнальной борьбе. Столичные журналы изредка доходили до Харькова, и к Дельвигу поступали сведения, хотя отрывочные и запоздалые. Как бы то ни было, в Харькове он окончательно уверился в том, что пути его и московских «любомудров» расходятся безнадежно.

> «Как это ты, живучи в Москве, не приучил к повиновению мальчишек Шевыревых и им подобных? – упрекал он Баратынского. – Это стыдно. Докажи им, что статья о литературе 1827-го года совершенно школьническая, и какая! Даже Булгарин прав, говоря об ней. Не напоминаю уже, что писавши по-русски, надо знать по-русски; не худо сказать им, что с должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее, или он будет недальновиден. Скажи Шевыреву, что мы в нем видим талант в переводах с Шиллера, в свободе писать хорошие стихи, но ничуть не в вымыслах вдохновенных. Изысканность в подобиях, может быть, будет еще смешнее плаксивости Карамзинской и разуверений 1/4 века Жуковского. Скажи ему, что он смешон, укоряя меня в невежестве. Он еще азбуке не учился, когда я знал, что роман, повесть, Гесснерова идиллия, несмотря на форму, суть произведения *поэзии.*
>
> Порядка же в «С<еверных> цвет<ах>» не переменю – потому же, почему никто из славных поэтов не перемешивал вместе своих повестей, стихами и прозою писанных; почему большая часть немецких издателей альманахов не смешивает прозы со стихами, – и так далее. Суждение же его о твоей «Последней смерти» воняет глупою посредственностию. Аминь»**49**

Мы не напрасно привели эту длинную выдержку: нам еще придется вспомнить о ней. Полемический ответ Дельвига в общих чертах почти сложился, и Баратынский, как это нередко бывало и раньше, становится первым поверенным. Он, конечно, не может учить «мальчишек Шевыревых»: они его не слушают и трактуют снисходительно-благожелательно.

Дельвиг ищет у Баратынского не управы, а единомыслия. «Союз поэтов», пусть разрозненный и рассеянный, жив для него, и следующую книжку «Цветов» он думает украсить портретом Баратынского. Итак, первый – Пушкин, Баратынский – второй. «Пишешь ты ко

мне редко и ничего не говоришь о портрете твоем; готов ли он? Если готов, то похож ли? Если похож, то держи его до моего приезда». Осенью того же года Баратынский писал ему: «Приложишь ли мой портрет, как имел намерение? Признаюсь, это было бы приятно моему самолюбию». Портрет был готов, но почему-то Дельвигу пришлось отказаться от своего замысла**50.**

Литературное же кредо его, высказанное Баратынскому, вскоре будет сформулировано в «Северных цветах». В нем есть все – и эстетическая позиция, и литературная тактика. Дельвиг не спорит с тем, что век Карамзина и Жуковского отходит в прошлое, – но тем более они требуют исторической оценки. «.С должным почтением не оценив отживших и современных писателей, нельзя кидать взора на будущее.»; рвущееся к литературным высотам новое поколение не может, не должно уничтожать литературную традицию: оно не заменит ее собой. Так писал Пушкин – в «Отрывках.». Там речь шла о других людях, но и отношением «Вестника» к современным» писателям Пушкин не до конца удовлетворен; он выбрасывает из статьи В. Ф. Одоевского неуместно резкие суждения о Карамзине и Державине и упрекает Шевырева за непонимание творчества Баратынского. Он почти согласен с Дельвигом; «почти» – потому, что связан с «Вестником», не собирается порывать отношений и даже рад столь недипломатично начавшейся войне с булгаринской «Северной пчелой».

Впрочем, сам он, как и Дельвиг, сохраняет пока еще с Булгариным худой мир.

Дельвиг в Харькове, Пушкин в Петербурге.

8 Петербурге Вяземский, Грибоедов, Мицкевич. Идет жизнь – лихорадочная, беспорядочная, жизнь дневная и ночная – у Перовского, у Филимонова, у Жуковского… Жизнь без оглядки, все как будто торопятся, словно чувствуют, что видятся в последний раз. Грибоедов уже не вернется из Тегерана, Мицкевич больше не увидит России. Пушкину и Вяземскому нужно уехать – необходимо нужно, все равно куда: в Париж ли, в Лондон, в действующую армию. Их не отпускают. Пока же они заражают Крылова своим нетерпением: ехать в Европу; не шутка для парижан видеть четырех русских литераторов. Крылов в эти месяцы как будто сбросил десятки лет и врожденную флегму и проказничает с молодежью.

Пушкин читает «Годунова», читает главы из начатого романа об Ибрагиме – царском арапе. Мицкевич ночью у Пушкина импровизирует по-французски; Пушкин, Вяземский, Жуковский, сам импровизатор взволнованы до слез.

9 мая Пушкин участвует в морской прогулке; на пароходе Олениных и художник Доу, он возвращается на родину, в Англию. Доу набрасывает карандашом пушкинский портрет. В тот же день в пушкинской тетради появляется запись: «9 мая 1828. Море. Ол.<енина>. Дау» и в ближайшие дни – стихи: «To Daw, Esq»:

Рисуй Олениной черты…

Оленина. Он видел ее девочкой, теперь вновь встретился с ней в доме ее родителей, втором доме Крылова. В стихах к Доу – первый проблеск зарождающегося чувства. Оно будет расти и крепнуть.

В Приютине у Олениных приемы и вечера. Грибоедов, Вяземский, Мицкевич, Пушкин.

Пушкин влюблен.

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила…

27 мая он едет в Приютино, чтобы увидеть Оленину и отдать ей только что законченное стихотворение «Ты и вы». «Она», чья обмолвка вызывает к жизни поэтическое признание в

любви, – молоденькая девушка, Аннет Оленина, имя которой Пушкин пишет на черновиках «Полтавы»: «Annette Olenine Annette Pouchkine».

Он уже знает, что сделает предложение.

И, как всегда, накануне решительных перемен его охватывают сомнение и тревога. Итог прожитой жизни рисуется ему безрадостным, будущее неясным и зловещим, настоящее смутным и неустойчивым.

19 мая – «Воспоминание», 26-го – в день рождения – «Дар напрасный, дар случайный», в июне – «Предчувствие». Самые мрачные пушкинские стихи.

В стихотворении «Не пой, красавица, при мне» как будто совместились мотивы двух этих своеобразных «циклов»: любовных стихов к Олениной и «прощальных», типа «Воспоминания». Грибоедов привез с Кавказа мелодию народной песни; и когда ее услышал молодой Михаил Глинка, однокашник Левушки Пушкина и тоже посетитель Олениных, он обработал ее. Пушкин написал текст уже под мелодию. Это было в июне 1828 года**51**.

Глинка играет у Олениных; приезжают Сергей Голицын, поэт и композитор, страстный меломан, приятель Глинки, по прозвищу Фирс; Крылов, Гнедич. Грибоедова нет больше – он уехал в Персию, откуда не вернется.

Грибоедова провожали 6 июня; на следующий день уехал Вяземский. Через неделю – 14 числа – уезжал еще один член мужской компании – Николай Дмитриевич Киселев, дерптский товарищ Языкова; он едет в Париж, третьим секретарем русского посольства, но по пути собирается в Дерпт и зовет с собою Пушкина; Пушкин отправляет с ним письмо к Языкову со стихотворным посланием: «К тебе сбирался я давно…»**52**.

Июль, август.

Пушкин продолжает ездить к Олениным, а грозовые тучи уже сгущаются над его головой. До правительства только теперь дошла «Гавриилиада». Он вынужден объясняться с верховной властью и успокаивать семейство Олениных, где с ним говорят холодно и даже резко. Он – «вертопрах», без состояния, без положения в обществе; мало того, он – неблагонамеренный.

С родителями он почти что в разрыве, но любовь к дочери не исчезла.

Он стремится отвлечься, ухаживает слегка за Закревской; эта женщина, вскружившая голову Баратынскому, в Петербурге. У Олениных повторяют ее имя. Аннет записывает в свой дневник стихи о ней Баратынского: «Как много ты в немного дней Прожить, прочувствовать успела…»

Пушкин пишет о ней «Портрет» – стихи о «беззаконной комете» – и, кажется, «Наперсника».

В сентябре он зайдет к Олениной попрощаться: он собирается в деревню – «если у него хватит духу», добавляет он.

Тонкая элегическая грусть окрашивает его прощальные стихи к Олениной – «Город пышный, город бедный…»

Все эти стихи, перечисленные нами, все решительно, появятся в дельвиговском альманахе; «26 мая 1828» будет оставлено для следующей книжки.

И, вероятно, в эти же месяцы Пушкин становится невольным соавтором еще одного произведения, напечатанного в «Северных цветах».

Однажды, поздним вечером, он рассказывает у Карамзиных сказку о «влюбленном бесе». Эту новеллу он уже раз рассказывал – в 1825 году в Тригорском, собрав в кружок дамское общество; А. П. Керн вспоминала много лет спустя этот рассказ – «про *Черта,* который ездил на извозчике на Васильевский остров». Романтическая гофманиада, давний его замысел, оставленный им, воскрес в его памяти теперь, когда он, случалось, проводил вечер у Карамзиных, и все семейство слушало его с охотой и удовольствием. На этом вечере присутствовал и В. П. Титов, оставивший на сей раз свой обычный сдержанный скептицизм;

воротясь домой, он не мог заснуть всю ночь; его преследовали мастерские вымыслы с апокалиптическим числом 666, черти, играющие на души, рога, зачесанные под высокие парики. Он не успокоился, пока не записал новеллу, не отправился с тетрадью к Пушкину в Демут и не убедил его прослушать все от начала до конца. Пушкин сделал какие-то поправки и отдал все в полное его, Титова, распоряжение.

Эту повесть – «Уединенный домик на Васильевском» Титов отдаст Дельвигу по его возвращении**53**.

«Северные цветы на 1828 год» расходились тем временем за пределами столиц. В марте П. А. Катенин, высланный за пять лет до того из Петербурга за вольнодумство и фрондерство и с тех пор живший в своем сельце Шаево Костромской губернии, находит книжку альманаха у своего двоюродного брата и обнаруживает упоминание о себе. Отзыв был благожелателен, но содержал и упреки стихам в «Андромахе», и Катенин дал волю своему раздражению.

Он уже потерял почти все свои литературные связи, и один Н. И. Бахтин вел с его ведома нескончаемую полемику в его защиту с петербургскими и московскими журналистами. Сам он был в Петербурге в последний раз в 1827 году, виделся с Каратыгиными и с Пушкиным и тогда же начал писать большое стихотворение «Старая быль», о котором рассказал Бахтину и еще кое-кому из литературных знакомцев, – например, брату Языкова Александру Михайловичу**54**. Со второй половины года он снова засел у себя в деревне и демонстрировал презрение к современной словесности; за отзывами о себе следил, однако, внимательно и «Старую быль» продолжал писать. Стихи вырастали на автобиографической основе и в них была «ar– rière pensée», – аллюзия, задняя мысль: за двумя певцами, греком и русским, вступившими в состязание при дворе князя Владимира, угадывались современные литераторы. Грек, в сладостном песнопении восславивший царя и двор, был едва ли не Пушкин, с его «Стансами», русский певец-воин, отказавшийся от своей песни, чтобы не участвовать в позорном прении, был сам Катенин. Блестящие стихи «Старой были» играли красками почти памфлетными, и Катенин приложил к ним комплиментарное посвящение Пушкину, где впрочем, задел слегка «молодых романтиков» и «прославленного, пренагражденного» историографа Карамзина. Смысл «Старой были» тем самым как будто смягчался или даже изменялся, и Катенин, хотя не без колебаний, собирался послать ее самому Пушкину**55**. Он так и сделал; не зная адреса, он отправил письмо Погодину в Москву, с просьбой доставить по назначению, и Погодин тогда же переслал все в Петербург.

В мае в руках Пушкина находились уже и «Старая быль» и «Посвящение», и письмо Катенина, где он хвалил и «Онегина», и «Нулина», и портрет, приложенный к «Северным цветам», и предоставлял «множество» своих стихов в полное распоряжение Пушкина с правом печатать их где и когда угодно, так как он сам, Катенин, ни с какими «журналистами и аль-манахистами» знакомства не водит. Этим правом Пушкин воспользовался буквально и пока что держал стихи у себя и не отвечал ничего. Катенин рассчитывал на немедленный ответ и его невероятная мнительность еще увеличивала муки ожидания.

Пушкин, однако, удерживал у себя стихи с намерением отдать их Дельвигу, – во всяком случае, он не послал их в «Московский вестник», как мог бы сделать. Привлечь Катенина к сотрудничеству было, как мы помним, давним его желанием, – но здесь был случай особый: требовался ответ, столь же комплиментарный и дипломатичный, но с недвусмысленным возражением, понятным Катенину. Площадкой для этой скрытой полемики мог быть только «свой» орган. Поэтому он отвечал через А. М. Каратыгину, что очень виноват, что летом ничего писать не мог, «стихи не даются», а прозой отвечать на послание Катенина нельзя, «но завтра, завтра все будет». Катенин ждал, досадовал и раздражался и начинал подозревать «Сашиньку» «в некоторого рода плутне», о чем не замедлил сообщить Бахтину**56**.

Тем временем к Пушкину продолжали стекаться чужие стихи. Вероятно, в июле или августе он получает письмо от Кюхельбекера.

Когда десять месяцев назад произошла их драматическая встреча на глухой станции, Кюхельбекера перевозили в арестантские роты Динабургской крепости. С тех пор он оставался в Динабурге. Ему было разрешено писать – только к родным; но он сумел нарушить запрет и писал к Бегичеву и Грибоедову. 10 июля он отправил письмо «любезным братьям поэтам Александрам» – Пушкину и Грибоедову, – не зная, что последнего уже месяц нет в Петербурге. Вместе с письмом он посылал несколько «безделок», сочиненных им в шлиссельбургском заточении**57**.

Нет сомнения, что это были стихи «Ночь», «Луна» и «Смерть», связанные между собою единой темой тюремного одиночества и тюремных воспоминаний.

В этих стихах даже и «arri è re pens é e» нет: это лирический дневник узника. Если решаться их печатать – а это немалый риск для издателя – то это можно сделать только в «Северных цветах».

И еще одно стихотворение Пушкин получает в эти месяцы – от Вяземского; со времени своего отъезда князь успел побывать в пензенских имениях и даже слегка увлечься провинциальной красавицей, молоденькой Пелагеей Николаевной Всеволожской; в письме от 26 июля он сообщал Пушкину только что написанный ее стихотворный портрет: «Простоволосая головка»**58**.

Пушкин собирает стихи для Дельвига – свои и не свои; он все более охладевает к «Московскому вестнику». 1 июля он пишет Погодину письмо, где ободряет издателя и оправдывается в «неизвинительной лени». Он обещает осенью выслать «оброк сполна», – пока же посылать нечего.

К 1 июля готов уже весь цикл «оленинских» стихов, «Не пой, красавица, при мне», главы исторического романа…

15 сентября приехавший в Петербург Шевырев получает у Пушкина «главу из романа для альманаха». Итак, снова «для альманаха»… «Здесь сотрудники „Московского вестника“ решительно не верные, – пишет Шевырев в Москву. – Это узнал я по опыту»**59**.

За весь 1829 год в погодинском журнале появилось восемь пушкинских стихотворений, причем одно из них – «Утопленник» – предназначалось, кажется, тоже для «Северных цветов». Во всяком случае, так думал Вяземский. Перед отъездом Шевырева за границу Пушкин подарил ему «Утопленника», перевод из «Конрада Валленрода» и несколько других стихотворений и советовал издать в особом альманахе – но Шевырев передал их Погодину**60**. Если бы он поступил по пушкинскому совету, «Московский вестник» располагал бы только тремя или четырьмя стихотворениями Пушкина.

В «Северных цветах на 1829 год» появилось семнадцать пушкинских произведений и два – в «Подснежнике» того же 1829 года.

Дельвиг предполагал остаться в Харькове до 10 июля, но судьба судила иначе. 8 июля скончался его отец, и ему пришлось задержаться в тульском имении. Он писал к Пушкину, писал к Сомову, и Сомов от его имени обращался к Языкову с просьбой и на следующий год поддержать альманах и если будут стихи, то доставить их через Булгарина**61**.

Во второй половине сентября Дельвиг приезжает в Москву**62**. Он останавливается в белокаменной уже второй раз в течение года, и на этот раз надолго – почти на две недели. Еще в июле, сидя в Харькове, он знал, что сделает это, и даже определил себе двухнедельный срок. За это время ему нужно было собрать литературную дань.

Он встречается с Вяземским и слушает его новые стихи, в том числе только что написанного «Русского бога». Вернувшись в Петербург, он будет цитировать в письме к Вяземскому строчку этого стихотворения. Оппозиционные настроения не исчезли у Вяземского; напротив, кажется, окрепли, превратившись в устойчивое отвращение к официальной Рос-

сии. Оно прорывалось даже в письмах, посланных по почте, – и, конечно, он не скрыл от Дельвига своих симпатий и особенно антипатий.

Вместе с Вяземским он вторично посещает Василия Львовича Пушкина и слушает главы из «Капитана Храброва», которые и берет для «Северных цветов». Он проводит время у Полевого с Вяземским и Баратынским и забавляется экстравагантностями Сергея Николаевича Глинки, всем известного чудака старой Москвы, когда-то «Шатобриана московского ополчения 1812 года», а ныне цензора «Московского телеграфа», памятного своей честностью и полудомашним отношением к своему цензорскому званию**63**. У Баратынского он берет «Бальный вечер», который намеревается издать отдельно, и «сказку» «Переселение душ» – для альманаха**64**. Помимо них, Баратынский дал еще «Смерть», пять «антологических стихотворений» (в их числе такие знаменитые впоследствии, как «Мой дар убог и голос мой не громок» и «Не подражай: своеобразен гений»), «Деревню», «Старика» и, по-видимому, «Фею» и «Уверение». Два последних стихотворения были обращены к А. Ф. Закревской, и Баратынский отдал их Дельвигу, вероятно, не для печати, а для приватного чтения**65**.

Вяземский сообщал А. Тургеневу, что в «Северных цветах» будет «прекрасно рассказанная сказка Баратынского». «Будет много и моего», – добавлял он**66**.

Между тем Дельвиг увозил от него не так уж много, самое большее пять стихотворений: три коротенькие эпиграммы, «Послание к А. А. Б. При посылке портрета» и лирическую миниатюру – перевод из Т. Мура «Когда мне светятся глаза, зерцало счастья…». Одно стихотворение – «Простоволосую головку» он, как мы помним, послал Пушкину в июле; накануне же приезда Дельвига он отослал Пушкину для «Северных цветов» послание другой своей новой провинциальной знакомой – «Стансы. (Анне Ивановне Готовцевой)».

Анна Ивановна Готовцева (впоследствии по мужу Корнилова) была молодой поэтессой, с которой Вяземский встретился во время своей летней поездки в Кострому. Она уже успела напечатать несколько стихотворений, в том числе в «Телеграфе» и в «Литературном музеуме» В. В. Измайлова; самые ранние из этих стихов были написаны в 1823 году. Вяземский познакомился с ней у Юрия Никитича Бартенева, масона, философа, покровителя молодых дарований, известного всей Костромской губернии и даже Москве своими чудачествами; о нем ходили анекдоты. Вяземский хорошо знал его и ценил за ум и образованность; Готовцева принадлежала к числу бартеневских протеже**67**.

Когда «Северные цветы на 1828 год» достигли Костромы, Готовцева прочла в них пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания» и в них – рассуждение о женщинах. «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностию самой раздражительною, едва ли не отказала им в чувстве изящного. Поэзия скользит по слуху их, не досягая души… Вслушивайтесь в их литературные суждения, и вы удивитесь кривизне и даже грубости их понятия… Исключения редки». Этот психологический и эстетический этюд вызвал естественное сопротивление, и Готовцева написала стихотворный ответ, комплиментарный, но тем не менее полемический, в виде послания к Пушкину. Заметим, что авторство отрывка не осталось для нее секретом, – не Вяземский ли просветил ее?

В послании Вяземского к Готовцевой соединены две темы: женского очарования и поэзии. Стало быть, он отвечал Готовцевой; к стихам его, посланным Пушкину, Ю. Н. Бартенев сделал приписку. Об их ранних литературных взаимоотношениях мы знаем немного; сохранившееся в бумагах Вяземского письмо Готовцевой позволяет отчасти уловить тот тон доброжелательного покровительства с одной стороны и граничащей с робостью почтительности – с другой, какой установился в отношениях корреспондента и адресата.

«Я робею, не знаю, с чего начать и что сказать вам, – писала Готовцева Вяземскому, – все мысли мои начинаются и оканчиваются благодарностью, – но все, что я ни сказала бы, слишком слабо изобразит ее: она равняется чувству удивления моего к вам» (…) «Я не один

раз читала sta, viator! оно воскресило в памяти счастливую эпоху моей жизни, немногие часы, проведенные вместе с вами у почтеннейшего Юрия Никитича, который действительно был благодетельным *временем,* доставившим мне счастие видеть, слышать вас и получить впоследствии столько незабвенных знаков воспоминания вашего: портрет, книги (из числа которых две имею честь препроводить к вам), «Северные цветы», «Галатея» и наконец стихи мои, удостоенные столь обязательного внимания, – все наполняет меня такою благодарностью, которая превышает выражение.

Я с благоговейным вниманием перечитываю письмо ваше и стараюсь запечатлеть в памяти драгоценные советы, в нем заключающиеся. Снисходительное внимание ваше ободряет меня к возобновлению некоторых занятий моих, которые совершенно прекратила продолжительная болезнь и разные sta, viator! в лучших надеждах моих и желаниях! Пользуясь позволением, столь обязательно вами мне данным, я повергну к стопам знаменитого духовника моего первый поэтический грех мой»**68**.

Итак, провинциальные вояжи Вяземского, которые он в письме к Пушкину шутя сравнивал с гастрольными поездками спавших с голоса артистов, приносили литературные плоды. Его усилиями скромная костромская поэтесса была вызвана на страницы «Северных цветов» – и он же еще раз заставил ее имя прозвучать в русской литературе. Письмо, на которое отвечала Готовцева, письмо, содержащее литературные советы и наставления, нет сомнения, и было тем известным «письмом к А. И. Готовцевой», отрывок из которого Вяземский напечатал годом позже в альманахе «Денница» и которое заняло свое место в истории русской критики тридцатых годов.

Теперь же Вяземский отправлял ее стихи в дельвиговский альманах вместе со своими и просил «мадригала» от Пушкина, чтобы поместить стихи начинающей между двумя ободряющими посланиями известных поэтов. Забегая вперед, скажем, что так и произошло. В «Северных цветах» появились два послания Готовцевой к Пушкину и к Ю. Н. Бартеневу – оба 1828 года. После них она опубликовала, кажется, только четыре стихотворения и навсегда ушла из литературной жизни. От нее не осталось почти ничего, кроме небольшой тетради стихов, в том числе неизданных, – тетради, относящейся к 1851 году, да редких упоминаний о ней в биографии поэтессы Ю. В. Жадовской, которой она приходилась родной теткой.

Дельвиг слушает историю Готовцевой у Вяземского и, вероятно, увозит с собой ее стихи, – по крайней мере, стихи к Бартеневу.

7 октября, ввечеру, он возвращается в столицу.

Квартира Дельвигов – на Владимирской, в доме бывшем Кувшинникова, ныне Алферовского, в Московской части**69**. В том же доме в маленькой квартирке живет и А. П. Керн. Она помнила, как Пушкин, узнав о приезде Дельвига, приехал, перебежал через двор, обнимал его и целовал ему руки. Весь следующий день у него Вульф; он тоже обрадован и очарован приветливым добродушием барона; вместе они рассматривают привезенные стихи.

8 Петербурге – литературные новости; Пушкин пишет «Полтаву», пишет в упоении, по целым дням, ночью вскакивает с постели, чтобы впотьмах записать преследующие его строки. Он появляется у Дельвигов, у Керн, повторяя только что написанные и особенно запомнившиеся стихи:

И грянул бой, Полтавский бой…

13 октября он читает Вульфу почти оконченную поэму, и 16 октября переписывает в беловую тетрадь третью песнь. Теперь он может дать себе отдых**70**.

18 октября он заезжает к Дельвигам, чтобы поправить стихи, предназначенные для «Северных цветов»**71**. Следующий день – 19 октября, лицейская годовщина; прямо с вечера Пушкин уезжает в деревню.

В доме Дельвигов возобновляется литературная жизнь, и Вульф вносит свою лепту. Егор Аладьин, издатель «Невского альманаха», приносит ему письмо от Языкова: Языков прислал послание Вульфу**72** стихи для Аладьина. Вульф недоволен: Языков дает Аладьину слишком много. Оборотливый издатель просьбами и услугами сумел-таки заставить Языкова работать на себя. Языков сосватал ему и стихи Вронченко, дерптского своего знакомого, отдавшего в «Невский альманах» перевод из «Дзядов» Мицкевича и несколько переводов из Томаса Мура**73**. Этого Михаила Павловича Вронченко Вульф тоже знал по Дерпту и, вероятно, встретился с ним, когда тот ненадолго приехал в Петербург – в марте – апреле 1828 года. Из числа «ирландских мелодий» Мура, переведенных Вронченко, две появились в «Северных цветах».

Послание к Вульфу по случаю намерения его ехать на театр военных действий тоже будет в «Северных цветах». Наконец, 3 ноября приходит еще одно послание – на этот раз к самому Дельвигу.

Языков уплачивал Дельвигу свои поэтические долги.

В его послании был след литературной полемики. Николай Полевой задевал его в «Телеграфе»; поэзия вина и буйной юности казалась ему мелкой и однообразной. Языков отвечал в июне в другом послании к Вульфу – «Не называй меня поэтом…»; теперь он, подобно Баратынскому, поднимал голос против площадной толпы журнальных судей, этих крикунов торговой словесности, в защиту независимой и свободной поэзии. Теперь и он готов был пополнить ряды «союза поэтов», отправляя свое послание в его литературное средоточие – «Северные цветы».

Дельвиг читает вместе с Вульфом стихи Языкова – старые и новые; Вульф показывает ему и те, которых он не знал. Дельвиг не вполне доволен: стихи слабые, годятся только для эпиграфов. Вульф соглашается, хотя вообще к стихам друга пристрастен.

3 ноября они читают и другие пьесы, предназначенные для альманаха: Пушкина, Баратынского, Дельвига, Вронченко. Они уже прошли цензуру, альманах готовится к печати. Своего Дельвиг дает совсем мало: хор, написанный в Харькове, «русскую песню», «Сон» и «Романс» («Одинок месяц плыл…»). Он показывал Вульфу и «пастушескую идиллию», «Конец золотого века», но в книжке почему-то не поместил; может быть, приберегал для издания «Стихотворений». Идиллия Вульфу особенно нравилась, как, впрочем, и другим: Баратынский из Москвы спрашивал, не печатает ли ее Дельвиг в альманахе, и очень советовал это сделать**74**.

Вульф упоминал еще об одном произведении для «Северных цветов», прочитанном им, вероятно, в это же время: о сцене из Шекспира, «признании в любви Ромео и Юлии, когда ночью, из саду, Ромео через окно разговаривает с Юлиею»; он считал эту сцену одной из лучших у Шекспира и вспоминал с удовольствием, как удачно передал Плетнев «простоту, невинность и силу чувств Юлии»**75**. Итак, Плетнев завершал переводами из Шекспира свой поэтический путь; сцена будет заключать поэтический отдел альманаха, и Плетнев не поставит под ней своего имени. Эпоха стихов для него оканчивалась.

Произведения, названные Вульфом, были в руках у Дельвига уже в первой половине ноября. 8 числа С. А. Соболевский, прогостивший у Дельвига неделю, проезжал за границу через Дерпт и рассказывал Языкову, что в «Северных цветах» будет множество стихов Пушкина и что Дельвиг сердится на него за «непроходимое молчание на Парнасе»**76**. Языков полагал, что Дельвиг, как всегда, выпустит книжку «к святой неделе» – к пасхе, но на этот раз издатель «Цветов» вознамерился, очевидно, успеть к новому году. В ноябре Пушкин присылает ему одно за другим два письма со стихами. Он написал в деревне «Ответ Катенину»

– на послание, с ядовитыми комплиментами; с тонкой иронией он отказывался следовать по пути Катенина и уступал ему, затравленному литературными врагами, свое место на русском Парнасе. Кубок с волшебным поэтическим питьем, столь обязательно предложенный ему Катениным, он предлагал ему опорожнять в одиночку и пожинать «с похмелья» лавры Тасса и Корнеля.

Героическая фигура, сведенная с пьедестала, обнаруживала почти жалкую манию величия – но жало убийственных сарказмов было увито лавровым венком.

Пушкин прислал и ответ Готовцевой – с холодными комплиментами. Он решительно не мог понять, чего хочет от него незнакомая ему поэтическая девица и в чем она его упрекает, – но выполнял просьбу Вяземского и соблюдал ритуал посвящения таланта в столичные литераторы**77**.

Кажется, Пушкин представил свой поэтический оброк полностью. Теперь Дельвигу оставалось договориться окончательно с Баратынским. Ему очень не хотелось лишаться стихов к Закревской, и он просил Баратынского разрешения напечатать их хотя бы анонимно. Баратынский не соглашался: он читал их в Москве, и снятие имени еще увеличивало двусмысленность его положения. Он настойчиво просил исключить две «известные пьесы» и обещал взамен новое стихотворение под названием «Бесенок». Скрепя сердце, Дельвиг должен был уступить, и Баратынский выполнил обещание. Он прислал стихи почти в последнюю минуту, когда книжка альманаха уже печаталась. Сомов привозит «Бесенка» цензору 18 декабря**78**.

К концу ноября книжка альманаха сложилась почти полностью. Дельвиг мог быть доволен: с 1825 года у него не было такого разнообразия и изобилия. Он получил от Крылова три басни и маленькое стихотворение. Крылов был верен себе: он никому не давал новых басен и лишь для Дельвига делал исключение. Он готовил в это время новое издание, и из припасенных в нем новинок (21 басня) подарил Дельвигу четыре и одну в 1830 году отдал Полевому. Мелких же своих стихотворений он вообще предпочитал не печатать, но опять же Дельвиг сумел получить три из них.

«Бритвы», «Бедный богач», «Пушки и паруса» – три превосходные басни – появятся в «Северных цветах на 1829 год».

Жуковский опустошал для Дельвига свои закрома. Он почти ничего не писал после возвращения из-за границы; лекции наследнику поглощали все его время и силы. В сентябре он пишет Тургеневу, что переводит отрывки из «Илиады» по немецкому переводу Фосса. Еще восемнадцать лет назад он начинал так читать Гомера; теперь он вернулся к старому замыслу, чтобы попробовать свои силы в переложении**79**.

Он отдает в «Северные цветы» балладу «Торжество победителей» – ею и начинался стихотворный отдел, – «Видение» («Блеском утра озаренный…») и несколько позже «Море» и отрывки из «Илиады». Относительно последних он не уверен – годятся ли?**80**

Дельвиг берет отрывки, хотя брать их рискованно: Гнедич может усмотреть в этом конкуренцию себе. Правда, отношения с Гнедичем дружеские – и у Дельвига, и у Жуковского – и «Илиада» его закончена; все в Петербурге об этом знают и ждут выхода книжки со дня на день. Но Гнедич, хотя и окреп на юге, все еще не вполне здоров, и его мнительность не уменьшилась. Правда, Жуковский специально оговаривает в печати, что его перевод – не с подлинника, что это лишь отдельные отрывки, связанные воедино его собственными стихами, и что их и нельзя и не должно сравнивать с переводом Гнедича, передающим самый дух подлинного Гомера, – все же положение щекотливо, пока гнедичева «Илиада» не явилась в свет.

Как и следовало ожидать, Гнедич не простил Дельвигу этой опрометчивости. Он получил от него книжку в самый день нового года и вернул ее столь поспешно, что Дельвиг не успел еще встать с постели. При этом он послал рассерженную записку, где горько укорял

автора и издателя и отказывался даже видеться с ними, пока не будет напечатан его собственный перевод. Пушкин смеялся этой размолвке и сообщал Вяземскому, что Гнедич сердится, как откупщик на контрабанду**81**.

Дельвиг достал и два неизданных сочинения покойного Веневитинова: отрывок из романа «Три эпохи любви» и «Завещание»; эти последние стихи появились у него около середины ноября: 18 ноября Сомов отсылал их цензуровать к Сербиновичу – и петербургский цензор пропустил их, ничего не меняя**82**. Московский был строже и две строки поправил, испугавшись слов «вольный дух». Это было в 1829 году, когда московские друзья готовили первую часть собрания сочинений Веневитинова; дельвиговская публикация, как и в случае с Крыловым, была преддверием книжки.

Цензурование в этом году идет, кажется, благополучно: новый цензурный устав, вступивший в силу 22 апреля, предписывает цензорам смотреть на явный смысл сочинений и не выискивать скрытых намеков. Купюра сделана, кажется, только в «Старой были», где идет речь о скопце-греке. Зато не ослабляет строгостей духовная цензура. Она задерживает «Видение Иоанна» Ротчева, и, что еще более важно, с оглядкой на нее Сербинович не пропускает двух строк Баратынского в стихах, посвященных Мицкевичу, где певец характеризуется строками священного писания. Это стихотворение особенно заботит Сомова: он убеждает цензора, что кощунства в нем нет, что высокий предмет требует высоких слов. Он докучает Сербиновичу 27 ноября, потом 6 декабря – пока, наконец, цензор не выносит стихи на заседание комитета и тот не соглашается их пропустить**83**.

Отдел прозы уже почти собран: в нем обзор Сомова, Веневитинов, глава из исторического романа Пушкина, Булгарин. Пушкин и Булгарин рядом; соседство для Пушкина не совсем желательное – но дело в предмете. Булгарин дал исторический отрывок о Петре – «Петр Великий в морском походе к Выборгу». Далее – анонимная статья «О новоустроенной церкви при Обуховской градской больнице» – обязательная статья памяти только что скончавшейся вдовствующей императрицы Марии Федоровны (больница – ее филантропическое учреждение) и, наконец, какая-то статья П. П. Свиньина.

Тогда-то, в конце ноября 1828 года, Титов приносит Дельвигу «Уединенный домик на Васильевском».

Дельвиг доволен повестью; он требует немедленно ее напечатать. Места в альманахе уже нет – и он жертвует статьей Свиньина. Сомов возвращает автору статью с дипломатическим изъяснением причин; он жалуется, что вновь поступившая повесть оказалась «отменно длинной, длинной, длинной» и благодарит Свиньина, как и полагается, «за приятный подарок»**84**.

Покровительство Дельвига, впрочем, не избавит Титова от чувствительных уколов самолюбию: критики нападут на его повесть, а Жуковский, не подозревавший об авторе, скажет Дельвигу в его присутствии: «охота тебе, любезный Дельвиг, помещать в альманахе такие длинные и бездарные повести какого-то псевдонима…»**85**

Уже альманах не вмещает желающих – но место для постоянных участников находится. К декабрю Дельвиг получает басню А. Е. Измайлова «Скупой и окулист»; бывший издатель «Благонамеренного» вице-губерна-торствовал в Архангельске и возвращался к литературной жизни. Подал голос из Тихвина и элегик Александр Крылов, казалось, уже вовсе умолкнувший; П. А. Плетнев, прежний его приятель, три года назад пытался вернуть его к поэзии. Крылов прислал два маленьких стихотворения – «К клену (Подражание Парни)» и «А. А. К-ой», – едва ли не последнее, что известно нам из его стихов: на него уже надвигалась смертельная болезнь**86**.

Приходит отрывок из «Дон-Карлоса» Шиллера, переведенный П. Ободовским, 15-я ода Горация – «Прорицание Нерея» В. Вердеревского и, наконец, Вяземский: «Выдержки из записной книжки» и стихи. Все это печатается в конце поэтического отдела.

О. М. Сомов – К. С. Сербиновичу

Милостивый государь Константин Степанович!

Между несколькими стихотворениями К.<нязя> Вяземского, А. Е. Измайлова, Ободовского и прочих, препровождаю к вам снова Хор Барона Дельвига, к которому сочинитель приписал примечание. Не желая ничего печатать без вашего ведома, даже и самых мелочных примечаний, представляю на утверждение ваше и сие. Если можно, я пришлю к вам завтра – и что можно попрошу вас нам доставить. С совершенным почтением и преданностию имею честь быть ваш, Милостивого Государя, покорнейший слуга О. Сомов. 9 декабря.

P. S. Присовокупляю еще прозу К.<нязя> Вяземского: если можно, благословите и ее к завтрему. Очень меня обяжете; ибо завтра кончается у меня печатанием последняя прозаическая статья**87**.

Отдел прозы печатается; тем временем литературные события развиваются стремительно.

В ноябре 1828 года в «Московском вестнике» появляется критика на «Историю государства Российского». Автор ее, Н. С. Арцыбашев, некогда выступавший со своими историческими сочинениями и развивавший идеи скептической школы, жил в то время в Цивильске Казанской губернии и вот уже тридцать лет как составлял свод летописных источников. Прочитав в «Московском вестнике» небольшую статью Погодина, оспаривавшую Карамзина, он вспомнил свои старые выступления против историографа и вооружился; он нападал на исторические неточности, на методологию карамзинской «Истории» и даже на ее слог. В отношении слога он был архаиком, убежденным и безнадежным. Противника своего он собирался уничтожить полностью; не только «скептическая школа», по и давно сошедшие со сцены воители «Беседы» вступали в последнее сражение. Здесь говорила и разница исторических позиций, и личная неприязнь.

Для Погодина это был спор об истории; для сторонников Карамзина – спор об общекультурном значении труда Карамзина.

Поэтому Погодин помещает статьи Арцыбашева в журнале, навлекая на себя резкие нападки. В начале декабря взбешенный Вяземский откликается в «Телеграфе» памфлетом «Быль», где переводит спор в литературный и культурный план. Даже друзья Погодина понимают, что дело идет об этом и что выступление «Московского вестника» далеко перерастает рамки научных несогласий. В полемику с погодинским журналом втягивается почти вся московская и петербургская печать**88**.

«Северные цветы» уже заявили о своем отношении к Карамзину отрывком из пушкинских записок. Когда развернулась полемика, литературный обзор Сомова, написанный в последних числах октября**89**, был уже напечатан, и в нем не было ни слова о новом выступлении «Московского вестника». Лишь к середине декабря Дельвиг получает из Москвы антикритику.

Статью написал В. В. Измайлов, и Дмитриев, более других оскорбленный нападением на память его покойного друга, настойчиво просил ее поместить**90**. Впрочем, и сам Дельвиг должен был подтвердить раз занятую его альманахом позицию в отношении Карамзина.

Статья Измайлова «О новой журнальной критике» заключала отдел прозы.

В ней не было ни полемических выпадов, ни спора о частностях, хотя была сделана ссылка на памфлет Вяземского. Она была написана умеренно и благоразумно и по мере способностей автора развивала идеи, уже высказанные Пушкиным в прошлой книжке. «Писатели, способные быть органами мнения», говорят о Карамзине «с удивлением», замечал Измайлов и ссылался на пушкинский отрывок, – почти раскрывая аноним; он настаивал на

том, что критика, будучи родом литературной диктатуры, не должна быть в руках людей, ничем еще не доказавших морального на нее права. Самую же «Историю» Карамзина он рассматривал как национальное культурное достояние, которое заслуживает не ниспровержения, но уважения.

Статья Измайлова, конечно, была выступлением адепта, – но она повторяла хорошие образцы. Самая же история ее показывала лишний раз, насколько непрочно и не мобильно положение альманаха, если он хочет быть «органом мнения» в противоборстве общественных и литературных групп.

У пушкинского кружка не было своего журнала – и им не мог стать альманах «Северные цветы».

В книжке на 1829 год «Северные цветы» достигли своего полного расцвета.

Шестнадцать первоклассных стихотворений Пушкина – «Воспоминание», «Предчувствие», любовный «цикл» Олениной; антологические стихи Баратынского, «Торжество победителей» и «Море» Жуковского, басни Крылова, «Старая быль» Катенина, «Завещание» Веневитинова, Кюхельбекер, Языков… В прозаическом отделе – главы «Арапа Петра Великого…».

Все это принадлежало к лучшим достижениям литературы своего времени и надолго пережило свою эпоху.

Как и в прошлом году, альманах открывался литературным обозрением Сомова. Сомов слегка упоминал о полемике, которую вызвал прошлый обзор, но сам в нее не вступал. Как и ранее, он настаивал на мысли, что в литературе наступает век прозы и особенно ополчался на подражательные стихи. Среди поэтических новинок он выделял три новые главы «Евгения Онегина», «Наталью Борисовну Долгорукую» Козлова и первую главу поэмы «Андрей, князь Переяславский». Знал ли Сомов, что эта поэма написана Александром Бестужевым, прежним его приятелем? Трудно сказать; во всяком случае он недвусмысленно возражал Н. А. Полевому, критически разобравшему ее в «Телеграфе». Он защищал первую главу от упреков в «несообразностях» и подчеркивал то, чем Бестужев дорожил, быть может, более всего, – «знание старинного русского быта». Бестужев заметил этот отзыв, но не очень поверил ему: счел за комплимент**91**.

Среди прозаических сочинений внимание критика привлек «Двойник» Перовского и сочинения Булгарина. Отзыв о Булгарине был благосклонным, но сдержанным; Сомов хвалил ясность и точность его повествовательного слога, удачное изображение «странностей и пороков», и вместе с тем в его статье уже обозначался легкий абрис будущих критик. Неестественность «разговорного слога», искусственность персонажей, олицетворяющих «пороки», – все это упреки, которые последующая критика адресует булгаринским романам. Пока это только «Замечания» – но Булгарин уже раздражен. «О. М. Сомов хвалит сочинения Ф. Б., но таким образом, что при сем невольно приходит на мысль ежедневная молитва одного философа: “Господи! Защити меня от друзей моих, а с врагами я и сам кое-как управлюсь!”»**92**.

Однако главным объектом нападения Сомова стал «Московский вестник».

Если мы сравним эту часть его статьи с процитированным нами выше письмом Дельвига к Баратынскому, мы легко заметим прямую перекличку. В критике «Московского вестника» Сомов видит самонадеянность и ничем не оправданную заносчивость. Пример тому – суждение о стихах Баратынского, где речь идет об одном «механизме стихов», в ущерб всему остальному; как и Дельвиг, Сомов вспоминает при этом отзыв Шевырева о «Последней смерти». Он не забывает ответить и на критику в адрес «Северных цветов» и замечает ядовито, что Шевырев не напрасно требует смешать стихи и прозу: он сам напечатал в журнале свой перевод «Конрада Валленрода», сделанный «тощей и вялой прозой»**93**. Он напа-

дает на язык Шевырева и Погодина – и единственно в чем не согласен с Дельвигом – в оценке переводов Шевырева из Шиллера, которые склонен ставить очень низко.

Это было прямое, открытое столкновение, и если мы добавим к статье Сомова антикритику В. В. Измайлова, то получим почти журнальную войну.

В этой войне Сомов выражает не только свое мнение. Он опирается на письмо Дельвига, а в других частях своей статьи излагает мысли Пушкина или даже прямо говорит от его имени: так, он уведомляет публику, что от «Фавна и пастушки», напечатанной в «Памятнике отечественных муз» Б. М. Федорова, Пушкин отказывается сам как от стихотворения раннего и незрелого.

Обзор в «Северных цветах» перерастал, таким образом, обычные рамки обзора. Он должен был держать в себе частные заметки и рецензии и совмещать мнения разных критиков пушкинского круга. Наконец, Пушкин, Дельвиг и другие должны были передоверять свои суждения третьему лицу, не имея возможности выступить самостоятельно. Альманах не мог быть журналом.

Нужен был свой журнал – или, еще лучше, своя газета.

Глава V
«ОТЦЫ» И «ДЕТИ»

«Северные цветы на 1829 год» вышли в свет в последних числах декабря 1828 года**1**, и уже в это время Дельвиг начинает собирать следующий альманах.

Еще 3 декабря, когда книжка только начинала печататься, он писал Вяземскому, прося его доставить как можно скорее недосланные стихи**2**. Речь шла в первую очередь о стихах к Готовцевой, с которыми вышло какое-то недоразумение: Вяземский посылал их Пушкину, но Пушкин уехал в деревню и их не получил**3**. По-видимому, Дельвиг разыскал их сам, но теперь торопился Вяземский. Он прислал два отрывка из своих «путешествий в стихах» – «Саловку» и ставшую потом знаменитой «Станцию», увековеченную Пушкиным в «Онегине» и «Станционном смотрителе», с ее «sta viator!» – «стой, путник!», – превратившимся в ходячее речение. «Станцию» сам он особенно ценил и хотел бы видеть ее отпечатанной отдельно, оттиском, о чем и просил Дельвига. Но стихи Вяземского опоздали**4**.

Кажется, впервые у Дельвига собирался запас, как сказали бы теперь, редакционный портфель. Он был невелик; только что изданная книжка вобрала в себя все или почти все, что могли дать ему крупные поэты. Тем не менее начало было положено. Уже в январе у него возникает замысел новой книжки, которую можно было бы издать как раз «к святой неделе», в ставшее традиционным время выхода «Северных цветов».

15 января Сомов от имени Дельвига обращается с письмом к Языкову:

> О. Сомов – Н. М. Языкову Спб., 15 января 1829
>
> Милостивый Государь Николай Михайлович!
>
> Препровождаю к вам Северные Цветы и прошу их любить да жаловать, так как и их издателей. Что последних вы любите, о том заверил нас Булгарин, а *жаловать* их если будете так, как в нынешнем году – это будет истинно царское жалованье. А. Н. Вульф уехал в половине декабря колотить Турок; надеюсь, вы уже об этом знаете; но пришлось к слову напомнить о нем, ибо он был как бы толмачом между вами и нами: от него мы получали о вас весточки и ваши стихи. Бога ради, думайте, что он все еще в Петербурге, и позабывшись пишите к нам хоть на его имя, пишите да присылайте к нам щедрые ваши подарки.
>
> Скажу вам, что мы затеваем к светлому празднику еще небольшую книжечку: *Подснежник,* une esp èce de piquenique littéraire, <род литературного пикника>, там будет и Пушкин, и Баратынский, и Грибоедов, и Вяземский e tutti quanti <прочие>; надобно, чтоб и вы там были. Если вам полюбится цель сего издания, то пришлите нам несколько стихотворений, в нынешнем или в будущем месяце, но не позже начала марта: ибо к 1-му апреля книжка совсем будет отпечатана и выдана.
>
> Б. Дельвиг вам кланяется, благодарит за послание и поздравляет с новым годом; я также. Прося еще вас быть к нам щедрым и благодатным, имею честь быть с истинным почтением и преданностию
>
> ваш
>
> Милостивого Государя
>
> покорнейший слуга
>
> О. Сомов.

P. S. Адрес мой: у *Круглого рынка,* в д. Паульсона, на Мойке. – Б. Дельвига: во *Владимирской* улице, в д. Алферовского, бывшем Кувшинникова**5**.

15 января
1829
С. Петербург

Будет Пушкин, Баратынский, Вяземский, Грибоедов… Это обещание или предположение?

Грибоедова уже восемь месяцев нет в Петербурге. Но в столице полный список его комедии; он у Булгарина, которому дано право распоряжаться им по своему усмотрению. Вероятнее всего, Сомов рассчитывает получить от Булгарина отрывок.

Что касается Пушкина, то он только что вернулся из Москвы. О замысле альманаха он, конечно, уже знает; обещание сделано с его слов.

От Баратынского Дельвиг что-нибудь да получит; стихи Вяземского уже есть.

Но основной расчет все же не на старших поэтов. Дельвиг писал Вяземскому, что «предложил нашей молодежи издать “Подснежник”.

«Подснежник» был альманахом младшего литературного поколения.

О «молодых поэтах», собиравшихся у Дельвига, так или иначе говорят все мемуаристы, посещавшие дельвиговский кружок: Керн, Вульф, А. И. Дельвиг, наконец, Подолинский, который и сам принадлежал к числу «молодых поэтов».

Этот «второй ряд», «второе поколение» поэтов далеко уступал «первому» по таланту и литературному влиянию, но в истории кружка он был явлением необыкновенно характерным. Между тем знаем мы о нем мало; даже наиболее значительные из деятелей этого поколения, как тот же Подолинский, почти забыты и не имеют сколько-нибудь подробной и документированной биографии.

Мы знаем, впрочем, что некоторые из них принадлежали к числу воспитанников петербургского Благородного пансиона, вместе с Соболевским и Левушкой Пушкиным. В пансионе существовала школьная традиция. Она в чем-то повторяла традицию лицейскую и питалась лицейским преданием и даже личными связями. Пансионские поэты подражали Пушкину, и Левушка, Соболевский, Нащокин были живым связующим звеном между образцом и последователями; Кюхельбекер, преподававший в пансионе, сознательно и целенаправленно поддерживал эту связь. Во второй половине 1820-х годов она нуждалась уже в возобновлении; но некоторые пути к нему оставались.

У пансионеров не было «годовщин», какие были у лицеистов, – но и окончив обучение, они продолжали держаться «кружком». В «кружок» иной раз входили и лицеисты. А. Н. Струговщиков помнил, как М. И. Глинка, уже выйдя из пансиона, приезжал навестить товарищей; он сообщал и об окружении, в котором запомнил Глинку: Н. Лукьянович, Римский-Кор-сак, Подолинский и Илличевский. Илличевский – лицеист пушкинского выпуска; остальные – младшие товарищи Глинки: Корсак 1823 года выпуска, Подолинский – 1824 **6**. Это было в 1823 году, а в начале 1827 мы вновь находим Глинку в обществе Лукьяновича и Корсака. Всех троих занимает литература**7**.

А. И. Подолинский рассказывал, что он в молодости чуждался литературных знакомств и предпочитал им небольшой кружок прежних пансионских товарищей; эти сходки назывались «ассамблеями» и в них постоянно участвовал Глинка**8**.

Глинка, Корсак, Подолинский пишут стихи, но никто из них до 1827 года не печатается и никто не вхож в дельвиговский круг.

Так продолжается, пока из печати не выходит поэма Подолинского «Див и Пери» – в июне 1827 года. Выход ее был почти пансионской декларацией: ее издал учитель россий-

ской словесности Благородного пансиона В. И. Кречетов, со своим предисловием, где сочинитель, восторженно аттестуемый, был представлен публике как один из учеников издателя. Так был сделан первый шаг – и он оказался удачен: в «Московском телеграфе» появилась рецензия почти апологетическая; за Полевым последовали другие журналисты. «Северная пчела» сообщала, что «прекрасным стихам» «Дива и Пери» «отдавал полную справедливость один из отличнейших наших поэтов», – конечно, Пушкин**9**. Началась слава Подолинского – но самого поэта почти никто не знал. Пушкин готов был даже считать его имя псевдонимом.

Из петербургских литераторов знал его А. А. Ивановский, издатель «Альбома северных муз». Ивановский был давний семейный знакомый Глинок – и в его-то альманахе появились пансионские поэты – Подолинский и Корсак.

Сохранилось письмо Ивановского к Подолинскому, написанное 25 августа 1827 года и адресованное в Киев, куда уехал молодой поэт. Оно полно почти благоговейных, «кречетовских» восторгов. «…Продолжаете ли вы молиться музам и бережете ли благодать их – вдохновение, так роскошно и блистательно вас посещающее?» Это – о «Диве и Пери», поэме, которую сразу по выходе Ивановский поспешил послать давнему своему другу Ф. Н. Глинке**10**. Какое-то отношение Ивановский имел к этой поэме: вероятно, он наблюдал за выходом ее в свет. «Следуя обычаю, – пишет он, – вы прорекли мне благодарение, а я, следуя внушению сердца, возобновляю усерднейшую благодарность за честь, за удовольствие, за одолжение, которое вы мне сделали, вверив милое чадо свое в некоторую охрану первоначальных предосторожностей. Впрочем, оно так мило, умно, прекрасно, что и без посторонних очей попечительства взяло бы свое, достойное его». Он сообщает Подолинскому, что вся петербургская «премудрость»: Греч, Булгарин, Сомов, Дельвиг и Пушкин – жаждут с ним знакомства, – итак, Подолинский, как и сам он вспоминал впоследствии, еще не вошел в петербургский литературный круг. Он чуждался его – и даже впоследствии, став постоянным посетителем Дельвига, был едва знаком с таким близким к Дельвигу человеком, как Плетнев**11**. Наконец, письмо Ивановского сообщает, каким образом имя Подолинского впервые появилось в дельви-говском альманахе: «Если не скоро еще думаете вы покинуть негу юга и сладость ласк родных, то сделайте одолжение, пришлите что-нибудь для моего альманаха и для альманаха барона Дельвига. Нет сомнения, что у вас есть порядочный запас легких пиес; пришлите их ко мне, сделайте одолжение! Манускрипт я сберегу для возврата вам, а то, что надо будет пустить в альманахи, выпишем для себя»**12**.

Ивановскому Подолинский прислал восемь стихотворений; Дельвиг получил от него два – «Фирдоуси» и «Стансы».

Подолинский знаком с Корсаком и с Василием Николаевичем Щастным, которого в декабре 1827 г. приветствует в особом послании: «ты поэт и друг поэта». Щастный в Петербурге с февраля 1826 г. и служит мелким чиновником в Государственной канцелярии. Он был тесно связан с украинской литературной средой; его знакомыми были товарищи и учителя Гоголя по Нежинскому лицею – Кукольник, Любич-Романович. Щастный является в Петербург уже литератором и, по-видимому, литератором, связанным с польской культурой: недаром он окончил иезуитский коллегиум в Кременце, где учился когда-то И. Коженевский и где преподавал в 1820-е годы брат поэта Александр Мицкевич. Мы не знаем, как Щастный попал в альманах Ивановского, но он также дебютировал там и дал издателю шесть стихотворений – немногим менее, чем Подолинский. Среди них было четыре перевода из Мицкевича.

Двух дебютантов должны были связывать общие интересы и даже общие воспоминания: они были земляки, украинские уроженцы.

Подолинский вспоминал потом, что на вечере у В. Н. Щастного он впервые увидел Адама Мицкевича.

В «Северных цветах на 1828 год» были сделаны первые шаги к сближению. Затем Дельвиг уехал, и лишь с его возвращением Подолинский начинает посещать его вечера. 11 декабря 1828 года Вульф видит его у Дельвигов.

В это время и начинается та открытая и шумная жизнь дельвиговско-го кружка, о которой рассказывают нам воспоминания Керн. Два раза в неделю собираются лицеисты первого и второго выпуска: Лангер, князь Эристов, М. Л. Яковлев, Комовский, Илличевский; приходят молодые поэты – Подолинский и Щастный, «которых выслушивал и благословлял Дельвиг, как патриарх»**13**. Являются Сергей Голицын, М. Глинка; к литературе присоединяется музыка. Яковлев, помимо редкого дара имитации, был одаренным композитором и певцом; он восхищал даже Вульфа, мало чему удивлявшегося.

В «Северных цветах на 1829 год» – снова два стихотворения Подолинского: «Сирота» и «Два странника». В последнем – как и в «Фирдоуси» – речь идет о трагической судьбе поэта, на этот раз Торквато Тассо – кумира романтиков 1830-х годов.

В «Подснежнике» на 1829 год – уже шесть стихотворений Подолинского, в том числе «К**» и «Портрет», посвященные Анне Петровне Керн. Эти стихи заметил Пушкин, и они ему нравились, хотя он не упустил случая подтрунить над их мадригальной изысканностью и, вероятно, над чрезмерной пылкостью чувств их автора; он сочинил на них забавную пародию, – впрочем, ничуть не обидную**14**.

Сам он, однако, тоже напечатал в «Подснежнике» стихи, посвященные Керн, – «Приметы», которые он написал по возвращении, в феврале 1829 года. Анна Петровна не удержалась, чтоб не показать черновик этих стихов своему новому трубадуру, и Подолинского удивило число перечеркиваний и помарок: легкие строфы, как оказалось, стоили Пушкину немалого труда.

Зимой 1828–1829 года Подолинский, таким образом, осваивается с дельвиговским кружком уже до такой степени, что допущен за кулисы. В это же время здесь появляется и Щастный.

Он тоже печатает стихи в «Северных цветах на 1829 год» и в ноябре или декабре 1828 года уже почти что свой человек в доме; Вульфу и Керн запомнилась прогулка на тройках за город, в Красный кабачок, на вафли: зимней лунной ночью две лихие тройки промчались мимо петербургских дач в этот известный всей столице приют немецких ремесленников; в нем было почти пусто и лишь венгерский музыкант-арфист развлекал редких посетителей. Для Вульфа это был вечер, в который ему удалось победить сопротивление Софьи Михайловны, – и неизвестно, к чему пришел бы роман, если бы ему не нужно было уезжать. В этой-то поездке, совершенно интимной, участвовал Щастный – единственный из литературных знакомых Дельвига, если не считать Сомова, уже ставшего его постоянным спутником**15**.

Теперь уже почти весь пансионский кружок и близкие к нему литераторы собирались в доме Дельвига: Илличевский, Масальский, Глинка, Подолинский, Щастный… Но это не была вся литературная «молодежь».

В «Северных цветах на 1829 год» есть стихотворение «Тайна розы (Подражание арабскому)», подписанное «Барон Розен».

Этот Егор Федорович Розен, малорослый светловолосый немец, с певучим остзейским выговором, был фигурой примечательной. Еще в юности он писал латинские стихи и читал историков и философов от древности до нового времени. По-русски он не знал ни слова, но, будучи девятнадцатилетним корнетом, решился освоить язык и занялся им столь ревностно, что через несколько лет уже писал по-русски и даже сочинял стихи. Он уже печатался – в «Московском телеграфе» и «Московском вестнике», и Сомов поддержал его опыты в своем обзоре в «Северных цветах» – но еще до этого Розен появился в Петербурге. Он приехал в начале июля 1828 года с письмами от Шевырева к петербургским сотрудникам «Вестника»,

и В. П. Титов намеревался вести его к Пушкину – но визит не состоялся, и Розен уехал в Ревель**16**. Он познакомится с Дельвигом в 1829 году, когда будет издаваться «Подснежник».

И, наконец, Александр Павлович Крюков, молодой провинциал, только что появившийся в Петербурге. Он жил в Илецкой Защите Оренбургской губернии, изучал горное дело, математику и механику и писал стихи. Н. Литвинов, знакомый уже упомянутого нами И. А. Второва, приехал в 1822 году на службу в Илецкую Защиту. Он обратил внимание на юношу, который был предметом пересудов за господствующий в нем «сатирический дух». Юноша был умен и ревностен к наукам. Литвинову он понравился, и они подружились. Новый знакомый убедил Крюкова послать свои сочинения в журналы и сам отправил их к Второву с просьбой о содействии. Вероятно, Второв и отослал стихи к А. Е. Измайлову, в «Благонамеренный». Во всяком случае, с конца 1822 года в московских и петербургских журналах изредка появляются стихи, подписанные «*К. Илецкая Защита*» . Стихи были совершенно профессиональны, и иногда в них проскальзывала та ироническая нота, которая создала уже молодому поэту репутацию сатирика. И репутация, и дружба с приезжим чиновником стоили Крюкову дорого: конфликт его с илецкими приказными разрастался, и силы были неравны. В июле 1823 года он собирался вместе с Литвиновым перебраться в Самару. Чем кончилось дело, неизвестно; годом позже путешествующий по России П. П. Свиньин видел Крюкова еще в Илецкой Защите и упомянул о нем в «Отечественных записках». Следующая их встреча произошла уже в Оренбурге; в первой же половине 1827 года Крюков появляется в столице.

Одно из первых стихотворений, написанных им по приезде, – «Воспоминание о родине» – о заячьих травлях, сплетнях и картах, составляющих жизнь провинциальных помещиков, об обществе косном и удушливом, которое только что извергло его из своей среды. В стихах есть биографический штрих: он только что написал какие-то сатирические стихи и должен бежать от поднявшейся бури.

С этого времени две темы сплетутся в его стихах: тоска по родине и отвращение к ней.

Крюков поступает на службу столоначальником в департамент внешней торговли. У него уже составилась целая книжка – «Опыты в стихах». В конце января 1828 года она благополучно прошла цензуру – и не вышла; вероятно, молодой автор не нашел издателя.

В Петербурге он поддерживает знакомство со Свиньиным; сохранилась записка Крюкова, ему адресованная. Может быть, через Свиньина попадают его стихи в «Сын отечества»; может быть, тот же Свиньин доставил ему доступ в «Северные цветы».

В книжке на 1829 год есть одно его стихотворение – «Нечаянная встреча», шутливо и непринужденно пародирующее мотивы романтической лирики.

В «Подснежнике» будет три стихотворения с широким диапазоном интонаций – от лирико-элегической медитации до прозаической бытовой зарисовки ночного города, окрашенной тем же ироническим лиризмом.

Это был незаурядный по своим возможностям поэт и даровитый прозаик, не успевший раскрыться. Он умер, едва достигнув тридцати лет, – от болезни и от вина**17**.

Молодые поэты приходили к Дельвигу как из-за хозяина, так и из-за Пушкина и Мицкевича.

Мицкевич у Дельвигов оставлял свою замкнутость и становился оживлен и любезен. Иногда он вступал в спор с Пушкиным – то на русском, то на французском языке. Французский язык не был принят на вечерах Дельвига; говорили обычно по-русски. Подолинский присматривался к двум великим собеседникам: Пушкин говорил с жаром, Мицкевич тихо, плавно и логично. По временам он импровизировал – но не стихи, а рассказы, фантастические новеллы, которые особенно нравились слушательницам: сверхъестественное было в моде.

На одном из вечеров Щастный прочел «Фариса» Мицкевича, написанного недавно и еще не напечатанного. Мицкевич сам передал ему рукопись, и Щастный сделал перевод – на редкость удачный. Так считал Дельвиг и остальные слушавшие – и не ошибались: эти стихи оставили имя Щастного в русской поэзии. «Фарис» был первым стихотворением в новом альманахе.

Дельвиговский кружок вносил свою лепту в пропаганду творчества польского поэта.

В «Северных цветах на 1828 год» были напечатаны три «крымских сонета», переведенных Илличевским. Поэт, всю жизнь работавший над усовершенствованием языка «легкой поэзии», стремился придать своим переводам изящество и точность слога и преуспел. Знаменитые «Аккерманские степи», «Плавание», «Бахчисарайский дворец» превращались под его пером в явление русской поэзии, в своего рода вершины «антологической лирики» в понимании Илличевского.

В следующей книжке «Северных цветов» появляются «Стансы» И. И. Козлова – «вольное подражание» «Rezygnacja» Мицкевича.

«Фарис» в переводе Щастного принадлежал уже тому поэтическому стилю, который мы обозначаем условно как стиль «1830-х годов», «лермонтовский стиль» – экспрессивный, как само переводимое стихотворение с яркими чертами восточного колорита, с нерасчлененным, захватывающим читателя речевым потоком.

И еще один перевод из Мицкевича появится в «Подснежнике» – «Альпугара» из «Конрада Валленрода», романтическая баллада из только что изданной поэмы. Переводчик ее, Ю. И. Познанский, был близок с Н. Полевым, который познакомил его с Мицкевичем. Это было в 1826 году; к этому времени у Познанского уже было несколько готовых переводов из Мицкевича. Он показал их автору и кое-что напечатал в «Московском телеграфе». Выход «Конрада Валленрода» вновь заставил его взяться за перо. Как попал его отрывок в «Подснежник», мы не знаем точно; может быть, Познанский, наезжавший от времени до времени в Москву и Петербург (он служил в западных губерниях, а потом и в Кавказской армии) привез его сам; может быть, передал через друзей – поклонников Мицкевича – Полевого, Вронченко, Подолинского**18**.

Мицкевич становился как бы участником дельвиговских альманахов.

С переводом Щастного вышла, впрочем, маленькая неловкость. В «Подснежнике» к нему было сделано примечание: «Стихотворение сие, недавно написанное г. Мицкевичем, до напечатания на польском языке переведено по желанию почтенного поэта с его рукописи». В примечании в спешке была сделана ошибка, и Щастному пришлось публиковать «Предостережение». «В альманахе „Подснежник“, – писал он, – изданном недавно несколькими литераторами (а не бароном Дельвигом и О. М. Сомовым, ибо последний принял на себя только труд редакции), в примечании к переводу „Фариса“ (см. страницу 17-ю) вкралась опечатка, которую по уважению моему к сочинителю, во избежание неблагонамеренных толков, считаю долгом оговорить: уведомляю читателей означенного альманаха, что г. Мицкевич на перевод своего стихотворения никому ни желания, ни запрещения не объявлял, и что вместо „по желанию почтенного поэта“ следует читать „по желанию почитателей поэта“. В. Щастный»**19**.

Мицкевич уехал из Петербурга только 15 мая и, конечно, успел прочитать перевод Щастного и даже «Предостережение». В начале марта он подарил своему давнему почитателю два томика только что напечатанного петербургского издания своих стихов при дружеской записке**20**.

Щастный писал в «Предостережении», что «Подснежник» был издан не Дельвигом и Сомовым, а «несколькими литераторами». Таким образом, он как будто подтверждал, что альманах был выпущен в свет «младшим поколением» кружка Дельвига, как сам Дельвиг

писал Вяземскому. Инициатор альманаха и не мог бы заниматься его делами без серьезной помощи; всю зиму он был болен, семь месяцев его мучили лихорадка и ревматизм**21**. Тем не менее наблюдал за альманахом именно он: с его легкой руки «Фарис» Щастного попал на почетное место в книжке; он же читал повесть своего двоюродного брата «Маскарад» и остался ею недоволен, хотя и напечатал. Автор ее, Александр Иванович Дельвиг (1810–1831), погибший в 1831 году при штурме Варшавы, был молод и самолюбив; он напечатал под псевдонимом «Влидге» еще перевод «Ундины» и повесть «Село Ивановское» – в альманахе «Царское село» в 1830 году. «Маскарад» был подан Дельвигу анонимно; он не догадывался об авторе и высказал свои неодобрения в его присутствии; вспыльчивый кузен обиделся и на некоторое время перестал бывать в доме**22**.

Из числа старших литераторов в альманахе, как уже сказано, был представлен Вяземский. Вероятно, в руках Дельвига и Сомова были уже и сочинения Федора Глинки, все еще жившего в Петрозаводске. Тоска не покидала Глинку, здоровье его расстроилось, он просил о переводе в губернию с более умеренным климатом. За него хлопотали Гнедич, Воейков и Жуковский.

Между тем он продолжал писать, и карельская ссылка, как и для Баратынского, становилась для него нежданно источником вдохновения. В 1828 году он присылает в «Северную пчелу» «Письмо из Петрозаводска», в которое включает отрывок с описанием Кивача. Это были первые наброски «описательной поэмы» «Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой». Почти одновременно он работает над другой поэмой – «Дева карельских лесов».

В этих поэмах сложно сплелись тема изгнанничества, руссоистские поиски «естественного» человека, не тронутого тлением цивилизации, русская история и карельский фольклор, Державин, Рылеев и Баратынский. Из этой амальгамы вырастало высшее художническое достижение Глинки, его «Карелия», произведение свежее и неровное, с провалами и взлетами, банальностями и открытиями.

У Дельвига был отрывок из этой поэмы и еще «Листок из дорожных записок русского офицера на обратном пути в Россию». Вероятно, в начале года он располагал и произведением другого изгнанника и уже узника в прямом смысле слова – отрывками из трагедии «Ижорский» В. К. Кюхельбекера. Откуда он получил их – на этот счет мы можем только строить предположения.

Сам Дельвиг дал только одно новое стихотворение: «Русскую песню» («Сиротинушка, девушка»); два других произведения – «Хор из Колиновой трагедии „Поликсена“» и «Песня» («Дедушка, девицы») были старыми, девяти-десятилетней давности, но последнее стихотворение печаталось с нотами М. И. Глинки и из-за них.

Сомов дал в «Подснежник» пока только «Русалку», «малороссийское предание». Наконец, нужно было перепечатать из «Цветов» басню Крылова «Бритвы» из-за пропущенных двух строк.

В начале февраля подоспели стихи Языкова. Их привез Вульф, ненадолго опять заехавший в Петербург: он пробыл до 7 февраля и накануне отъезда прислал для «Подснежника» послание «А. Н. В<ульф>у на отъезд его в армию», – не целиком, а маленький отрывок из восьми строк, – и «Элегию» («Мечты любви, мечты пустые…»), написанную несколько лет назад. Итак, Языков все же откликнулся – но, как обычно, ничего не успел сделать до конца.

9 февраля Сербинович поставил на альманахе свою цензорскую подпись.

Теперь-то, собственно, и начиналась основная работа по составлению книжки – по неписанному закону вечно спешивших альманашников.

В феврале в Петербург приехала княгиня Зинаида Волконская. Она отправлялась в Италию с сыном и ждала С. П. Шевырева, который был приглашен воспитывать моло-

дого Волконского и должен был к ним присоединиться; он на несколько дней задержался в Москве.

С отъездом Волконской прекращал свое существование прославленный московский литературный салон. Баратынский, нередкий его посетитель, обратил к его хозяйке скорбные прощальные стихи. Дельвиг просил у нее разрешения поместить их в своем альманахе. Волконская согласилась**23**.

16 февраля, в субботу, приехал Шевырев**24**.

За двенадцать дней, что он оставался в Петербурге, он попытался возобновить или расширить литературные знакомства. В первый же день Мицкевич написал ему рекомендательное письмо к Жуковскому**25** – но как-то к Жуковскому ему все не удавалось попасть. Зато он побывал у Гнедича, Крылова, повидал Пушкина. Его принимали радушно, но воспоминание о неудовольствиях, полученных от петербургских литераторов, его не оставляло, и его письма в Москву походили на дипломатические реляции из враждебной страны. Он жаловался на всеобщее равнодушие – к «Московскому вестнику», к повестям Погодина – ко всему, что интересовало его самого.

24 февраля он отправился вместе с Пушкиным на воскресное литературное собрание к Дельвигу – и увидел, наконец, своих противников, задевавших его в «Северных цветах». Он говорил с Сомовым и после дружеских бесед ушел в убеждении, что доказал ему собственную правоту и его, Сомова, глупость, о чем с триумфом сообщил Погодину**26**. Он рассказал и о «Подснежнике» и о намерении Дельвига на барыш от альманаха устроить обед для петербургских литераторов и, может быть, даже выписать москвичей.

Он познакомился с Илличевским, с Подолинским, с «каким-то краснощеким Корсаком» – уже известным нам А. Я. Корсаком, приятелем М. Глинки. Он виделся с бароном Розеном и свел его, наконец, с Пушкиным в гостинице «Демут». Через несколько дней сам Пушкин пригласил Розена на дельвиговский вечер**27**.

Подолинский вспоминал потом, что, проходя через дельвиговскую гостиную, он увидел сидящих вместе Пушкина и Шевырева. «Помогите нам состряпать эпиграмму», – сказал Пушкин. Подолинский торопился, и когда вновь вернулся в гостиную, эпиграмма была уже готова. Это было «Литературное известие» с полемическим выпадом против Каченовского**28**.

Подолинский и Шевырев явно не понравились друг другу. Шевырев обронил в письме Погодину несколько пренебрежительных строк о своем новом знакомом; Подолинский не без яда заметил в своих мемуарах, что не стал интересоваться, насколько помог Пушкину Шевырев. С эпиграммой Пушкин справился один, тем более, что она не писалась экспромтом, а была старой, еще 1825 года**29**, – но и Шевырев со своей стороны внес в кошницу Дельвига посильный вклад: он написал стихи «Партизанке классицизма», поэтический ответ Александре Ивановне Лаваль, впоследствии Корвин-Коссаковской. Лаваль упрекала поэта, что он постоянно пишет о крови и ранах. Шевырев отдал эти стихи в «Подснежник»**30**.

В то время, когда происходил вечер у Дельвига, альманах собирался уже с большой поспешностью.

> «Милостивый государь Константин Степанович, – пишет Сомов Сербиновичу 19 февраля. – Препровождаю к вам еще несколько стихотворений для „Подснежника“ и еще небольшую прозаическую статью. Из стихотворений одно уже вам известное, барона Розена „Черный ангел“, которому по вашему замечанию дал я заглавие „Ангел смерти“. Сделайте одолжение, скажите, можно ли в таком виде его печатать? Кажется, еще очень немногим будем мы еще вас утруждать для „Подснежника“, ибо почти все уже для него собрано и начато печатание сей книжки. С совершенным

почтением и преданнос-тию имею честь быть ваш, милостивого государя, покорнейший слуга О. Сомов.

Февраля 19 дня 1829»**31**.

Типография уже набирала первые листы альманаха, а последние еще не были собраны, вопреки надеждам и уверениям Сомова. «Подснежник» был альманахом-спутником, внеочередным; в нем не было литературного обзора и того, на чем так настаивал Дельвиг для «Северных цветов», – разделения стихов и прозы. Чтобы соблюсти последнее требование, нужно было действительно составить альманах полностью, на что не было времени. Отказавшись же от строгого порядка, можно было еще в середине февраля включать подоспевшие материалы.

Так и происходило, и если мы сравним печатную книжку с теми реестрами стихов и прозы, которые посылает Сомов Сербиновичу, мы убедимся, что приблизительно с середины книжки произведения идут почти в том же порядке, в каком цензуруются.

О. М. Сомов – К. С. Сербиновичу 13 марта 1829

Милостивый государь Константин Степанович! Препровождаю к вам новую обузу стихов, по списку, приложенному на обороте, и повторяю всегдашний мой вам припев:

«Удостойте взглядом!»

Посланные же мною прежде пьесы покорнейше прошу возвратить. Вот оне, сколько могу припомнить: *Шевырева* Партизанке классицизма.

NB Если в ней вам дико кажется *царственной кровью* омытый кинжал, то сочинитель поручил мне царственную заменить *пламенной. Б. Розена* Прощальная слеза *Корсака* Иуда Песня

Прощальные поцелуи *Щастного* К**

Еще одна прозаическая статья, листов в пять писанных, еще несколько небольших стихотворений – и мы не станем более вас беспокоить для «Подснежника».

С истинным почтением и всегдашнею преданностию имею честь быть Ваш, милостивого государя, покорнейший слуга О. Сомов.

13 марта 1829

Стихотворения, при сем прилагаемые:

Б. Розена

Венценосной страдалице

Путь любви

Могильная роза

Пушкина В. Л.

Капитан Храбров, гл. I

Неизвестных

Ангел

Ветер

Любовь узника

Притчи**32**

Здесь нам следует остановиться. Под рубрикой «Неизвестных» скрыты стихи Кюхельбекера, видимо, только что полученные. Все они, кроме «Ангела», напечатаны анонимно в «Подснежнике».

«Ветер» и «Любовь узника» вместе со стихами, вошедшими еще в «Северные цветы на 1829 год», были позднее вписаны Кюхельбекером в особую тетрадь, названную им «Первое продолжение Песней отшельника». В этой тетради мы находим и «Ангела» – стихи о падшем

ангеле, возвеличенном страданием, и страдальце-поэте, которого утешили в изгнании его родные. Эти стихи были совершенно невозможны в печати – ни по политическим, ни по религиозным причинам. Если Сербиновичу был подан этот «Ангел» – он, без сомнения, не был пропущен**33**.

Вместо него в «Подснежнике» появилось другое стихотворение Кюхельбекера – «19 октября 1828 года» – о лицейской годовщине:

Воспомнит ли в сей день священный,
В день, сердцу братьев незабвенный,
Меня хотя единый друг?

Самая публикация этих стихов была ответом на скорбный вопрос Кюхельбекера. Союз поэтов продолжал существовать.

«Подснежник» печатался, и издатели не успевали за типографией. 15 марта Сомов вновь писал Сербиновичу. У цензора возникли колебания в связи с «Литературным известием» – не содержит ли эпиграмма «личности»? «Да что прикажете окончательно с застиксовскими журналистами? – спрашивал Сомов. – Благоволите ли дать им цензурное разрешение на объявление о их журнале? Скажите, что можно и чего нельзя напечатать?» Он исправил стихи Шевырева и теперь отсылал Сербиновичу эти два произведения заново и добавлял к ним свой рассказ «Оборотень», «Альпухару» Познанского и два стихотворения без подписи – «Песню» Языкова («Вот еще стакан заздравный…») и «Не наша сторона» Глинки. Из этих запасов, процензурованных Сербиновичем, не все пошло в «Подснежник»: материалов было слишком много даже и на второй альманах. «Не наша сторона» Глинки, «Путь любви» и «Могильная роза» Е. Ф. Розена появятся в следующей книжке «Северных цветов».

Сомов торопится. «…Моя слезная просьба: нельзя ли сделать отеческую милость, поскорее и если можно завтра же прислать мне обратно „Оборотня“ моего? ибо за ним дело остановилось в типографии, а у меня останавливалось за писцом, который пишет очень медленно и живет в Смольном монастыре»**34**.

В конце марта Сомов присылает Сербиновичу уже последние стихи для почти отпечатанного альманаха: «Венценосной страдалице» барона Розена и «Эпилог» Языкова.

«Эпилог» принес Аладьин; его текст был записан в письме Языкова к Вульфу, которое опоздало: оно было отправлено 9 февраля. Что же касается стихов, то это и был полный текст послания к Вульфу; издатели «Подснежника» могли убедиться, что они напечатали восемь стихов, а остальные сто двадцать с лишним остались в рукописи. Сомову пришлось спешно менять последние листы: он извлекает языковскую песню и вставляет на ее место «Эпилог», к которому делает примечание, что восемь стихов, доставленных издателям ранее, следует читать на странице 160. Теперь ему приходится и нарушить аноним, на сохранении которого настаивал автор: другого выхода не было.

«Песню» же он отдает Розену. Сохранилась ее копия, сделанная Сомовым и процензурованная Сербиновичем. На ней стоит помета: «Подснежник», зачеркнутая и исправленная на «Царское Село»**35**.

Попутно Сомов успевает еще отстоять стих «Спасаю божье дарованье», который Сербинович собирался было вычеркнуть**36**. Он боялся духовной цензуры и был осторожен: через несколько дней, 29 марта, он отправил туда аллегорию для «Северных цветов» «Бог действует в суде, но пребывает в милосердии». Ответа не было; он пришел, когда его уже перестали ждать, – 14 января 1831 года – и гласил, что статья, как «сущая басня» и притом

«несогласная с учением церкви», напечатана быть не может**37**. 4 апреля 1829 года новый альманах вышел в свет.

Орест Сомов рассылал участникам экземпляры «Подснежника» и «Северных цветов». Он писал Языкову, извиняясь перед ним за неисполнение его авторской воли и за то, что «Подснежник» «за спехом не успел еще принарядиться в праздничное свое платье»**38**. Языков, как всегда, сдержан и скорее недоволен: литературные труды дельвиговского кружка он ценит невысоко, хотя и поддерживает с ним приятельские связи. Только отрывок из пушкинского романа приводит его в восхищение: «подвиг великий и лучезарный»**39**. Брат его Александр Михайлович, его литературный оруженосец, высказывается решительнее. «Сев.<ерные> Цв.<еты>» я просмотрел, – пишет он Комовскому 1 февраля, – проза в них преподлейшая (исключая малозначущий впрочем отрывок Пуш<кина>), особенно же домик на В.<асильевском> Ост<рове> представляет прекрасный пример галиматьи; что за чудесное, что за Варфоломей, что такое графиня и люди в широких штанах? Я полагаю, что автор от власти (ст. 181) красоты сам сделался *скотиною,* если не родился в сем почтенном звании. В стихах более порядочного, особливо понравилась мне *быль* Кат<енина> и значение, которое имеет отдание преимущества раболепному Кострову да Bas-Empire перед поэтом; ему, как видится, и петь не дали! Эту пьесу я знал по началу и основной мысли от самого К<атенина>»**40**.

Итак, катенинские аллюзии были все же замечены, по крайней мере, друзьями. А. М. Языков искал их – все остальное было ему неинтересно. Между тем и сам Катенин получил экземпляр и «преучтивое» письмо от Сомова, где тот благодарил за «Старую быль», просил стихов для следующих книжек и сообщал, что послание к Пушкину сам адресат его счел за благо не помещать. Катенин дал волю своим сомнениям и подозрениям и уже много времени спустя прямо спросил Пушкина о причинах; Пушкин ответил, что, посылая «Быль» в альманах от себя, не мог приложить стихи с похвалами себе же. Катенин и тут продолжал подозревать, что дело не чисто и пришел, наконец, к выводу что «шутка… над почтенным Историографом» и «молодыми романтиками» была истинной причиной непомещения стихов. Как мы знаем уже, причины были глубже и многообразнее, но Катенин не вовсе ошибался: ирония над «пренагражденным» историографом была неуместна в «Северных цветах», только что выступавших как раз против этой официальной версии. Катенин напечатал отвергнутые стихи в собрании своих сочинений, но потом, перечитывая их, исправил на своем экземпляре как раз в этом месте, заменив «пренагражденный» на «преутомленный»**41**.

При всех сомнениях и колебаниях, Катенину открывалась возможность печатать свои стихи, и пренебрегать ею для него была слишком большая роскошь. Его литературные отношения были прерваны или испорчены, критика отзывалась о нем с неизменным скептицизмом, а в «Цветы» его прямо приглашали. Сомов выполнял давнее намерение Пушкина – привлечь Катенина. Поэтому Катенин решил отложить на время вражду с «молодыми романтиками» и согласиться на просьбу Сомова. Он написал ему через Бахтина и предлагал «Элегию», посланную недавно к Бахтину. «Элегия» была, как и «Старая быль», насквозь автобиографична – в ней говорилось об отвергнутом современниками и гонимом властителем поэте, гордо замыкающемся в своем собственном творчестве. Аллюзии здесь тоже были прозрачны: деспот Александр Македонский носил то же имя, что и покойный царь, выславший Катенина из Петербурга.

Эту «Элегию» Катенин хотел печатать у Греча – но Греч испугался и прямо сказал катенинским эмиссарам, что автор хочет его «подбить». После этого намерение Катенина напечатать ее в «Северных цветах» стало почти навязчивой идеей. Его поддерживало новое письмо Сомова, полученное им вслед за «Подснежником»: если верить Катенину, Сомов уверял его в совершенной перемене своих мыслей касательно его, Катенина, дарования, хва-

лил «на чем свет стоит» и «отрекался от Булгарина яко от сатаны». Катенин отвечал на это, что в таком случае не следует скрывать света истины под спудом и нужно вознести ему, Катенину, хвалу печатно.

В ожидании конца переговоров он всматривался в «Северные цветы» и «Подснежник» и находил в них вещи гораздо менее невинные, нежели его «Элегия». «Как любопытны три мелкие стихотворения Кюхельбекера (в цветах), написанные им, кажется, в крепости! Какая у этого несчастного молодого человека чистая однако ж душа! мне коли сгрустнулось, как я их прочел». Откуда он знал об этих стихах?

«В „Подснежнике“ помещены сцены из Кюхельбекера драматической поэмы „Ижорский“; в одной является Бука в виде обезьяны на престоле, в порфире и с пуком розог; и после этого бездельник Греч смеет пугаться за Александра Македонского…»

Катенин не обманулся в своих ожиданиях. В июле он получил от Сомова новое письмо с благодарностями за «Элегию», уже пропущенную цензурой. Теперь связь еще более укреплялась, и Катенин все более смягчался; он думал уже о том, чтобы поместить в «Цветах» свои «Размышления и разборы» – серию обширных статей о литературе от древности до нового времени. Для журналов, как он полагал, статья длинна, из альманахов «Северные цветы» теперь его устраивали более всего: они были, по его словам, «в моде и расходе»… [42] Катенин совершенно не представлял себе возможностей альманаха или попросту о них не думал: «Размышления и разборы» вряд ли уместились бы и на половине книжки.

Сомов вел переговоры с авторами и собирал материалы, а тем временем положение в петербургской и московской литературе менялось – и отнюдь не в пользу пушкинского кружка.

«Московский вестник» не оправдал надежд Пушкина. Да он и клонился к упадку: в 1829 году он был издан в четырех частях – уже почти как альманах. В следующем же году он прекратит свое существование.

Почти в то же время обостряются отношения Вяземского с «Московским телеграфом». Разногласия нарастали исподволь. Полевой уже начинал осторожную борьбу против дворянской литературы и культуры; его буржуазный радикализм развивался и крепнул. Вяземский все более ему мешал. Когда в июне 1829 года Полевой выступит с резкой переоценкой всей художественной и исторической деятельности Карамзина, произойдет разрыв**43**.

И тогда Полевой заключит с Булгариным союз против «литературной аристократии», «элиты» – Пушкина, Дельвига, Вяземского.

Что же касается Булгарина, то он укрепил свои позиции. «Северная пчела» дала достаточно доказательств своей благонамеренности, и Фон-Фок и Бенкендорф вписали себя в число ее защитников и ходатаев. Официальная поддержка обеспечивала газете монополию на политические известия – и тем самым исключительную популярность. Вся Россия – образованная, полуобразованная и почти необразованная – читала «Пчелку» и за малым исключением полагалась на ее суждение.

Исключением был сравнительно узкий круг образованного дворянства, преимущественно столичного.

И в этом узком кругу существовали уже совсем небольшие группы литераторов, издававших свои произведения, читательская судьба которых зависела от степени расположения к ним Булгарина. У них были и свои мнения о предметах литературы – в том числе и о сочинениях Булгарина – но они должны были оставаться под спудом.

В 1829 году выходят «Полтава» и два тома «Стихотворений» Пушкина; «Стихотворения» Дельвига, Козлова, Веневитинова; готовят издания своих стихов Катенин и Вяземский. Все эти книги должны будут поступить на суд «Северной пчелы».

Одновременно выходит роман Булгарина «Иван Выжигин» – и судьбу его решает та же «Северная пчела». Греч помещает о нем объявление, судя по которому «это произве-

дение единственное в нашей литературе», иронизирует Языков. Баратынский возмущается «неимоверной плоскостью» романа – но тут же вынужден заметить, что публике, кажется, того и надобно, ибо «разошлось 2000 экз. этой глупости». К 1831 году было продано уже семь тысяч, о чем с гордостью сообщал булгаринский же «Сын отечества»**44**.

Господа офицеры из Бобруйска благодарили сочинителя романа «небывалого на святой Руси». Провинциальные чиновники находили схожесть в описании канцелярий и восхищались смелостью, с какой сочинитель обличает взятки.

Роман был доступен для понимания: в нем было прямо сказано, где добродетель, а где порок, и добродетель неизменно торжествовала.

Успех «Ивана Выжигина» был неимоверен. Коммерческая, как сказали бы теперь, «массовая культура» торжествовала свои первые победы.

Это была целая эстетика, поддержанная всесильной рекламой, – и она грозила смести элитарную литературу пушкинского кружка. С появлением «Выжигина» она получала свой манифест, и борьба становилась неизбежной.

Еще в феврале 1829 года Шевырев сообщал Погодину, что Сомов «бранит Булгарина и пророчит о разрыве его с Гречем»**45**. Разрыва не произошло, и дельвиговский кружок тоже не порвал с Булгариным, хотя издатели «Северной пчелы» были явно недовольны обозрением Сомова. В письме к Катенину Сомов, как мы помним, опять «бранил Булгарина». Шел март месяц; в марте в книжных лавках появился «Выжигин». К концу месяца Дельвиг сообщает о нем Баратынскому в весьма важном и интересном письме, которое мы приведем целиком.

А. А. Дельвиг – Е. А. Баратынскому
Конец марта 1829 г.
С.-Петербург.

Душа моя Евгений. Пушкин верно сказал тебе, что я не имел силы писать к тебе, так занемог и трудно поправляюсь. Жду погоды – и не дождусь. «Северн<ые> Цветы» прошлого года доставь Василью Львовичу. «Подснежник» выйдет на днях. Я напечатал твои стихи к Зенеиде. Она согласна была, а ты дай, кому обещал их, другую пьесу. Я печатаю мои стихи; к Пасхе выйдут; в них ты прочтешь новую мою идиллию. «Борскому» подстать вышел «Выжигин». Пошлая и скучная книга, которая лет через пять присоединится к разряду творений Емина. Подолинскому говорить нечего. Он при легкости писать гладкие стихи тяжело глуп, пуст и важно самолюбив. Проказник принес мне «Борского» процензурованного и просил советов. Я посоветовал напечатать, другого ничего не оставалось делать, и плюнул. Разве лета его обработают. Дай Бог. Поцелуй за меня Полевова и Раича в лоб и попроси их продолжать, как начали, свои похвалы твореньям ничтожным. Прощай, душа моя, трудно писать. Целую тебя и Пушкина. Буду не осенью, а весною к вам. Книги, при сем приложенные, доставь князю Вяземскому. Поцелуй ручки у Настасьи Львовны. Твой Д<ельвиг>**46**.

Итак, уже в марте 1829 года в дельвиговском кружке идет брожение. В «Северной пчеле» еще хвалят «отличного поэта» Дельвига, рекламируют «Подснежник» накануне выхода, а по выходе называют «прелестным подарком к весне»**47**. Однако уже ясно, что отзыв о «Выжигине» в следующих «Цветах» будет критическим, и нужно ожидать разрыва. Но и в самом кружке назревают разногласия, в первую очередь с Подолинским, представителем «молодого поколения» поэтов. Шевырев еще в феврале слышал слова Пушкина: «Полевой от имени человечества благодарил Подол<инского> за „Дива и Пери“, теперь не худо бы от имени вселенной побранить его за „Борского“»**48**. «Борский», байроническая поэма с семейной драмой, с ревностью, с убийством по ошибке, вульгаризовала мотивы пушкинских

поэм; как в искаженном зеркале, она воспроизводила сюжетные схемы, легшие в основу в частности «Бала» Баратынского. Понятно, что Баратынский был недоволен поэмой: он воспринимал ее почти как пародию на себя. Страшная опасность эпигонства угрожала «пушкинской плеяде».

Дело осложнялось тем, что поэзия Подолинского поднималась на щит: он был популярен; его хвалили в «Северной пчеле», в «Телеграфе», в «Галатее» Раича. Он чувствовал себя самостоятельным, он смотрел на современную словесность с высоты своих двадцати двух лет и двухлетнего литературного опыта. Литературный суд Дельвига уже становился для него обузой, и он совершенно намеренно дал ему читать поэму только тогда, когда подготовил ее к печати**49**, – жест вежливого, но решительного бунта. Новое и старшее поколение переставали понимать друг друга.

Но общение продолжается – и с Подолинским, и с товарищами его по пансионским «ассамблеям». В конце июня Глинка с Корсаком едут вместе с Дельвигами, Сомовым и Керн на четыре дня на Иматру – в путешествие веселое и беспечное, описанное затем несколькими его участниками – Сомовым, Керн и Глинкой. Прогулка была литературной – Иматру воспевали Державин и Баратынский, и имя Баратынского было записано его рукой на окрестных камнях. Путешественники последовали его примеру и примеру бесчисленных туристов всех поколений. Они увидели седой поток водопада, перед ними вставали сумрачные и дикие скалы, так поражавшие воображение Баратынского. Обо всем этом рассказал Сомов в своих путевых очерках. Ямщик-финн пел песню; Глинка заставил его повторить напев и стоя записывал карандашом ноты; «Финская песня» легла потом в основу знаменитой баллады Финна в «Руслане и Людмиле».**50** Этих впечатлений Дельвигу хватило надолго; когда Валериан Шемиот уехал служить в Финляндию, Дельвиг говорил с ним о финской словесности и советовал употребить свободное время на изучение шведского языка: «Поэзия новейшая шведов богата и нова для нас, только начинающих постигать, что границы ее гораздо далее сухого поля французской словесности».**51** Он будет печатать в «Литературной газете» рецензии Розена на Бернарда фон Бескова и статьи о шведской поэзии, и тот же В. Шемиот переведет для него со шведского языка «Песнь лапландца».**52**

«Младшее поколение» кружка еще слушало литературные советы Дельвига. Корсак прямо подражает ему. Он пишет народные песни, известные нам сейчас по романсам Глинки, – «Косу», «Ночь осенняя, любезная», антологические стихи, романсы и баллады – без рифмы, со сложным метрическим рисунком – как «Иуда», напечатанный Дельвигом в «Подснежнике». Он зовет Дельвига к себе в гости, в дом на Торговой улице близ Театральной площади, где живет вместе с Глинкой; он немного робеет перед знаменитым поэтом и подшучивает слегка над своими старомодными пансионскими учителями – в том числе и над Кречетовым**53**. Со времени замужества О. С. Пушкиной связи Дельвига с пансионерами укрепляются: Н. И. Павлищев, пятью годами моложе жены, был пансионером, одного курса с Львом Сергеевичем; он занимался несколько литературой и музыкой и собирал у себя прежних товарищей.

Кружок расширяется, в него приходят и молодые лицеисты. Один из них стал близок к Дельвигу в последние годы. Это был Михаил Данилович Деларю, окончивший лицей с пятым выпуском 29 июня 1829 года и с августа того же года служивший в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий. Еще в лицее он писал стихи и подражал Пушкину, но еще более Дельвигу; говорили, что он был даже внешне похож на Дельвига**54**. В «Подснежнике» его имени еще нет; оно появляется в «Невском альманахе на 1830 год», собранном к осени, где приняли участие и другие уже знакомые нам по «Северным цветам» поэты: Щастный, Сомов и прочие. Вероятно, в это время он начинает бывать и у Дельвигов.

Число поэтов растет, растет и число лирических пьес. «Подснежник» был первым альманахом, отпочковавшимся от «Северных цветов», – первым, но не единственным. В 1829

году барон Розен замышляет свой альманах – и весь кружок готов помочь ему. Он берет в соиздатели Н. М. Коншина – старинного приятеля Баратынского, когда-то начальника его по Нейшлотскому полку; унтер-офицер ввел своего капитана в петербургскую литературу, и Коншин стал тогда подражателем Баратынского, его поэтической тенью. Он был короток и с Дельвигом, а когда в 1829 году стал правителем канцелярии главноуправляющего Царским Селом и поселился здесь, старые связи возобновились. Он написал Баратынскому, и тот поспешил ответить; обещал стихи, но немного: семейные хлопоты и несчастья отвлекали его от поэзии, и он писал мало. «…Чем богат, тем и рад, – предупреждал он, – братски поделюсь с тобой и Дельвигом». Он передавал поклон и Розену, с которым виделся мельком в Москве у Полевого и проникся расположением; «стихи его показывают человека не только с дарованием, но и с сердцем, и такие люди мне очень по душе»**55**. Вообще Розен «персона грата» в дельвиговском кружке; ему обещают стихи Жуковский, Дельвиг, Пушкин. «До приезда моего в Петербург, – пишет он Ф. Глинке, – я не знал ни одного русского литератора, т. е. лично, но в короткое время я имел честь познакомиться с Пушкиным, Дельвигом, Сомовым и недавно с Жуковским». «Одобрение сих достойнейших людей» вместе с «благосклонным отзывом» Глинки вознаградило Розена за «равнодушие <…> публики»**56**. «Я не хотел было печатать моей прозы, – признается он в другом письме, – но барон Дельвиг, Сомов и другие отзываются о ней с такой неумеренною похвалою, что сам начинаю думать, не понравится ли она и другим читателям»**57**. Розен любил скромно сообщать о чужих восторгах по своему адресу, но здесь он если и преувеличивал, то немного. Сомов, который, по собственным словам, был его «повивальной бабкой», писал о нем Глинке еще 10 апреля, посылая «Подснежник»: «Егор Федорович Розен, служивший в гусарах и теперь в отставке и здесь, подает большие поэтические надежды: вы бы подивились, слушая его остзейское коверкание русских слов в разговоре и чтении; но в поэзии его язык чист и промахов встречается очень мало»**58**. Пушкин тоже ценил его стихи и прислушивался к его литературным суждениям, хотя и не мог отказать себе в удовольствии спародировать его чтение: Керн вспоминала, как он цитировал на память «Венценосной страдалице», подражая его голосу и выговору: «Неумолимая! ты не хотела жить». Пушкин дал Розену антологические стихи в честь Дельвига – «Загадка», и педантичный классик не без опаски поправил один гекзаметр; Пушкин отнесся к исправлению благосклонно и, кажется, потом был доволен**59**.

В альманахе Розена и Коншина «Царское Село» были «Зимнее утро» Пушкина, две песни Дельвига – в том числе одна старая, посвященная Баратынскому и Коншину, был Баратынский, Ф. Глинка, Сомов, Щастный, Деларю, А. В. Мещерский – другой молодой лицейский поэт, однокашник Деларю, ему же и посвятивший свои стихи. Альманах открывался портретом Дельвига.

«Царское Село» было изданием, связанным с «Северными цветами» не только кругом авторов: Сомов и Дельвиг, по-видимому, прямо участвовали в его составлении. «Любезный Коншин, – писал издателю рассерженный Дельвиг, – альманах наш будет хорош и пьесами и наружностью, но выйдет ли к сроку, не знаю и даже сомневаюсь, если ты не прибудешь сюда и не привезешь денег. Надо деньги за портрет и печатание его и виньетки, надо денег переплетчику, надо денег Плюшару, который только согласился ждать до 1-го января, а он уж не за горами»**60**. Здесь идет речь, конечно, о «Царском Селе», с которым Коншин не может справиться без помощи Дельвига: в этом альманахе напечатаны портрет и виньетка, и только он – в отличие от «Северных цветов» – печатался в типографии Плюшара. И о том же альманахе и с тем же раздражением писал Коншину Сомов: он сообщал, что статьи в книжке распределял, по его мнению, Розен, а, может быть, Деларю, что «все ли пропущено цензурой, он не знает», что ему носят уже вторые корректуры и что он готов уладить какие-то дела с Плюшаром**61**. Итак, все хлопоты по «Царскому Селу» легли на плечи Дельвига

и Сомова; Коншин спрашивал у них о том, что он должен был бы знать сам, будь он хоть несколько сведущ в делах собственного альманаха.

«Северные цветы на 1830 год» тем временем собирались, и кое-что, как мы помним, у Дельвига было припасено еще от прошлой книжки: стихи Розена, Глинки; лежала, ожидая своей очереди, и процензурованная «Элегия» Катенина. «Младшее поколение» работало усердно, и парнасский родник не иссякал; его хватило и на «Невский альманах» Аладьина, и на «Царское Село», и на «Подснежник», и на «Северные цветы». Розен, занятый своим альманахом, добавил к прежним только одно стихотворение – «Венчальный обряд»; помощник его Деларю принес четыре («Поэт», «К Неве», «Ангелу-хранителю», «Слеза любви»); у него был неистраченный запас еще лицейских стихов. С двумя стихотворениями явился в альманахе Подолинский, одно – «Друзьям» – напечатал В. Шемиот. Это последнее стихотворение имело потом своеобразную судьбу: оно было приписано Рылееву, положено кем-то на музыку и распевалось в «рылеевских местах» – в Острогожске и Воронежском крае. Полагали, что Рылеев написал его при отъезде в Петербург**62**. Как обычно, свою лепту принес и Платон Ободовский: ему принадлежала «сельская элегия» «Эрминия».

Зато со старшего поколения петербургских поэтов Дельвигу в этот раз почти не удалось собрать литературной дани. Ни Крылова, ни Жуковского в альманахе не было; Гнедич был с Дельвигом в ссоре. Только один И. И. Козлов дал в «Цветы» два стихотворения, «К тени ее» и «Из Байронова ДонЖуана», да Измайлов снабдил Дельвига двумя баснями – «Скотское правосудие» и «Обманчивая наружность». Плетнев, писавший совсем мало, отдал в альманах еще одну сцену из «Ромео и Юлии» – к этому времени он перевел уже четыре действия**63**. В примечании к ней был напечатан фрагмент из «рукописного сочинения А. С. Пушкина» о Шекспире, по-видимому, неосуществленного. Дельвигу нужно было рассчитывать прежде всего на себя самого, и он отобрал для альманаха восемь стихотворений.

Здесь были, как обычно, антологические стихи («Четыре возраста фантазии», «Грусть», «Слезы любви», «Удел поэта»), фольклорные стилизации («Русская песня», «Малороссийская мелодия») и две новые идиллии. Одна из них – «Изобретение ваяния» была посвящена Василию Ивановичу Григоровичу, как обещал ему Дельвиг четырьмя годами ранее. Пластические искусства продолжали занимать и волновать его, и связи его с художниками не ослабевали. Когда в сентябре 1829 года М. А. Максимович приехал в Петербург, Дельвиг ведет его в Эрмитаж вместе с Сомовым и Лангером**64**.

Другая идиллия – «Отставной солдат» – была опытом так называемой народной идиллии.

Это был тоже давний замысел, который в свое время пытался воплотить и Гнедич в своих «Рыбаках». Баратынский вспоминал потом, что самая тема идиллии была подсказана Дельвигу Гнедичем. Но Дельвиг подошел к ней иначе: ему хотелось сохранить античное построение, но так, чтобы оно выражало строй мыслей и чувств, которые он находил в русском фольклоре. Он послал идиллию Баратынскому – и Баратынский понял замысел: он отмечал «слишком возвышенные» и «просвещенные» обороты и «греческий тон». Кажется, потом Дельвиг давал идиллию и Пушкину – и тот поправлял стихи**65**.

То, что Дельвиг напечатал в этой книжке своего альманаха, было лучшим из его созданий. И это стало его лебединой песней.

Больше он ничего не напечатает в «Северных цветах». Он как будто предчувствует это – и в его «Грусти» проскальзывает мотив смерти.

Дельвиг болен, и его посещают мысли о неудачно сложившейся жизни. Семейное благополучие его омрачено давно – и бесповоротно. Он видит, как сменяются увлечения Софьи Михайловны, – и замыкается в своем грустном одиночестве, из которого нет выхода. Но ему остаются еще друзья – и литература.

И он занимается своим альманахом, как занимался им в высшие моменты своего счастья.

Он напоминает Баратынскому, что намерен продолжать «Цветы», и просит прислать стихов, которые нужны ему не только для альманаха, а и для голодной души, питающейся «журнальными сухариками». «Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе что сделаю, да мне писать трудно.»**66**. 30 августа он отправляет письмо Вяземскому: «опять бью вам челом и прошу не оставить моего альманаха ни стихами, ни прозой». К этому времени он получил письмо от Пушкина и рассказывал Вяземскому, что Пушкин «ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади»**67**. Пушкин находился в Арзруме, но по пути заезжал в Москву и виделся с Баратынским и Вяземским.

Баратынский писал мало: он был озабочен своими семейными делами. Письмо Дельвига застало его в трудную минуту: маленькая дочь его была больна; спасти ее так и не удалось. Но он выполнил обещание и осенью прислал стихи.

Вяземский тоже переживал трудное время. Над ним сгущались политические тучи. О нем велась секретная переписка как о человеке злонамеренном и притом «развратного» поведения. Фон-Фок подавал Бенкендорфу записку о планах Вяземского вместе с Пушкиным и издателями «Московского вестника» предпринять в Москве политическую газету с тайными противоправительственными целями. Среди умышленных или неумышленных пособников «якобинцам» назывались Жуковский и Дашков, в это время товарищ министра внутренних дел.

Дашков получил записку на прочтение и ответил точно и резко. Он писал, что вся она есть следствие заведомой интриги, и угадывал авторов – это были «петербургские журналисты», боявшиеся конкуренции. Все это было очень похоже на истину: Вяземский, «Московский вестник», Жуковский – старинные неприятели или недоброжелатели «Северной пчелы», которая одна имела монополию на политические новости. К тому же и Булгарин, и Греч были знакомы с Фон-Фоком домашним образом.

Дашков сказал это первый, но и Вяземский был в том же глубоко убежден. Он писал московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну и назвал имена Булгарина, Греча и Воейкова; относительно двух последних, впрочем, потом стал сомневаться. С этого времени в пушкинском кругу на Булгарина стали прямо смотреть как на человека, связанного с тайной полицией. В марте 1829 года Баратынский писал Вяземскому, что «Иван Выжигин» заключает в себе лишь одну характерную черту: посвящение министру юстиции**68**.

Но Булгарин не был прямым политическим осведомителем, и все дело было сложнее. Он был политическим конформистом, но прежде всего литературным буржуа в феодальной России. Он не нападал, а защищался, сохраняя свою собственность – газету, подписчиков, покупателей. И здесь он не разбирал средств и искал сильных покровителей. Ясный ум Дашкова проник в мотивы его поведения.

Вяземский не мог прислать Дельвигу многого, потому что писал свою политическую исповедь, был встревожен неизвестностью будущего и жил то в Москве, то в пензенском имении.

Дельвиг получил от него одно стихотворение – «Слеза» – лирическую миниатюру, совершенно не выражающую того, что творилось с ним в это время.

Так обстояло дело с «петербургскими» и с «московскими» поэтами; кое-что, впрочем, Дельвиг получил из провинций. Неизменным вкладчиком был, конечно, Федор Глинка; по подсчетам московских журналистов, он в среднем давал в альманах 5–6 стихотворений. В дополнение к уже имеющемуся он прислал «Псалом LXVII», «Деву и видение», «Царь и мудрец» и прозу – «Вступление большой действующей армии на позицию при с. Тарутине» – мемуарный отрывок о 1812 годе. 29 октября Сомов благодарил его за прозу и «Деву и видение»: «прелесть и по созданию, и по милой, ласкающей слух мере стихов»**69**. Осенью

же издатели получили «Прощание с Адрианополем» Хомякова; эти стихи были написаны только 7 октября.

Неизвестно, когда и как были пересланы в альманах стихи двух Туманских. Оба они находились на юге. Василий служил в качестве дипломатического чиновника при главной квартире 2-й действующей армии (как и Хомяков, он побывал в Адрианополе; он участвовал в редактировании мирного трактата). Федор с 1828 года был чиновником канцелярии полномочного председателя диванов Молдавии и Валахии. В «Северных цветах» мы находим «Pensйe» В. Туманского – стихи старые, еще 1825 года, и его же «Спаси меня», написанные только в феврале. Что до Федора Туманского, то Дельвиг напечатал его «Родину», – точнее, перепечатал, быть может, сам того не подозревая: шесть лет назад беспечный автор поместил их в «Соревнователе» под анаграммой**70**.

К осени 1829 года стихотворный отдел альманаха, таким образом, был не особенно богат; значительно благополучнее было с прозой. Как обычно, Сомов писал обзор и, кроме того, дал народное предание «Кикимора». В издательском портфеле были мемуары Глинки, но еще большим приобретением был «Киргизский набег» Александра Крюкова. Скромный провинциальный поэт оказался прозаиком – и весьма даровитым: под его пером ожил военный быт киргизской степи, полуэкзотический и совершенно реальный, увиденный им воочию. За «Киргизским набегом» последуют отрывки из его романа «Якуб-Батыр» в «Литературной газете», затем «Рассказ моей бабушки» в «Невском альманахе» – и с этим последним произведением Крюков прямо подойдет к темам, животрепещущим для Пушкина. «Рассказ моей бабушки» станет одним из сюжетных источников «Капитанской дочки» – но уже в «Киргизском набеге» можно уловить некоторые, хотя и слабые, соприкосновения с пушкинским романом**71**.

И далее, на юг и восток – в Аравию – ведет читателя повесть Сенковского «Вор» – свободный пересказ арабского сюжета, сделанный блестящим знатоком подлинного Востока. Из близкого окружения Булгарина Сенковский последний, кто остается в «Северных цветах»; ни Греча, ни самого Булгарина уже нет; совершается перераспределение литературных сил.

В альманахе еще нет ни Пушкина, ни Баратынского; Вяземского нет или почти нет, но уже к концу октября издатели «Цветов» чувствуют себя уверенно. Они только что сошлись короче с Максимовичем, побывавшим в Петербурге, – и уже готовы помогать ему собирать альманах «Денница»; мало того, Сомов, вечно нуждавшийся в деньгах, намерен издать и собственный альманах**72**. Впрочем, на это у него не хватит времени. Он уже в хлопотах: материалы спешно идут в цензуру.

О. М. Сомов – К. С. Сербиновичу 30 октября 1829 г.

Милостивый Государь Константин Степанович!

В сем пакете препровождаю к Вам продолжение моего *Обозрения* и *три* пьесы в стихах. Не смею озабочивать Вас докучливыми моими просьбами; но если бы можно было Вам, т. е. если бы досуг Вам позволил просмотреть, к завтрашнему утру, напр. часам к десяти – один только этот лоскуток обозрения, по прежней и всегдашней Вашей ко мне благосклонности – то сим бы вы меня крайне одолжили.

С совершенным почтением и преданностию имею честь быть Милостивый Государь Ваш покорнейший слуга

О. Сомов. Октября 30 дня 1829.

О. М. Сомов – К. С. Сербиновичу 8 ноября 1829.

Милостивый Государь Константин Степанович!

Препровождаю к вам новую тетрадку моего обозрения и прошу снова благосклонного вашего о ней призрения: мне бы хотелось, если можно, получить ее обратно завтра утром, ибо типография, за моими недосугами и недугами (но право не за ленью), сидит покамест почти без дела. Еще одна, *сепаратная* статейка моей просьбы: чтобы покамест, до выхода С. Ц., суждение мое о *Выжигине* оставалось покамест между нами. Я совершенно уверен в том, что от *вас* никто не узнает тайн, исповедываемых вам на духу литературными грешниками, от них же первый есмь аз; но Булгарин как-то всегда узнавал прежде печати то, что ему должно было узнать после, и это написал я, чтобы сказать себе, как Погодин: dixi et salvavi animam <сказал и спас душу>. С совершенным почтением и всегдашнею преданностью имею честь быть ваш

Милостивого Государя покорнейший слуга О. Сомов.

Ноября 8 1829.

P. S. То, что я сказал, касается не моих сочинений, а посторонних, и чтобы все досказать, не *вами* цензурованных: знать наперед о моих Булгарин доселе не имел необходимости**73**.

Итак, война.

Сомов говорил об «Иване Выжигине» то, что думали и Пушкин, и Дельвиг, и Вяземский, – но тон его был лоялен, без полемической запальчивости. Он признавал в романе не только достоинства популярного чтения, но и «истинно прекрасные» частности – целое же осуждал за архаичность построения, как будто взятого из старых авантюрных романов, за «бесхарактерность» главного героя и искусственность сюжетных перипетий; он писал о неточности картины нравов светского общества и о холодной правильности слога. Это были общие упреки Булгарину, приводившие его желчь в движение, и Сомов знал, что отныне не только он сам, но и весь альманах приобретает ожесточенного врага. До сего времени он сотрудничал в «Северной пчеле», теперь ему предстояло вовсе уйти из булгаринских изданий.

В эти самые дни в Петербург приезжает Пушкин.

Пушкин провел в разъездах почти весь этот год. Им владела «охота к перемене мест» – так же, как и его Онегиным; какое-то беспокойство гнало его то в Москву, то на Кавказ, то в деревню и наконец опять в Петербург. В Москве он прожил половину марта и весь апрель, здесь он получил только что вышедшую «Полтаву».

Москва раздражала его. Московские журналисты открыли против него войну. Надеждин в «Вестнике Европы» довольно грубо обвинял его в безнравственности за «Нулина», и Погодин втайне сочувствовал новоиспеченному критику. «Полтава» вызывала споры, и тот же Надеждин вновь пустил в него критическую стрелу под эгидой Каченовского. Пушкин отвечал эпиграммами в «Московском телеграфе». Полевой уже давно не был его союзником, но когда дело касалось Каченовского, Пушкин готов был объединиться и с Полевым.

Он написал памфлет, где летописным тоном рассказал о литературном скандале, занимавшем Москву: Каченовский подал жалобу на цензуру, пропускавшую критики Полевого на него, профессора и кавалера. Возникла тяжба, и Каченовский проиграл. Пушкин бесстрастно рассказывал о перипетиях этого единоборства, напоминая о грубых критиках Каченовского на Карамзина и высмеивая его иерархические претензии. Статья лежала без движения, но эпиграмму по этому поводу Полевой напечатал.

В Петербурге Булгарин поместил в «Пчеле» кисло-сладкую статью о «Полтаве», которой отводил третье место среди пушкинских поэм – после «Бахчисарайского фонтана» и «Цыган». И. В. Киреевский готовил ответ в «Галатее».

В Москве говорили о «Выжигине». Баратынский написал эпиграмму о Булгарине, внушающем публике, что нехорошо лгать и воровать; он замечал при этом, что моралист, кажется, сам недавно пришел к этому выводу. Пушкин послал эту эпиграмму в Петербург Плетневу; тот смеялся и благодарил**74**.

Пушкин остается в Москве, но литературные дела, кажется, не слишком занимают его в этот раз. У Погодина он почти не бывает, с Вяземским тоже видится редко; впрочем, и сам Вяземский вскоре уезжает в Пензу. Остается Баратынский – но оба чувствуют, что они становятся и почти уже стали чужими друг другу; прежних дружеских связей не возникает.

Он посещает дом «пресненских красавиц» – сестер Ушаковых; в старшую, Екатерину, он был серьезно влюблен два года назад, пока новый образ – Олениной – не ослабил несколько его прежнего чувства. У Ушаковых собирались литераторы: Вяземский, Шаликов, Ротчев. Альбомы сестер были испещрены пушкинскими стихами и рисунками. Пушкин пользовался взаимностью; чувство Екатерины было светлым, преданным и почти самоотверженным; она не упрекала его и продолжала принимать и тогда, когда на пути ее стала Оленина, и когда новая московская звезда – Натали Гончарова – безраздельно приковала к себе внимание ее непостоянного возлюбленного. Теперь Гончарова держала его в Москве; Пушкин делал предложение, но получил отказ от семьи: он был беден, он был неблагонадежен.

И как будто бросая вызов своей судьбе, он сразу же после отказа едет в Арзрум, в Тифлис, живет в палатке Раевского, и вокруг него собираются прежние «государственные преступники», ныне рядовые армии Паскевича, и он не скрывает своей радости, встречаясь с ними. От него спешат вежливо избавиться, и уже по возвращении его настигает раздраженно-холодное письмо Бенкендорфа с требованием объяснений самовольной поездки. Но это его уже мало беспокоит.

Путешествие не только отвлекло его: оно дало ему, кажется, новые силы. По пути в Петербург он заезжает к Вульфам, в тверские имения и проводит здесь всю вторую половину октября и начало ноября. Осень; его тянет к перу.

Уже давно в его стихах не было таких бодрых, мажорных нот**75**.

В мае, под свежим впечатлением последних встреч с Гончаровой, он пишет «На холмах Грузии лежит ночная мгла.», эту удивительную элегию о чувстве, которое может существовать само по себе и для себя, даже если оно и не разделено. В эти месяцы любовь его, даже неудачная, теряет оттенок напряженного трагизма – нет его и в прощальном стихотворении – «Я вас любил». Какие-то отсветы этих стихов падают и на «Легенду» – «Жил на свете рыцарь бедный», того же 1829 года – любовь во имя самой любви, где надежда на взаимность невозможна, где ч$_7$у$_6$вство есть религиозная святыня, которой служат сумрачно и фанатично**76**. И уже окончательное просветление наступает в ноябрьских стихах, написанных в деревне Вульфов – в «Зимнем утре», во «2-м ноября»: «Зима. Что делать нам в деревне?…»

Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!..

Пушкин весел, он шутит.

Он забавляется тем, как Павел Иванович Вульф переделал его стихи к Вельяшевой: совсем в духе мещанского романса:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза**77**.

Именно так он их и напечатает у Дельвига.

Все эти стихи и еще некоторые другие будут в «Северных цветах», только два он отдаст Розену.

В альманахе на 1830 год будут: «Онегин» – четыре строфы из главы VII, «Зимний вечер», «Олегов щит», «2-го ноября», «К**» («Подъезжая под Ижоры»), «Я вас любил», «К N. N.» Из прежних стихов – «28 мая 1828» – трагические стихи, тревожно диссонирующие с новым «циклом».

И будет полемика с Каченовским и Надеждиным: эпиграмма «Мальчишка Фебу гимн поднес», «Отрывок из литературных летописей» и еще одна эпиграмма – «Седой Свистов», подписанная «Арз.» («Арзамасец») и по комическому недоразумению принятая на свой счет издателем «Северного Меркурия» М. А. Бестужевым-Рюминым, которого Пушкин печатно не задевал, так как тот не стоил этой чести.

Все это Пушкин отдает Дельвигу в конце ноября. Проза альманаха уже печаталась – и поскольку «Отрывок из литературных летописей» шел в прозаический отдел, нужно было спешно провести его через цензуру Сербиновича. Между тем с этой статьей вышло затруднение.

Пушкин первоначально отдал ее в «Невский альманах», но Главное управление цензуры не пропустило статью, где шла речь о действии цензора и цензурной тяжбе. Это было еще в сентябре, запрещение последовало 8 октября. От напечатания статьи Пушкин, однако, не хотел отказываться; он собирался нанести Каченовскому и Надеждину решительный удар памфлетом и двумя эпиграммами и выбросил из «Летописей» все, что касалось собственно цензурного дела. Так ее и отдали Сербиновичу.

Сербинович повез ее Д. Н. Блудову, товарищу министра народного просвещения, и 3 декабря вынес на суд цензурного комитета. Начиналось новое цензурное дело.

Комитет признал, что «в представленном ныне экземпляре сей статьи исключено все то, что упоминалось прежде о действиях цензурных так, что оная приняла совершенно литературный вид». 10 декабря ее отправили в Главное управление цензуры; мнение комитета гласило, что поскольку в статье исключено все, что было ранее причиной запрещения, он, комитет, «не видит более законных причин» для недопущения ее в печать.

24 декабря Главное управление цензуры согласилось с мнением комитета и в тот же день известило его о разрешении статьи**78**.

Пока решался вопрос со статьей Пушкина, материалы для «Северных цветов» продолжали поступать. 22 ноября Сомов отправляет Сербиновичу стихи Баратынского – «Муза» и отрывок из поэмы «Вера и неверие». Кроме них, Баратынский дал еще эпиграмму «В восторженном невежестве своем». Эпиграмма была направлена против Полевого, начавшего в «Телеграфе» критику «Истории государства Российского».

Одновременно со стихами Баратынского Сомов отдает Сербиновичу и «Отрывки из путевых записок» кн. З. А. Волконской.

В «записках» отразились веймарские, баварские, тирольские впечатления. «Письма русской путешественницы», отделенные четырьмя десятилетиями от своего образца, походили на него сочетанием документальности с лирическим размышлением; подобно Карамзину, Волконская вспоминала о встречах с европейскими знаменитостями и вставляла в свой рассказ драматические древние предания. Эти записки стояли в конце целой литературы подлинных путешествий, которые Дельвиг печатал в «Цветах» начиная с первой книжки: Дашков, Перовский, Ф. Глинка, Илличевский… Самое «Путешествие в Арзрум» Пушкина включалось в эту цепь, которая продолжится и после в пушкинских изданиях: их увенчает «Хроника русского» А. Тургенева в «Современнике».

«Северные цветы» порождали традицию.

В том же ноябрьском письме Сомов упоминал еще о двух произведениях. «Ротчев, узнав, что стихотворение его „Видение“ удержано цензурой, – писал он, – просил меня объяснить вам, что под таинственным лицом, к которому он обращается, разумел он Клару, которую у Гете в трагедии видит Эгмонт в минуту своей казни; и что Ротчев не назвал ее по имени только по каким-то личным своим причинам».

Мы не знаем этого «Видения»: текст его не дошел до нас. В «Северных цветах на 1830 год» появились только его стихи «В альбом К. Н. У-вой» – той самой пушкинской Екатерине Ушаковой, у которой Ротчев бывал и совсем недавно. Он приехал из Москвы только осенью: еще в половине сентября мы находим его в Москве, среди гостей С. Т. Аксакова, старого его знакомого, – а в ноябре он уже в Петербурге наносит визит престарелому адмиралу А. С. Шишкову, с племянниками которого дружен.

Он привез из Москвы стихи к Ушаковой – но не только их.

Нам приходилось уже обращать внимание на его устойчивый интерес к мрачной эсхатологической поэзии Библии и Корана; в «Цветах» на 1829 год он поместил свой перевод байроновской «Тьмы» – пророческого видения конца мира. Общественные катаклизмы породили в нем это сгущенно трагическое мировосприятие; глаз жандарма наблюдал за ним и за его друзьями. В их числе был Александр Ардалионович Шишков, которого дважды возили с фельдъегерем в Петербург за антиправительственные стихи и высылали в Динабург, где томился в заключении Кюхельбекер. Все эти впечатления свои и чужие, общие и частные – преломляются в поэзии Ротчева; «эпигон декабризма» обращается к Апокалипсису. По-видимому, у Ротчева был целый цикл переложений знаменитого «Видения Иоанна» – и некоторые из них должны были появиться в «Северных цветах». Духовная цензура упорно задерживала их. Сомов упоминал об одном его не пропущенном «Видении»; другое «Видение» предназначалось еще для «Цветов» на 1829 год и было запрещено в ноябре 1828 года, на рукописи третьего, появившегося в 1831 году в «Санктпетербургском вестнике», есть помета цензора «Нельзя. 2 янв.» и еще одна: «Назначалось для Сев.<ерных> цветов».

Все это рассеялось по журналам или пропало; в «Северных цветах на 1830 год» осталось только стихотворение к Ушаковой. Рядом с ним была напечатана «Эльфа» приятеля его А. А. Шишкова. В романтической сказке есть след воздействия «Ижорского» – сцен, напечатанных в «Подснежнике».

Общение с динабургским узником не прошло для Шишкова даром**79**.

Последним, кого назвал Сомов в письме от 22 ноября, был Виктор Григорьевич Тепляков.

Человек с бурной и полной драматизма биографией, прозванный «русским Мельмотом» за свою скитальческую жизнь, Тепляков только что обосновался в Одессе, как будто сделав короткую остановку среди бесконечных странствий. За его плечами была военная служба, отставка, несколько месяцев жизни в столице как раз во время восстания и арестов, затем отказ от присяги Николаю I, уклонение от исповеди, арест и разрушенное здоровье в каземате Петропавловской крепости. Потом он был выслан на юг, где его ограбили и чуть не убили. Его взял к себе Воронцов, проникшийся к нему сочувствием и, может быть, симпатией; и по настоянию Воронцова Тепляков был отправлен для археологических разысканий в Болгарию, где еще разыгрывался финал русско-турецкой кампании. Он видел дымящиеся равнины с неубранными трупами и ежеминутно смотрел в лицо смерти и чуме; после всего, что с ним случилось, он не слишком дорожил жизнью. В этой поездке родилась книга его блестящей эпистолярной прозы – «Письма из Болгарии», на основе подлинных писем, писанных им, главным образом, брату Алексею Григорьевичу, – и столь же примечательный цикл «Фракийских элегий». Печатался Тепляков мало и редко; ни с одним из петербургских и московских журналов он не был связан сколько-нибудь прочно. Выбрал «Северные цветы»

он, конечно, не случайно: прибежище пушкинского круга должно было стать и его прибежищем.

Его «пьеса» «Странники» с горькой иронией утверждала преимущество «странника» перед «домоседом», еще не освободившимся от всех жизненных иллюзий. Стихи нравились Дельвигу и Пушкину; отправляя их Сербиновичу, Сомов писал: «Пьеса прекрасная! Нельзя ли ее как-нибудь выгородить от убавок?» Сербинович докладывал в цензурном комитете о своих опасениях: скептический 1-й Странник слишком язвительно говорил о любви – «божественном союзе» душ. В этом месте диалога осталась цензурная купюра; вычеркнутые строки до нас не дошли**80**.

И пушкинская «Легенда» – «Жил на свете рыцарь бедный» – о жертвенной любви паладина к богоматери – не попала в альманах. Пушкин подписал ее «А. Заборский» – у него были основания опасаться цензуры императора – но это не помогло**81**.

Любви полагалось быть законной и нравственной, мировосприятию – чистым и светлым. Когда митрополит Филарет прочтет в «Цветах» «Дар напрасный, дар случайный», он переделает эти стихи в поучение автору: сам-де виноват, ибо живешь не богобоязненно. И Пушкин с изящной иронией назовет топорные вирши его преосвященства «арфой Серафима».

Арфа ли, цензура ли – делали одно дело: они заглушали голос сомнения и отчаяния.

В двадцатых числах декабря 1829 года «Северные цветы на 1830 год» вышли в свет**82**.

Новая книжка альманаха обладала особенностями столь явственными и характерными, что они бросались в глаза. Она была полемична. Сомов задел не только Булгарина: он напал на критики Надеждина и Каченовского и взял под защиту Карамзина от Полевого и Арцыбашева. Он спорил с Ксенофонтом Полевым о только что вышедших «Стихотворениях» Дельвига, разъясняя ему, в чем, по его, Сомова, мнению, состоят особенности дельвиговских подражаний древним и подражаний народным песням**83**. Он разбирал «Полтаву» Пушкина, явно противопоставляя свое мнение статьям Надеждина и, быть может, Булгарина, – и даже исторические его экскурсы имели оттенок полемический. Сомов остался верен и своим прежним симпатиям и антипатиям: он уязвил попутно воейковского «Славянина» и отметил «слабость… исторической критики» в статьях Погодина о Грозном и Годунове.

Все это в большей или меньшей степени отвечало общей литературной позиции дельвиговского кружка. В пушкинских «Отрывках из литературных летописей» также было нападение на Каченовского и упоминание о неприличных критиках на Карамзина; в эпиграмме Баратынского речь шла о Полевом. Надеждину Пушкин посвятил две эпиграммы.

Помимо всего прочего, в статье Сомова был намек на разногласия «старшего» и «младшего» поколений. Критик подробно разбирал поэму Подолинского «Борский»; и, отдавая должное «прекрасным, свободным и звучным стихам», пытался показать неудовлетворительность «содержания»; упреки его, впрочем, были достаточно лояльны, как и упреки другому «пансионскому поэту», К. П. Масальскому, выпустившему в 1829 году стихотворную повесть «Терпи, казак, атаман будешь» – «Ивана Выжигина» в стихах, как потом называл ее Вяземский**84**.

Пушкинский круг определял свою позицию в литературных противоборствах. Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Вяземский, Плетнев, теперь уже и Сомов составляли ядро кружка; вокруг него вырастали ряды сочувствующих. Здесь была не только петербургская литературная молодежь типа Деларю: география альманаха оказывалась довольно широкой. К нему стягивались литературные силы с разных концов пишущей России: стихи и проза шли с севера – от Ф. Глинки, с юга – от двух Туманских и Теплякова, из Москвы и центральных губерний.

Этого не было раньше, когда Дельвигу приходилось рассылать мольбы о помощи и месяцами ждать отклика от авторов.

Книжка печаталась, переплеталась, продавалась – статьи продолжали поступать.

Катенин, пославший к Бахтину тетрадь своих «Размышлений и разборов», в декабре разражается гневной филиппикой: «…В „Северные цветы“ не попала статья единственно (не прогневайтесь) от медленности NB не моей и от переписки поздней… По Вашим и Сомова письмам я был в твердой несомненной надежде увидеть ее в „Северных цветах“, даже сказал об этом кое-кому, кто спрашивал, и теперь чисто в дураках; приятно ли это? и чем я заслужил?»**85**

«Меня уведомляют, что „Северные цветы“ Дельвига уже вышли, следственно мои стихи туда не попали…»**86**.

Это голос человека, давно молчавшего, прославленного поэта-партизана Дениса Давыдова, из села Мазы Сызранского уезда.

12 декабря Сомов благодарит Максимовича за «прекрасный цветок» – статью «О цветке» – но она не попадает в «Северные цветы», ибо вся проза уже отпечатана…**87**.

Теперь есть не только необходимость, но и возможность издавать журнал – или газету.

Глава VI
«ГАЗЕТЧИКИ» И «АЛЬМАНАШНИКИ»

18 ноября цензор Сербинович записал в своем дневнике: «Еду к Сомову, он сообщает мне мысль свою и Дельвига об издании журнала, в коем участвовали бы Пушкин, Баратынский, Языков etc. Говорил, что ждут Вяземского из Москвы»**1**.

Эта запись – самый первый известный нам документ по истории «Литературной газеты». Замысел еще не оформился; предполагается, что будет журнал. С Сербиновичем советуются пока неофициально.

Журнал должен быть органом пушкинской группы. Будущие участники еще ни о чем не знают – кроме одного. Пушкин в Петербурге уже более недели. Какая роль в этом начинании принадлежит ему – годами мечтавшему о собственном журнале?

2 декабря Сербинович едет советоваться с Блудовым. В тот же день Дельвиг показывает ему «прожект» нового журнала.

5 декабря Ротчев уже сообщает С. Т. Аксакову, что затевается новая газета, что она будет выходить раз в пять дней и называться «Литературной газетой» и что издателями будут Дельвиг, Сомов, Вяземский, Пушкин, Жуковский**2**. Слухи опережают события: программа газеты одобрена 13 декабря.

Днем раньше Сомов писал Максимовичу, что издателем новой газеты будет Дельвиг, редактором – он, Сомов, сотрудниками – Пушкин, Баратынский и, как надеются, Вяземский. Жуковский обещал выписки из английских журналов и от времени до времени – собственные произведения. В. П. Лангер, переводчик и художник-график, делавший виньетки к «Северным цветам», брал на себя отдел художеств. Сомов просил Максимовича заняться «по части естественных наук».

В декабре издатели уже знали, что им обеспечено участие Вяземского. К 20 числу у них было полученное от Вяземского неизданное сочинение Фонвизина – «Разговор у княгини Халдиной», отрывок из биографии Фонвизина, над которой трудился Вяземский уже несколько лет, и целая тетрадь стихотворений**3**. Баратынский, живший в деревне, получил от Дельвига письмо, где прямо сообщалось, что Вяземский в числе издателей. «.Правда ли это? – справлялся он у Вяземского. – И как хорошо, если это правда! Что бы вы ни издавали, прошу почитать меня вашим сотрудником малосильным, но усердным»**4**.

«Титов и Одоевский тоже нашего полку, – продолжал Сомов свой отчет Максимовичу. – Если вы дружны с Киреевским, то нельзя ли и его уговорить доставлять нам кое-что из своих трудов?».**5**

Прежние сотрудники «Московского вестника» переходили в дельви-говскую газету. По сохранившимся письмам Сомова к В. Ф. Одоевскому мы знаем, что Одоевский в феврале-марте работал для газеты не покладая рук: писал, переводил, консультировал, наводил справки.**6**

«Московский вестник» еще дотягивает свой последний год, и Погодин недоволен. С «Северными цветами» отношения его более чем холодны, и известие о газете он встречает в штыки. Чтение первых номеров еще укрепит его в мысли, что издатели – «невежи», с «младенческими понятиями о теориях».**7**

Шевырев уговаривает его. «Ты напрасно вовсе чуждаешься петербургской шайки. Где же будет круг наш? Из кого его составим? Из нас двух да Аксакова? Более я не вижу, ибо Языков и Хомяков, верно, не прочь от Дельвига и Пушкина». До Рима дошли уже сведения о газете: еще в феврале Шевырев писал о ней Соболевскому. Он рассказывал, что «пчелисты» – Греч и Булгарин – задеты за живое и «принялись кусать» Сомова, новый альманах Максимовича «Денница», Киреевского, Баратынского. Впрочем, относительно «Отрывка из лите-

ратурных летописей» он согласен с Погодиным: грех Пушкину «мешаться в эти дрязги». Он сообщает, что в «Пчеле» ругают «Северные цветы»; в альманахе же много хорошего, и лучше всего «Зимний вечер», затем «2-е ноября» и идиллия «Отставной солдат» Дельвига; впрочем, альманах беднее прежних, «много однообразного, скучного.»**8**.

Сам он примет участие в «Литературной газете» и вступит на ее страницах в полемику со старинными своими неприятелями – «пчелистами».

К кружку примкнет даже князь А. А. Шаховской, некогда первый боец в стане «Беседы любителей русского слова», писавший язвительные комедийные портреты Карамзина и Жуковского. Пятнадцать лет назад он был мишенью для арзамасских эпиграмм, и Пушкин тоже вплел свои цветы в сатирический «венок Шутовскому». С тех пор утекло много воды; Пушкин помирился с Шаховским, посещал его, а потом их опять развела горькая обида. Они встретились теперь едва ли не впервые после десятилетней разлуки, обнялись и полуобъяснились.

Этот-то Шаховской дает теперь слово участвовать в «Литературной газете», чтобы вместе с прежними своими противниками унимать «литературных напастников». «Напастники» грозили и ему самому: в «Северной пчеле» и «Телеграфе» уже поднялась кампания против Шаховского: он задел «Ивана Выжигина» и Полевого в своем «Романном маскараде». Когда «арзамасские» «друзья Вяземского» подали ему руку, он принял ее, хотя подозревал, что своим в этом кругу никогда не будет: старая вражда сказывалась. Впрочем, Пушкин вскоре заходит к нему на квартиру, в Коломне, в доме Лемана, а Шаховской начинает посещать Жуковского; здесь при Пушкине, Гнедиче и Крылове он читает свою драму «Смольяне в 1611 году», отрывок из нее помещает в «Литературной газете»**9**.

Все эти события происходят в отсутствие Дельвига: 3 января он уехал в Москву. Он видится с Вяземским, и тот пишет для газеты статью о московских журналах, статью остро полемичную, наполовину урезанную цензурой.**10**

Дельвиг в Москве, Пушкин в Петербурге, и он-то объединяет вокруг газеты петербургские литературные силы. Во втором номере газеты он помещает заметку о только что вышедшей «Илиаде» Гнедича. «С чувством глубоким уважения и благодарности, – писал он, – взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновениям и совершению единого, высокого подвига». Гнедич откликнулся прочувствованным письмом. «Это лучше царских перстней». Тень, омрачавшая в последнее время отношения Дельвига и Гнедича, стиралась**11**.

Круг сотрудников и сочувственников газеты определялся, круг противников ее также.

Булгарин, чутко следивший за литературными новостями, знал о новой газете еще до ее выхода и, встретясь с Сомовым, спросил его: «Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?» Сомов отвечал утвердительно. «И вы будете меня ругать? – Держись!»

Этого Булгарин уже не мог стерпеть и нанес первый удар. Нужно отдать ему справедливость: он воевал с соблюдением некоторых правил. Он написал письмо к Дельвигу, где предупредил, что намерен писать рекламацию на объявление о невышедшей еще газете. В объявлении было сказано, что писатели, сотрудничавшие в «Северных цветах», будут участвовать и в «Литературной газете»; Булгарин извещал, что ни он, ни Греч, помещавшие в «Цветах» свои статьи, участниками газеты никак не будут. Это произошло еще в двадцатых числах декабря; и тогда же было решено напечатать поправку: в число сотрудников не входят гг. издатели журналов, занятые собственными повременными изданиями. Булгарину только того и нужно было: он сразу же привлек внимание к этому дополнению, недоумевал, что бы оно значило, и сообщал, между прочим, что два писателя, не журналисты, а прозаик и поэт, поручили ему известить публику, что и они не намерены сотрудничать в газете, хотя и печатались в «Северных цветах»**12**. Может статься, что самый факт не был вымышленным; прозаиком, вероятнее всего, был Сенковский, а поэтом – может быть, Масальский, все более

сближавшийся с булгаринской группой. Но рекламация была, конечно, тактическим ходом и значила: не верьте обещаниям, газета будет беднее, чем альманах. И второе: газета будет голосом литературной партии, преследующей свои узкие цели.

Все это пахло литературным скандалом и должно было отпугнуть подписчиков. Булгарин пустил в ход старые, уже испытанные способы борьбы с конкурентом – но в этом начавшемся споре была и своя принципиальная сторона.

Пушкин писал о необходимости журнальной критики, измеряющей достоинства сочинений со стороны художественной или общественной, – и в этом полагал цель «Литературной газеты»; он оговаривался вместе с тем, что газета была необходима не столько для публики, сколько «для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям явиться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов». С тех пор как Вяземский и Баратынский порвали с «Московским телеграфом», это относилось к ним более всего. Силою вещей газета Дельвига должна была стать органом писательской корпорации.

Булгарин отвечал на это, что не понимает, как можно издавать газету «не для публики, а для некоторого числа писателей»**13**.

Булгарин был по-своему прав: Пушкин допустил оплошность. Он вовсе не хотел сказать, что «Литературная газета» не нуждается в аудитории: без «публики» она была бы и бессмысленна, и невозможна. Речь шла о другом: должен ли писатель формировать свою аудиторию, способную разделить его сложную философию, его тонкий эстетический вкус, его общественные позиции, – или же он должен принять ее такой, как она есть, говорить на ее языке, внушать ей моральные правила, которые она может понять, и не требовать от нее ничего большего?

Не будем думать, что ответ на этот вопрос предрешен заранее для всех времен и исторических ситуаций.

«Северная пчела» к началу 1830-х годов имела 4000 подписчиков.

На «Литературную газету» в конце ее существования – подписывалось сто человек.

Пройдет несколько десятилетий, пока история переменит роли и перераспределит литературные репутации, пока массовый читатель созреет для Пушкина и его друзей. Сейчас еще их читатель – светское общество и образованные круги дворянской интеллигенции.

Сейчас Пушкин – «элитарен», Булгарин – «демократичен».

Сейчас две группы стоят друг против друга и завязывается борьба не на жизнь, а на смерть.

В январе и феврале на страницах газеты появляются только отдаленные предвестия приближающейся бури. Пушкин печатает свой критический разбор первого тома «Истории русского народа» – обширного сочинения, которое Николай Полевой противопоставил «Истории государства Российского» Карамзина.

Первая статья Пушкина об истории Полевого была, собственно, статьей о Карамзине и в некоторых местах прямо перекликалась с «Отрывками из мыслей, письмами и замечаниями». Пушкин брал под защиту Карамзина – не от научной критики, но от крикливых и поверхностных журнальных атак. Мысль о непрерывности культурной традиции, требующей «уважения к именам, освященным славою», пронизывает его статью; в таком уважении он видит залог истинной просвещенности. И он еще раз напоминает о «подвиге честного человека» – о соблюденной Карамзиным мере исторической объективности, – и отзвуки старого спора с М. Ф. Орловым вновь слышатся в его возражениях: «Не должно видеть в отдельных размышлениях насильственного направления повествования к какой-нибудь известной цели». Это – ответ тем, кто упрекал Карамзина в самодержавных тенденциях; историческое значение его труда шире его «апофегм», «отдельных размышлений», в которых «не полагал» он «никакой существенной важности».**14**

Это была первая статья; через месяц Пушкин напечатает вторую – едва ли не единственную в это время попытку серьезного критического анализа «Истории» Полевого. Он не скроет от читателя достоинств критикуемого им труда и упрекнет его рецензентов – Надеждина и даже Погодина – в непростительной грубости и пристрастии. Он стремится сохранить умеренность в полемике – но вскоре борьба выйдет за пределы чисто литературных споров.

Пока что Булгарин рецензирует в «Северной пчеле» последние «Северные цветы» и обрушивается на разбор Сомова, которому не может простить отзыва об «Иване Выжигине»; попутно он задевает и Дельвига, и «доморощенных Гете, Байронов. и Аристофанов». Впрочем, о стихах Пушкина он пишет благосклонно – в особенности о «26 мая 1828 года».**15**

28 февраля 1830 года в Петербург приехал, наконец, долгожданный Вяземский. Он успел повидаться с Пушкиным и провести с ним три дня: 4 марта Пушкин уехал в Москву, оставив Вяземскому попечение о «Литературной газете». С начала марта на страницах газеты систематически появляются стихи и проза Вяземского.

Он берет в свои руки бразды и жалуется Пушкину, что Дельвиг «ленив и ничего не пишет», рассчитывая на Сомова. Сам он ведет с Булгариным войну систематическую, от номера к номеру, и, кажется, целит выше. Он намекает печатно, что «журнальные отголоски» лишь повторяют «некоторые указания» о духе партий и «литературном аристократизме», – другими словами, что самое понятие пущено в оборот политическими осведомителями. На этих тайных агентов «Александра Христофоровича» Вяземский намекал постоянно, то глухо, то совершенно прозрачно – и имел в виду конкретное лицо: Булгарина.

Он ведет себя тем более неосторожно, что приехал в Петербург, намереваясь снять с себя политические подозрения, а доступ к царю лежал через Бенкендорфа.

Вяземский написал письмо к Николаю I, выставляя себя жертвой клеветы. Николай приказал принять его на службу**16**.

В этих условиях ему следовало бы, как Гречу, «сидеть тихо».

Между тем он входит в прямой контакт с газетой, за которой уже начинает пристально следить правительство, и более того, передает в нее стихи ссыльного Александра Одоевского.

Стихи были присланы Вяземскому П. А. Мухановым из Читинского острога при письме от 12 июля 1829 года, – конечно, нелегальным путем.

Петр Муханов был в Чите председателем каторжной «академии», где читали стихи и прозу, взаимно обучали языкам и слушали лекции по словесности, истории, математике, астрономии, философии, военным наукам… Здесь впервые зародилась дерзкая и неосуществимая идея литературного альманаха «в пользу невольно заключенных» – и он был почти собран. Воспоминания Михаила Бестужева донесли до нас названия написанных им повестей: «Случай – великое дело», «Черный день», «Наводнение в Кронштадте 1824 года» – и повести Николая Бестужева «Русские в Париже».

Александр Одоевский был признанным поэтом декабристской каторги. К его стихам писалась музыка, их пели вместе, в них слышали поэтический голос, говорящий за всех.

Муханов просил жен декабристов написать в Петербург, чтобы разрешили издать эти сочинения. Писали, просили; ответа не было.

Бенкендорф не входил в сношения с государственными преступниками; ходатаям же отвечал, что печатать их сочинения в журналах неудобно, так как это ставит их в отношения, не соответственные их положению.

Тогда Муханов отправил письмо Вяземскому.

Он посылал ему только стихи, рассказывал о замысле альманаха и просил помощи. «Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах. Если вы их не засудите – отдайте в печать… Не знаю, дотащится ли когда-нибудь подвода с прозой»**17**.

Проза не дошла, она осталась у Муханова и погибла.

Тетрадь со стихами Вяземский, по-видимому, привез с собой в Петербург. 1 апреля в № 19 газеты появляется первое стихотворение из нее «Элегия. На смерть А. С. Грибоедова».

Почти одновременно, 28 марта, цензор газеты Н. П. Щеглов читает другое стихотворение – «Что вы печальны, дети снов» – и П. И. Гаевский объявляет, что печатать столь темное и неясное по намерениям стихотворение неприлично в газете, находящейся в широком обращении. Стихи удалось отстоять – но они появились позже, под названием «Пленник» и с купюрами**18**.

26 апреля печатается «Старица-пророчица», посвященная Дельвигу. 6 мая – «Узница Востока».

Они будут появляться и после отъезда Вяземского и попадут в «Северные цветы».

«Литературная газета» ведет критическую перестрелку и позиционную войну.

Она поддерживает «Монастырку» Перовского-Погорельского и «Юрия Милославского» Загоскина – бытовой и исторический романы, по методу и литературной ориентации противостоящие романам Булгарина.

Булгарин взбешен: Погорельский и Загоскин могут составить ему конкуренцию. Когда же Дельвиг резко критически оценивает его новый исторический роман «Димитрий Самозванец» – происходит взрыв.

Булгарин был убежден, что статья принадлежит Пушкину, уже уехавшему из Петербурга, – и через четыре дня после выхода рецензии в «Пчеле» появился печально знаменитый «Анекдот» – о некоем поэте, не обнаружившем в своих сочинениях ни одной высокой мысли или полезной истины, вольнодумце перед чернью и оскорбителе святынь, который тайком ползает у ног сильных, чтобы ему позволили нарядиться в шитый кафтан. Здесь был намек на «Гавриилиаду», только что бывшую предметом политического процесса.

Еще через две недели Булгарин печатает критику на 7-ю главу «Онегина», провозглашая «полное падение» Пушкина, – и сообщает попутно, что автор этого «пустословия», быв свидетелем побед русского оружия, не напитался патриотическими чувствами**19**.

Это были удары, рассчитанные на уничтожение, литературное и политическое.

Теперь Пушкин пишет свою эпиграмму на «Видока Фиглярина» и памфлетную статью о Видоке – полицейском сыщике, на досуге занявшемся литературой.

Теперь, наконец, сказано громко то, о чем говорили между собой Вяземский, Баратынский, Пушкин в 1829 году: в борьбе против своих неприятелей Булгарин пользуется поддержкой III отделения.

За этой полемикой правительство следит с опаской и беспокойством. Обе стороны вызывают неудовольствие, но за Булгарина ручается Бенкендорф: у него уже прочная репутация благонамеренного.

Пока развертывается эта ожесточенная война, в дельвиговском кружке происходят перемены.

В № 19 газеты, от 1 апреля, Дельвиг печатает свою статью о «Нищем» – новой поэме Подолинского. Отзыв был строг, даже суров: в «Нищем» сошлись, как в фокусе, все пороки, свойственные и ранним поэмам Подолинского: неточность и изысканность поэтической речи, искусственность мелодраматического сюжета, наконец, подражательность. Статья была для Подолинского неожиданностью: Дельвиг не предупредил его, и самолюбивый поэт обиделся, – вероятно, с некоторыми основаниями. Он гордо удалился – но удалился не молча. Он написал эпиграмму на «Литературную газету», где повторил насмешки Булгарина: «Не для большого ты числа, А ради дружбы выходила.» и на время нашел себе приют в «Северном Меркурии» Бестужева-Рюмина, бульварной газетке, осыпавшей Дельвига вульгарными и беззубыми насмешками.

Бестужев-Рюмин взял Подолинского под защиту. Он разбирал «Нищего» в семи номерах газеты подряд, доказывая, что Дельвиг пристрастен. К нему присоединились Булгарин и Греч. Наконец Рюмин поставил точку: в памфлете с прозрачно зашифрованными именами он сообщал, что Подолинский – опасный соперник Пушкину и что последний есть душа всей интриги.

Вероятно, и сам Подолинский думал так же: в поздних своих воспоминаниях он обошел щекотливый вопрос о роли Пушкина в этом деле – но заметил, что Дельвиг боялся, как бы чужой успех не повредил пушкинской славе. Вскоре он уехал из Петербурга в Одессу; до своего отъезда он успел еще раз встретиться с Дельвигом, и тот первым протянул ему руку**20**.

Ушел Подолинский, еще ранее отпал от кружка Масальский. Он писал теперь стихотворные комедии, и «Северная пчела» усиленно хвалила их и сообщала, что, по слухам, на автора собирается гроза – но вот уже приступлено ко второму, а там и третьему изданию. Масальского Вяземский очень точно сравнивал с Булгариным: та же плоская моралистичность, та же безжизненность и гладкость стихотворного слога. Об этом написал Дельвиг; в том же смысле высказался и Сомов в «Северных цветах на 1831 год». Булгарин упорно отстаивал «своего» автора и заявлял, что «Литературная газета» пристрастна к нему, потому что он нравится издателям «Пчелы» – но ему, Масальскому, бояться нечего и следует искать благоволения публики, а не «некоторого числа писателей»**21**.

Третьим покинул Дельвига барон Розен. У него тоже оказались поводы для недовольства. Кажется, ему не понравился устный отзыв Дельвига о новой его поэме «Рождение Иоанна Грозного». Через некоторое время Дельвиг высказал его в печати. В поэме Розена он находил те же недостатки, что и у Подолинского: искусственность фабулы, рационализм. «Молодые художники! – писал он. – Списывайте более с натуры и не спешите писать на память, наугад». Как и Подолинскому, Розену показалось это диктатом.

Впрочем, к уязвленному авторскому самолюбию примешивались и иные неудовольствия. Сомов сообщал Максимовичу, что Розен рассорился с ними за «безделку»: он хотел, чтобы «лучшее» из припасенного для новых «Северных цветов» было отдано в его альманах – и рассердился на отказ. Все это произошло, по-видимому, в октябре, когда собиралась его «Альциона». В конце ноября Розен сообщал Подолинскому: «И я в разладе с нашими литературными аристократами – что делать!»

Он пытался возместить потерю, укрепляя связи за пределами кружка. Подолинскому он пишет: «Я чувствую, что мы сольемся сердцами! Судьба скоро сведет нас: поэт заглянет в откровенную душу поэта – более не нужно при одинакой страсти к изящному, при истинном благородстве чувств, чтобы заключить поэтический союз <…> Если бог продлит мои дни, то ежегодно буду издавать альманах, с помощию любезного певца *Пери, Борского, Нищего и Русалки».* Он рассказывал о собственных работах – он действительно писал много – и добавлял: «Греч и Булгарин также дают по статье».

Розеновская «Альциона» переставала, таким образом, быть «спутником» «Северных цветов», хотя и сохраняла близость к ним по составу участников и даже по типу. В этом альманахе нет критического обзора, и Розен не враждует с издателями «Пчелы»; по крайней мере, не враждует явно, в печати; с Гречем у него отношения лояльные, Булгарина он недолюбливает – и, может быть, поэтому из обещанных ему статей Булгарина и Греча в альманахе появляется только вторая. Тем не менее «Северная пчела» рецензирует «Царское Село» и «Альциону» довольно благосклонно**22**.

Розен не враждует с Дельвигом, но отходит от него и перестает на какое-то время участвовать в «Литературной газете» и «Северных цветах». Ни Дельвига, ни Сомова нет в его альманахе – но весь круг молодых поэтов представлен, и в их числе не только фрондирующий Подолинский, но и близкий к Дельвигу Деларю.

Деларю был, кажется, единственным из молодых поэтов, кто сохранял неколебимую верность кружку. Может быть, отчасти поэтому его так ценили Плетнев и Дельвиг – и в скудных обрывках переписки с ним читатель может ощутить ту мягкую ласковость интонаций, которая иногда говорит о слепоте дружбы.

М. Д. Деларю – А. А. Дельвигу (Конец октября 1830 г.)

Вот, почтеннейший Антон Антонович, скудная жертва, которую приношу я вам для «Северных цветов». Впрочем, если в «Сев.<ерных> цветах», по какой-либо причине, стихотворения сии не могут быть помещены, то не помещайте – и вообще располагайте ими как вам заблагорассудится. Что же касается до последнего стихотворения («Слава нечестивца»), то мне самому кажется, что его лучше поместить в «Литературную газету». Сделайте одолжение, почтеннейший Барон, прочтите все сие и дайте мне знать с моим же человеком, как Вы намерены распорядиться с сими стихотворениями. А для того, чтобы Вам не беспокоиться много, то посылаю при сем заглавия четырех пьес – и вы только против них напишите – куда что пойдет. Сим весьма меня обяжете. Милостивой государыне Софье Михайловне прошу засвидетельствовать мое почтение, а малютку поцеловать. Как только можно будет – непременно к Вам явлюсь. При сем честь имею быть

покорнейшим слугою Мих. Деларю.

А. А. Дельвиг – М. Д. Деларю (Конец октября 1830 г.)

1. Эдемская ночь? – Сев. цветы
2. Выздоровление? -
3. Глицере? -
4. Слава нечес.<тивца>? -

все четыре пьесы прекрасны и за все благодарю милого Поэта. Особливо «Выздоровление» дышит высокою лирическою поэзией, звуками, подобных которым я давно не слыхал. Пишите, милый друг, доверяйтесь вашей Музе, она не обманщица, она дама очень хорошего тона и может блестеть собственными, не заимствованными красотами. Барон Розен у меня бывает всякой день и в рассеянии не заметил, что я хвораю. Он мне говорил, что вы его спрашивали обо мне и он отвечал, что я здоров. Не верьте ему, если бы мне можно было выходить, давно бы вы меня видели у вас. Целую ручку у почтеннейшей вашей маминьки и поклонитесь Даниле Андреевичу. Всем вам желаю здоровья. Здравствуйте.

Дельвиг**23**

Безусловное одобрение? Слепота дружбы?

В 1831 году Плетнев напишет Пушкину о Деларю и упомянет о прекрасном его таланте. Пушкин ответит сдержанно. «Деларю слишком гладко, слишком правильно, слишком чопорно пишет для молодого лицеиста. В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства. Это второй том Подолинского. Впрочем, может быть он и разовьется»**24**.

Дельвиг снисходительнее и пристрастнее и, подобно Плетневу, вероятно, склонен считать талант Деларю «прекрасным».

Но что значит осторожный совет «доверяться своей музе», которая *«может* блестеть собственными, не заимствованными красотами»? Может – но еще не блестит? Не есть ли это совет не подражать никому, в том числе и ему, Дельвигу?

В «Северных цветах на 1831 год» Дельвиг поместит «Глицере», «Выздоровление», «Могилу поэта» и еще «Сон и смерть» – большое стихотворение, изданное потом отдельно

с благотворительными целями; Дельвиг принял издержки издания на свой счет и написал предисловие**25**. Стихи «Глицере» начинались парафразой из Пушкина, «Сон и смерть» – из И. И. Козлова: «Могила поэта», написанная на смерть Веневитинова, была прямым подражанием эпитафии Дельвига.

Дельвиг не мог этого не видеть. Быть может, и «Выздоровление» он предпочел другим стихам отчасти потому, что в нем было менее всего красот заимствованных.

Во всяком случае, он не оставил Деларю без предостережения, которое постоянно адресовал теперь молодым поэтам. Число же их не уменьшалось; на место отколовшихся, отделившихся, обретших самостоятельность – подлинную или мнимую, – в «Северные цветы» приходили другие, в том или ином качестве уже появившиеся на страницах «Литературной газеты».

Два московских поэта открывают этот список имен.

Один из них – Дмитрий Юрьевич Струйский, писавший под псевдонимом «Трилунный», меломан и теоретик музыки, поклонник Байрона. Он был двоюродным братом Полежаева, сыном Юрия Струйского от крепостной, но сыном узаконенным. Семейная вражда разделяла две ветви семейства Струйских; Александр и Дмитрий в одно время учились в московском университете, но общались мало и холодно. Потом они стали сближаться; в 1836 году, когда Полежаев уже в полной мере испытал тяжесть солдатчины, Струйский писал ему и заботился об устройстве его денежных дел. Посредником между ними был близкий приятель Полежаева и также поэт – Лукьян Андреевич Якубович.

Трилунный печатал стихи в «Атенее», «Галатее», «Московском вестнике». Он был близок к «любомудрам» и более других – к Шевыреву; в стихотворении, обращенном к нему, он вспоминал об их дружеских спорах и писал о своем намерении отправиться к нему в Рим:

Нет денег – ехать не могу.
Пойду пешком…

Этот странный человек, вечно погруженный в себя, с порывистыми движениями и небрежным туалетом, постоянно впадавший в меланхолию, выполнил свое поэтическое обещание. В 1834 году Вяземский, путешествовавший по Италии, встретил в пустынном саду Боболи во Флоренции человека в форменном русском мундирном фраке. Это был Струйский, действительно прошедший пешком пол-Европы; его скудного жалования не достало ни на дилижанс, ни на щегольское одеяние туриста. Он дошел до Рима и был дружески принят русскими художниками; он старался не упустить ни одной музыкальной или живописной достопримечательности и повидал многое и многих. Вернувшись, он печатал статьи о музыке, европейской живописи, путевые записки, писал музыку и стихи. Он умер в середине 1850-х годов, впав в помешательство, – не то в Париже, не то в Оверни, куда его отвез брат.

Этот-то человек появляется в июне 1830 года на страницах «Литературной газеты»; несколько ранее, в номере от 1 мая, Дельвиг благосклонно отзывается о его «альманахе» «Стихотворения Трилунного», состоявшем только из его собственных стихов. Критик был верен себе и сказал молодому поэту то же, что говорил и Подолинскому и Розену: пишите, но не торопитесь печатать, берите пример с Пушкина, «выдерживающего» свои стихи. Трилунный не обиделся советом, в отличие от Розена и Подолинского – да он и не был избалован похвалами: «Северная пчела» решительно отказала ему в поэтическом таланте.**26** Он начал печататься в газете Дельвига систематически и опубликовал здесь около трех десятков стихотворений, прозаических отрывков и музыкальных рецензий.

И почти таким же образом начинает участвовать в газете будущий глава московского философского кружка, памятный в летописях русской литературы Николай Владимирович

Станкевич. В июле Дельвиг рецензирует его трагедию «Василий Шуйский»; он обращает внимание на несомненный талант юного драматурга – но трагедию оценивает критически, измеряя ее меркой «истинно романтической» трагедии в понимании Пушкина. Так же отнесется к Станкевичу и Сомов в очередном обзоре в «Северных цветах» и повторит при этом уже ставшую привычной дельвиговскую заповедь молодым писателям «обдумывать зрелее свои творения» и не увлекаться скоропреходящим успехом.

Когда Станкевич переедет из Воронежа в Москву, он станет посылать в «Литературную газету» свои стихи.

Он пришлет сюда «Кремль» («Склони чело, России верный сын…»), «Грусть» и стихотворение «Филин», напечатанное в «Северных цветах на 1831 год». В следующей же книжке альманаха – на 1832 год – появятся его «Песнь духов над водами» (перевод из Гете) и «Бой часов на Спасской башне». Какие-то из присланных стихов остались ненапечатанными: когда Греч и Булгарин поместили у себя без ведома автора стихи «На могилу сельской девицы», Станкевич печатно протестовал и сообщал читателям, что они «отосланы были несколько лет тому назад к покойному О. М. Сомову вместе с другими, давно напечатанными в „Литературной газете“ и „Северных цветах“, и как попали в „Сын отечества“ – неизвестно». Уже в 1831 году ему далеко небезразлично, где появятся его стихи, и именно в «Литературную газету» он отправляет песню «Перстень» *«самородного* поэта г. Кольцова», двадцатилетнего воронежского мещанина, прося Сомова представить его читателям**27**.

Дельвиговский кружок собирает литературные силы.

Среди них – писатели первой величины, средние, малые. Станкевичу предстоит стать главой кружка, формировавшего Белинского, Кольцову – одним из ведущих поэтов времени Белинского, Трилунного ждет забвение, других – полная неизвестность.

В «Литературной газете» и «Северных цветах» есть писатели, которых мы не знаем даже по имени.

В № 43 от 30 июля 1830 года рядом с пушкинским «Арионом» напечатано стихотворение «Смуглянка», подписанное только в оглавлении всего тома, и то тремя буквами фамилии: «Ш-б-в». Восточная экзотика этих стихов привлекла внимание читателей; «Смуглянку» читали и распространяли в списках. Ее приписывали перу Пушкина.

Удивительнее всего, что так думал даже А. Н. Вульф и, вероятно, П. А. Осипова, приславшая ему экземпляр «Литературной газеты». Они знали, что «Арион» – пушкинские стихи и распространили его авторство на соседнюю анонимную пьесу.

Списки «Смуглянки» с именем Пушкина всплывают и по сей день; это одно из самых популярных стихотворений в псевдопушкиниане.

О подлинном авторе почти ничего неизвестно, и даже фамилию его мы устанавливаем предположительно. Он напечатал еще несколько стихотворений в «Литературной газете», «Альционе» и в двух книжках «Северных цветов» – на 1831 («Неаполь») и 1832 год: «Элегия» («Недолго теплый ветер лета.») и «Утешение, из А. Шенье». Стихи эти довольно типичны для эпигонской романтической лирики начала 1830-х годов; их особенность – устойчивый интерес их автора к поэзии Андрея Шенье. Они подписаны «Ш… ъ», «Ш-б-въ», «Н. И. Ш-б-въ».

Анаграмму эту обычно раскрывают как «Шибаев» – вероятно потому, что этой фамилией подписан рассказ, появившийся в 1834 году в «Библиотеке для чтения», да потому еще, что в петербургской адресной книге за 1837 год значится некий чиновник 12 класса Николай Иванович Шибаев, живущий на Адмиралтейской площади. Но может быть – да и скорее всего – это другое лицо или даже другие лица.

Одно стихотворение этого поэта адресовано Василию Евграфовичу Вердеревскому, который, видимо, был с ним как-то связан. Вердеревский долго жил в Москве; среди мос-

ковских жителей в 1830 году был некто штабс-капитан Николай Иванович Шибаев, в следующем же году вышедший в отставку.**28**

Тот ли это человек, которого мы ищем? Или автор «Смуглянки» окончательно поглощен литературным небытием?

Мы не знаем о нем ничего, как ничего не знаем о другом поэте, по имени «Н. Ставелов», который печатался в «Литературной газете» и «Северных цветах». И лишь немногим более нам известно о Платоне Григорьевиче Волкове, поэте, поместившем в «Северных цветах на 1831 год» два стихотворения: «Мечта» и «Русалки (Фантазия)», – хотя у Волкова были более широкие литературные связи и он был не только автором, но и издателем[29].

Писатели средние, малые, вовсе незаметные.

В их числе будет провинциальный юноша, издавший под псевдонимом «В. Алов» идиллию «Ганц Кюхельгартен», строго раскритикованную «Телеграфом» и «Северной пчелой». Это было в 1829 году, когда Сомов писал обзор для «Северных цветов на 1830 год» и единственный из всех ободрил начинающего. Молодой человек пугливо скрывался от столичных литераторов; он анонимно послал свой труд Плетневу – и затаился.

Вероятно, от Плетнева Сомов получил книжку и, конечно, обратил внимание на украинизмы. Может быть, по связям своим с Сербиновичем он поинтересовался автором. Сербинович цензуровал идиллию, и безызвестный «В. Алов» писал ему и трижды являлся с визитом в мае 1829 года**30**.

Сербинович знал, что юношу зовут Гоголь-Яновский и, вероятно, знал, что он приехал с Украины, из Нежина. Далее для нас все скрывается во мраке. Мы можем предполагать только, что Сомов сознательно поддержал молодого земляка.

Он дорожил своими связями с Украиной. Он писал об украинском фольклоре, истории и быте и печатал эти свои повести в «Северных цветах». В «Полтаве» Пушкина он искал следы исторического прошлого Украины; Максимовича настойчиво побуждал продолжать «Малороссийские песни» и обменивался письмами с Иваном Петровичем Котляревским, самым крупным из здравствовавших тогда украинских писателей; тот обещал ему прислать свои арии из «Полтавки» и «Москаля Чаривника» и отдал в «Северные цветы на 1830 год» «Малороссийскую песню»**31**.

Так начиналась предыстория отношений Гоголя с «Литературной газетой» и «Северными цветами» – но сближения в этот раз еще не произошло: внезапно Гоголь исчез.

Обескураженный неудачей своего первого опыта, не найдя места в Петербурге, увлекаемый вдаль какими-то одному ему известными таинственными обстоятельствами, он сел на корабль, отправлявшийся в Любек. Месяц он пробыл за границей, затем снова искал службу, сотрудничал у Свиньина в «Отечественных записках» и бывал у Булгарина.

Он вернулся в лоно «Северных цветов» осенью 1830 года – каким образом, нам неизвестно. В книжке альманаха на 1831 год была напечатана его «глава из исторического романа» – по-видимому, «Гетьмана», от которого остались только отдельные отрывки.

«Литературная газета» отнимала у издателей, казалось, все время и силы – но Дельвиг не собирался отказываться от «Северных цветов». Тому было много причин, и не последней была та, что доход от газеты был не велик. Она подорвала влияние Булгарина в литературных кругах, но не могла привлечь на свою сторону то читательское большинство, которое и составляло основную аудиторию «Северной пчелы». Она оставалась газетой для писателей и небольшого круга образованных читателей.

Альманах должен был поддержать материальные дела издателей.

Уже 3 сентября в газете появляется объявление о готовящейся книжке «Северных цветов».

Печатая этот анонс, Дельвиг понимал, конечно, что перед ним встают трудности особого рода. Газета, конечно, объединила прежние разрозненные силы – но лишь до известных пределов. Ее основными участниками все более становились поэты «младшего поколения», бывшие здесь, рядом; в ней трудился в поте лица Орест Сомов, сам Дельвиг – и, пожалуй, Вяземский и Пушкин; остальные появлялись от времени до времени. Вяземский жил теперь в Петербурге, но постоянно отлучался; Пушкина не было в столице уже несколько месяцев: он был в московских предсвадебных хлопотах. Баратынский за все время напечатал в газете три эпиграммы на Полевого и умолк. С отъездом Вяземского и нового друга его И. В. Киреевского Москва пустела для него; он жил в подмосковной и редко наезжал в город. С 1829 года он писал большую поэму «Наложница», которая должна была вызвать всеобщее возмущение журнальных моралистов: самое название было вызывающим, а сюжет – «ультраромантический», с безумием чувственной страсти, ревностью и ядом. Все это казалось похожим на Подолинского, и потому Баратынского так раздражал «Борский»; отличие было в том, что бурные страсти в «Наложнице» вытекали из логики характеров и ситуаций, – но как раз этой разницы, как можно было предвидеть, не поймет ни критика, ни публика.

С Языковым дело обстояло не лучше. Он, правда, отдал в газету стихи первоклассные, но числом Баратынского не превзошел: от него тоже было получено три стихотворения. Самые следы его потерялись: он уехал из Дерпта в Симбирск, а с марта 1830 года тоже жил в Москве. Сомов просил Максимовича справиться об адресе.

Даже Федор Глинка, надежда и утешение всех альманашников, не подарил до сих пор газету ни одним стихотворением – и это было совершенно понятно. В начале 1830 года долговременные хлопоты его петербургских друзей увенчались, наконец, частичным успехом: он был переведен из Петрозаводска, хотя и не в Петербург, но в Тверь, лежавшую на почтовом тракте между Петербургом и Москвою; он переезжал, устраивался, ему было не до стихов, и связи с ним предстояло налаживать заново.

Дельвиг сделал это через Левушку Пушкина, который приехал в Петербург на летние месяцы и отправлялся обратно через Тверь. Левушка взял с собой письмо Дельвига к Глинке. «Кто не ездит в Москву из Петербурга и обратно? – писал он. – Кто из добрых людей не посмотрит на вас и не привезет к нам об вас весточки?»**32** Письмо было написано 18 июля – а 29 августа в газете появляется первое стихотворение Глинки.

Баратынский, Языков, даже Глинка – все это были вкладчики прежних книжек, без которых «Северные цветы» грозили опуститься до уровня в лучшем случае «Невского альманаха». Между тем они должны были быть представительнее даже «Литературной газеты», чтобы иметь успех. Дельвиг должен был конкурировать сам с собой.

В середине июля приехал Пушкин, и Дельвиг говорил с ним об альманахе. Пушкин обещал стихи и даже, кажется, наметил, какие именно.

3 августа вернулся Вяземский со своих ежегодных ревельских купаний**33**. И Пушкин, и Вяземский торопились в Москву.

В этот приезд Вяземскому неожиданно пришлось ближе сойтись с Дельвигом. Они разговорились случайно, во время поездки к какому-то общему знакомому на дачу под Петербургом, – и Вяземский открыл для себя Дельвига, как несколько лет назад открыл Баратынского. Он удивлялся ясной и спокойной философии своего собеседника, говорившего с ним о смерти. Какое-то предчувствие послышалось Вяземскому в его словах. И тогда же Дельвиг рассказал ему план задуманной им повести о домашней драме, подмеченной с улицы.

Вероятно, Вяземский понял, что Дельвиг говорил о себе. «Домашняя драма» была его драмой, и даже недавнее рождение дочери не в силах было стереть ее.

10 августа Пушкин и Вяземский уезжали. Дельвиг пошел проводить Пушкина до Царского Села. Они вышли вдвоем. Было раннее утро, и у Дельвига, привыкшего вставать

поздно, болела голова. Они зашли позавтракать в придорожном трактире и затем отправились далее. Завтрак подкрепил Дельвига, ему стало легче, и он развеселился.

По дороге он рассказал Пушкину тот же сюжет, который уже слышал Вяземский**34**.

И Вяземский, и Пушкин запомнили этот разговор – и не без причины.

Во Франции была революция, в России – холера.

Три дня на парижских улицах лилась кровь и летели камни с баррикад в швейцарских гвардейцев; на третий день были заняты Лувр и Тюильри. Карл X бежал, и фигура «короля-буржуа», с зонтиком подмышкой – Луи-Филиппа Орлеанского – уже вырастала перед опустевшим троном.

Шатались пьедесталы законных монархий в Европе.

Холера двигалась на север от Астрахани, охватывала Саратовскую и Нижегородскую губернии и уже показывалась в Москве. Путь ее отмечался карантинными кордонами. Жизнь замирала, одни повозки, наполненные трупами, следовали по опустевшим улицам. Почта не принимала посылок, получались только письма, проколотые и окуренные серой.

С эпидемией шла волна холерных бунтов.

Такова была осень 1830 года.

29 октября Дельвиг писал Вяземскому обеспокоенное письмо, где в числе других новостей сообщал, что собирает и уже начал печатать «Северные цветы».

Двумя днями ранее Сомов жаловался В. Г. Теплякову, что Пушкин, Вяземский и Баратынский в Москве и по сие время строчки не прислали для альманаха и газеты, что Языков как в воду канул, а Подолинский в Киеве и сердится за отзыв о «Нищем»… «Жду от вас обещанного, – напоминал он, – 3-го письма из Варны, 1-й Фракийской элегии и еще несколько стихов»**35**.

Материалы для книжки понемногу все же приходили. Из Рима Дельвиг получил продолжение очерков Зинаиды Волконской и довольно большой запас стихов от Шевырева. Здесь совершенно неожиданно помог Булгарин, задевший Шевырева в «Пчеле»; тот отправил в «Литературную газету» полемический отклик, затем второй**36** и с этим вторым прислал по крайней мере восемь стихотворений. Семь из них Дельвиг поместил в альманахе. Это были «Чтение Данта», «Две песни. Любовь до счастия и после», «Широкко», «Ода Горация последняя» (стихотворение оригинальное, как предупреждал и сам Шевырев), «К Фебу», «Тройство». Стихи были навеяны римскими впечатлениями и итальянскими поэтами, изучению которых с усердием предался новый поклонник вечного города. Он собирался прислать и прозы, но что-то помешало ему.

Объявился и Языков. Дельвиг получил от него элегию на смерть Арины Родионовны, «прекрасную элегию», как писал он Вяземскому. В ней был и поэтический привет Пушкину – воспоминание о Михайловском лете 1826 года.

Языков, хотя и с запозданием, платил свой долг: 17 марта в «Литературной газете» был напечатан отрывок из послания Пушкина к Языкову: «Издревле сладостный союз…»

Баратынский обещал отрывок из «Наложницы», но медлил.

Наконец, в Петербурге был Василий Туманский. В «Северные цветы» он отдал одно из самых знаменитых своих стихотворений – «Мысль о юге» и несколько других, также удачных: перевод из Шенье «Гондольер и поэт», «Романс (На голос вальса Бетговена)», «Судьба», «Идеал» – и еще два, о которых позже.

Обо всем этом Дельвиг рассказывал Вяземскому, несколько менее подробно, и просил его поторопиться присылкой стихов и если можно прозы и передать Пушкину, чтобы он также поспешил.

Дельвиг спокоен и одобряет Вяземского: «Пишите и верьте в мое счастие. Кого я люблю, те не умирают»**37**.

Между тем над собственной его головой собирается гроза.

Письмо Вяземскому писалось на следующий день после того, как в «Литературной газете» были опубликованы четыре стиха Казимира Делавиня, посвященные жертвам июльской революции.

Дельвиг не знает еще, что через несколько дней его введут в кабинет Бенкендорфа в сопровождении жандармов, и тот возвысит голос и станет обращаться к нему на «ты» и пообещает упрятать его в Сибирь вместе с его друзьями – Пушкиным и Вяземским. Давние подозрения вырвутся наружу: у Дельвига собирается кружок молодых людей, настроенных против правительства. Здесь не будет места ни объяснениям, ни оправданиям: разъяренный шеф жандармов не станет слушать ни тех ни других. Он сошлется на Булгарина как на источник своих сведений, и гнев его достигнет апогея, когда Дельвиг намекнет, что Булгарин – агент тайной полиции.

15 ноября приходит официальное уведомление о запрещении Дельвигу издавать «Литературную газету» **38**.

У него хватило сил написать Пушкину полушутливое письмо, в котором он не смог скрыть горечи от незаслуженного оскорбления. Он сообщил, что газета не принесла выгоды и к тому же запрещена; что Булгарин, из корыстолюбия творящий «мерзости», объявлен верным подданным, а он, Дельвиг, карбонарием, и что в этих обстоятельствах ему срочно нужно «стихов, стихов, стихов» для «Северных цветов», которые должны помочь ему более чем когда-либо. Он писал Пушкину в середине ноября, еще, видимо, не получив его письма от 4 числа.

Письма шли долго: Болдино было окружено карантинами. 4 же ноября Пушкин выслал «барону» свою «вассальную подать», «именуемую цветочною, по той причине, что платится она в ноябре, в самую пору цветов»**39**.

Пушкин прислал пять стихотворений: сонет «Поэту», «Ответ анониму» и три написанных в путешествии: «На холмах Грузии…», «Монастырь на Казбеке» и «Обвал». Второе из них было для Дельвига новостью: оно было написано уже после отъезда. Первым Дельвиг открыл стихотворный отдел: это была декларация, которой его альманах отвечал на эстетические и политические требования «Пчелы» и «Телеграфа»:

Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Все это потом Пушкин перефразирует в своем поэтическом завещании:

Хвалу и клевету приемли равнодушно…

От Баратынского пришли два отрывка из «Наложницы». Вяземский откликнулся почти молниеносно: уже 21 ноября он отправил Дельвигу два письма, одно со стихами. Вяземскому принадлежало в альманахе семь стихотворений: «Осень 1830 года», «Святочная шутка», «Эпиграмма», «Леса», «Родительский дом», «К журнальным благоприятелям», «К А. О. Р***» – юной Александре Осиповне Россет, чьи «черные очи» Вяземскому уже случилось воспевать однажды. Три последних стихотворения были напечатаны в самом конце альманаха; вероятно, они были присланы в последний момент. 24 ноября Вяземский посылал через Баратынского еще «Прогулку в степи», но эти стихи опоздали. Когда в декабре 1830 года «Литературная газета» вновь стала выходить – уже под редакцией О. Сомова – «Прогулка» нашла себе приют на ее страницах**40**.

Вяземский дал в альманах стихи, написанные за последние месяцы; в них говорили разные голоса и настроения. Тон шутливый или мадригальный сменялся саркастической

веселостью эпиграммы в «Журнальных благоприятелях»; элегическая интонация «Родительского дома» – торжественной меланхолией «Лесов». В «Осени 1830 года» лирика природы перестала быть вневременной: лютый мор, царивший вокруг, отразился в стихах лирической темой бедствующего и гибнущего человечества.

Вяземский явился в альманах, как и в прошлый раз, в окружении молодых поэтесс. Место Готовцевой заступила теперь Екатерина Александровна Тимашева, которой и была адресована «Святочная шутка»; наряду с этим шутливым мадригалом а альманахе появился и «Ответ» Тимашевой, несомненно, также присланный Вяземским. Литературному покровителю Тимашевой не было нужды рекомендовать ее Пушкину, как Готовцеву. Пушкин знал ее по Москве и в 1826 году обменялся с ней посланиями – но Вяземский, по-видимому, подвигнул Пушкина на вежливый жест: послать Тимашевой альманах с ее стихами, что очень польстило ее авторскому самолюбию, впрочем, не чрезмерному**41**. Тимашеву в Москве знали: она была не лишена дарований и очень привлекательна. Языков и Баратынский посвятили ей по стихотворению.

Тимашева была «белой дамой» из «царства фей», влекущих к себе неодолимой силой скрытого страдания.

Так представлялась она двадцатилетней Додо Сушковой, посвятившей ей стихи в 1831 и в следующем году.

Додо Сушкова – будущая Евдокия Петровна Ростопчина – была второй поэтессой, попавшей в альманах с легкой руки Вяземского. Девушку воспитывали в семействе деда – И. А. Пашкова; Пашковы же были знакомы всем коренным москвичам, и Вяземский бывал у них. Он прочел стихи Додо, которые она писала втайне от патриархальных родных, считавших это занятие предосудительным; списал «Талисман» и без ведома автора отправил в «Цветы», подписав «Д……а» – Дарья Сушкова – так он расшифровал семейное уменьшительное имя. Секрет вышел наружу; дед и бабка разбранили внучку и строго заказали ей печататься – но исправить дела уже было нельзя. «Талисман» переписывали, заучивали наизусть. Это были стихи непривычные и необычные: стихи о тайной и едва ли не запретной любви, написанные двадцатилетней девушкой**42**.

Через десять с лишним лет известная поэтесса графиня Ростопчина включит их в свой автобиографический стихотворный роман «Дневник девушки». Юная Зинаида – поэтический двойник Додо Сушковой – прямо обратит их к предмету своей девической страсти. Мотив «талисмана» пройдет через всю шестую главу романа, названную «Она любит», и в главе получат разъяснение скрытые намеки и случайные на первый взгляд образы, которые есть уже в первой редакции «Талисмана».

Быть может, старики Пашковы угадывали интимный смысл в лирических стихах внучки? И «Дневник девушки» в том или ином виде уже существовал в 1830 году?

В одиннадцатой главе поэтической исповеди Зинаиды мы находим несколько стихотворений романсного типа, обращенных к возлюбленному:

Люблю я взор его очей,
Люблю я звук его речей…

Все они довольно близки к другому стихотворению в «Северных цветах на 1831 год» – «Любила я твои глаза…», подписанному экзотической анаграммой «З…я Р…». Почти нет сомнений, что автором их была та же «Зинаида» – Додо Сушкова – особенно тщательно скрывшая здесь свое имя.

Эти стихи тоже знали – в кругу Вяземского. Знакомец его М. Ю. Виельгорский написал к ним музыку. Романс был издан поздно, но пели его уже в 1830-е годы. 16 февраля 1834

года Виельгорский исполнял его у И. И. Козлова в присутствии Жуковского, Вяземского и Даргомыжского**43**.

8 цензурной рукописи «Северных цветов» стихи А. Одоевского, «З…и Р….ой», «Талисман» и три стихотворения самого Вяземского («Святочная шутка», «Эпиграмма», «Родительский дом») переписаны одной рукой. Видимо, Вяземский дал их переписать своему писцу в Москве и прислал одновременно.

Третьего же октября он послал Дельвигу письмо «с отрывками к.<нягини> Зенеиды» – Зинаиды Волконской, – и Дельвиг уведомлял его, что они будут напечатаны в «Северных цветах»**44**.

При помощи и покровительстве Вяземского женщины-авторы являлись в дельвиговском альманахе. Они писали уже не только путевые записки, дидактические романы и благочестивые стихи – они заявляли перед публикой свои права на лирическое самовыражение и духовное самоутверждение.

Это было новостью и знаменем времени. Борьба за общественное равноправие женщин еще впереди – но «женское движение» уже делает свои первые шаги.

Из тетради Вяземского пришли к Дельвигу три стихотворения Александра Одоевского – «Тризна», «Бал» и «Луна».

Первое из них – «Тризна» – принадлежало к лучшим стихам декабристской каторги. В песне скальда как будто воскресал мажорный дух прежней гражданской поэзии:

Утешьтесь! за падших ваш меч отомстит…

Дельвиг продолжал печатать «недозволенное».

9 декабря 1830 года цензор Н. П. Щеглов вынес на суждение Петербургского цензурного комитета два стихотворения В. И. Туманского – «Сетование» (в новой, переработанной редакции) и «Стансы» и статью графа Д. Н. Толстого-Знаменского «О поэзии Ломоносова, Державина и Пушкина».

Этот Толстой стал впоследствии довольно известным историком; тогда же он был скромным молодым чиновником комиссии принятия прошений и только начинал свое литературное поприще. Он приехал из Москвы, где в числе его знакомых были люди, тронутые декабристскими веяниями. Двадцатилетним юношей он отказался идти на празднества в честь коронации «деспота». В Москве он приобщился и к литературе; сослуживец его В. П. Пальчиков, довольно коротко знавший Пушкина, приносил ему новые пушкинские стихи. В своей статье Толстой писал об общественном значении поэта, который есть «выражение образа мыслей и чувствований своего века» и потому представитель гражданской и интеллектуальной жизни нации. Таков Ломоносов, Державин – и таков Пушкин. Общественное мнение увенчало его, и это дало ему право называться великим, ибо он «ответствует сему мнению, ответствует направлению народного духа и идет наравне с веком.».

С мыслями Толстого словно перекликались «Стансы» Туманского:

Теперь не суетную лиру
Повесь на рамена, певец!
Бери булат, бери секиру,
Будь гражданин и будь боец.

Стихи говорили об июльских событиях во Франции и начавшемся польском восстании. Туманский не был на стороне восставших, но в «Стансах» звучала еще прежняя, декабристская символика. Его поэт был уже не только голосом нации, но избранником и вождем. И словно нарочно, та же тема варьировалась в катенинском «Гении и поэте», присланном

для «Цветов» еще в конце октября. Катенин прямо писал о свободе Греции и процветании «Вашингтоновой земли». В годину борьбы за свободу, заявлял он, поэт должен возвышать голос: иначе его покинет поэтическое вдохновение.

Катенин предчувствовал, что его стихи не пройдут через цензуру, – так и оказалось. Равным образом в «Стансах» и статье Толстого было обнаружено «направление мыслей неблагоприятное, судя по обстоятельствам времени». «Сетование» было разрешено с изменениями, и Туманский перепечатывать его не стал. Из всех подозрительных стихов по странной иронии судьбы только стихи «государственного преступника» А. Одоевского прошли через цензурный кордон**45**.

То же, что было задержано, в совокупности своей должно было читаться как прямая декларация гражданственности в литературе – и она готовилась к печати уже после того, как была запрещена «Литературная газета» и произошел разговор Дельвига с Бенкендорфом.

Дельвиг не собирался, конечно, дразнить самодержавную власть. Но его личность и взгляды были сформированы не ею, а эпохой и обществом, которые во многом ей противостояли. И эти взгляды должны были на каждом шагу противоречить официальным требованиям.

Он совершенно искренно отвергал обвинения Бенкендорфа в злоумышлениях против правительства – но шеф жандармов не верил ему. И тот, и другой были по-своему правы.

Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков – прежнее «ядро» участников альманаха – предстало и в этой книжке «Цветов». Из старших поэтов – И. И. Козлов с «Песней Дездемоны» и Гнедич.

Выход «Илиады» и пушкинский отклик примирил Гнедича с дельвиговским кружком. Сомов в своем обзоре заявил еще раз печатно, что гнедичева «Илиада» была бесспорно «замечательнейшим поэтическим явлением сего полугодия», и необъятная разность существует между нею и всеми до сих пор бывшими переводами древней поэмы. Он вступил в полемику с Надеждиным, который в «Московском вестнике» противопоставлял перевод Гнедича новейшей романтической поэзии. Гнедич также поспешил ответить «Возражением»**46**. Он не собирался стать орудием сторонников Каченовского в борьбе против Пушкина.

Сомов вносил свою лепту в «борьбу за Гнедича» – и словно в завершение этой борьбы «Северные цветы» перепечатывают два старых послания – Плетнева к Гнедичу и ответное Гнедича к Плетневу. Последнее из них еще не появлялось в печати полностью: отрывок из него, как мы помним, был помещен Дельвигом в «Северных цветах на 1828 год». Теперь читателю предлагался весь поэтический диалог, из которого вырисовывалась фигура Гнедича как наставника литературной молодежи – поздний отзвук той репутации Гнедича, которую создала ему поэзия начала 1820-х годов.

С этими стихами в альманах как будто входило веяние еще не столь давнего прошлого. Прежние члены Общества любителей российской словесности собирались за одним столом.

Плетнев дал в альманах еще одно стихотворение: «Отрывок» («Покинув родину, страну суровых вьюг…»).

Федор Глинка прислал прозаическую аллегорию «Новая пробирная палатка» и семь стихотворений («Непонятная вещь», «Отрадное чувство», «Тоска о нем», «К синему небу», «Бедность и утешение», «Осень и сельское житье», «Приметы»).

Пять стихотворений, как мы уже говорили, принадлежало Василию Туманскому.

Давние знакомцы были рядом, на соседних страницах, под одним переплетом. Но как все изменилось в них и вокруг них!

Старшее поколение уходило с литературной сцены. «Илиада» была лебединой песнью Гнедича. Глинка достиг в «Карелии», кажется, своего предела. Мелкие его стихи уже более

ничего не открывали: кимвалы 1820-х годов перестали греметь, страдание узника и поселенца уступило место усталой резиньяции. Плетнев уже почти не писал стихов.

Вокруг кипела жизнь нового литературного поколения, и она проникала на страницы «Северных цветов».

Здесь были прежние «любомудры» и их окружение, начиная с Зинаиды Волконской и с Шевырева. «Московская литература» переселялась в Рим и в Петербург. Мы упоминали уже, что Титов и Одоевский сотрудничали в «Литературной газете».

Титов дал в альманах повесть «Монастырь святой Бригитты», подписанную, как и прежняя, «Тит Космократов». Повесть была слабой; образованный и заносчивый эстетик в собственной прозе становился вял и подражателен. «Монастырь святой Бригитты» перефразировал ливонские повести Бестужева**47**.

Зато сотоварищ Титова, В. Ф. Одоевский, стяжал успех серьезный и заслуженный. Ему принадлежала повесть «Последний квартет Беетговена», подписанная также псевдонимом-анаграммой: ъ. ъ. й. Эту новеллу о романтическом безумце, оглохшем гениальном музыканте, живущем в мире созданных им звуков, читал Пушкин и пришел в восторг: он пророчил Одоевскому европейскую славу. Даже литературные неприятели «Северных цветов» благосклонно отнеслись к повести Одоевского**48**. Она отнюдь не была дебютом, но первым шагом зрелого писателя.

«Любомудры» уже не были теми «архивными юношами», которые собирались в 1827 году у Погодина. Они менялись, и жизнь разводила их. Но нечто общее сохранялось во всех них: устойчивый интерес к философии, эстетике, искусству.

Трилунный-Струйский наследовал этот интерес. Он печатал в «Цветах» «выдержки из записной книжки» – полуисповеди, полупсихологические этюды, размышления о религии и безверии, о Руссо, о старении человеческих обществ. И вновь о музыке: о Бетховене, Моцарте и Гайдне.

В «Альпийских соснах», в «Слезах» он отдавал дань философско– ал-легорической поэзии старых «любомудров». Он принес в «Цветы» еще два стихотворения: «Смерть праведника» и «Обличитель». Первое пошло в «Литературную газету», второе не попало никуда: в цензурной рукописи «Цветов» сохранился его автограф, кем-то зачеркнутый**49**.

А далее шли новые прозаики и поэты, привлеченные к участию в дельвиговской газете: Платон Волков («Мечта», «Русалки»), Деларю, Станкевич, Тимашева, таинственный «Ш-б-в» («Неаполь», «Элегия»), В. Н. Щастный, поместивший здесь отрывок из драматической фантазии старинного своего знакомца Юзефа Коженевского «Отшельник». В числе поэтов второго и третьего ранга был, как обычно, и старинный участник «Цветов» и «Полярной звезды» – В. Е. Вердеревский, принесший два перевода из Горация «К Фидиле» и «К Мельпомене».

Из этих поэтов самым значительным был Виктор Тепляков.

Тепляков выполнил то, что обещал Сомову. В «Северных цветах» появилось его «Письмо III из Турции» – проза блестящая и ироническая, составившая затем одну из главок «Писем из Болгарии». Первые два письма он опубликовал в «Литературной газете». Из этих писем вырастали его «Фракийские элегии», и первая из них – «Отплытие», напоминавшая читателю о Чайльд Гарольде и молодом Пушкине («Погасло дневное светило»), – также напечатана в «Северных цветах на 1831 год». Тепляков прислал еще эпиграмму «Современное благополучие» и «Румилийскую песню», также написанную по впечатлениям путешествия.

На страницах «Северных цветов» очерчивалась биография «русского Мельмота» – не литературная только биография, но драматическая жизненная судьба.

Таково было содержание «Северных цветов». Но мы забыли одно имя, – точнее, оставили его напоследок, как самое важное приобретение альманаха в новой литературе.

Строго говоря, имени не было. Оно было обозначено четырьмя «о»: оооо.

Эта подпись стояла под «главой из исторического романа», которую написал человек с четырьмя «о» в имени и фамилии: Николай Гоголь-Яновский.

За несколько месяцев Гоголь успел познакомиться с петербургскими журналистами, напечатать несколько статей у Свиньина в «Отечественных записках» и порвать со Свиньиным: самоуправный редактор слишком вольно обходился с чужой литературной собственностью, печатая ее анонимно и исправляя до неузнаваемости. Уйдя от Свиньина – поздней весной или летом, – Гоголь решился на некоторое время оставить сотрудничество в журналах, но тут-то и произошло его сближение с дельвиговским кружком. Едва ли не Сомов снова сыграл здесь свою роль. Уже во второй половине года, когда он писал свой обзор, ему было известно, что украинская повесть «Бисаврюк», анонимно помещенная в «Отечественных записках», сочинена «одним молодым литератором, Г-м Г. Я…», Гоголем-Яновским, и он не преминул отметить ее в своей статье. «Молодой литератор» служил в это время в департаменте уделов, под началом старинного знакомца Сомова В. И. Панаева; впрочем, это была только одна линия возможных связей. В «Литературной газете» сотрудничал «однокорытник» Гоголя по Нежину В. И. Любич-Романович, переводчик Мицкевича, о котором Сомов также отозвался благосклонно; цензор Сербинович, о чем мы уже упоминали, также был общим их знакомым; Плетневу Гоголь посылал первую свою книжку; наконец, В. Н. Щастный был близок всему нежинскому кругу. Таким образом, у Гоголя не было недостатка в путях, по которым он мог войти так или иначе в дельвиговский кружок**50**.

Два его сочинения Сомов помещает в первом номере «Литературной газеты» за 1831 год.

Сохранилась цензурная рукопись «Северных цветов на 1831 год». По составу и расположению она соответствует печатной книжке, что естественно: она была и наборной рукописью.

Ее листы заполнены разными почерками; писарские копии, автографы сплетены вместе. На ней дата: 15 ноября 1830. В это время рукопись поступила в цензуру; окончательное же разрешение получила позже: 18 декабря.

Крупным, разборчивым почерком Сомова переписан его собственный обзор. Чем далее к концу, тем больше в беловой рукописи зачеркиваний и помарок. Вероятно, Сомов писал уже без черновика: спешил. Он же переписывал стихи Пушкина – «Поэту», «Ответ анониму», «Монастырь на Казбеке», «Отрывок (На холмах Грузии…)»; Вяземского – «Осень 1830 года», Готовцевой – «Ответ» и «Приметы» Ф. Глинки.

Другим почерком переписаны отрывок из «Наложницы» Баратынского и «Леса» Вяземского. Это, вероятно, рука Софьи Михайловны Дельвиг.

Безыменный петербургский писец переписывал присланные стихи Станкевича «К синему небу» и «Непонятную вещь» Глинки, «Главу из исторического романа» Гоголя; другой – «Анониму» и «Обвал» Пушкина, третий – стихи Вердеревского, четвертый – Шевырева…

Тверской писец трудился над стихами Глинки, одесский – над сочинениями Теплякова. У Теплякова ужасный почерк: даже исправления на копию нанесены писцом. Листки, присланные Тепляковым, проколоты: холерный карантин.

В. Ф. Одоевский перемарал копию: сделал вставки и изменения в «Последнем квартете Беетговена». Аккуратный Василий Туманский поступил противоположно: все свои стихи переписал сам каллиграфически. То же сделал и Деларю: все его стихи – автографы, кроме «Могилы поэта». В автографах – стихи Плетнева, Трилунного, неизвестного нам «Шибаева», который и здесь поставил вместо подписи анаграмму: «Ш-б-въ».

Все эти люди – рядом, в Петербурге, они близки к делам альманаха.

Под каждым из произведений стоит изящная, четкая подпись цензора Н. П. Щеглова, сменившего Сербиновича.

Его пометы мы находим и на полях рукописи. В обзоре Сомова он подчеркивает полемические резкости, но строже всего следит, чтобы было соблюдено уважение к священным предметам.

В «Монастыре святой Бригитты» Титова он отчеркивает выпады против монахов и монастырей. «О монахах не худо судить поосторожнее». Монахи католические, и для пресечения кривотолков он всюду, где можно, вставляет собственной рукой: «римские», «римско-католические». Два пассажа заменяются по его требованию**51**.

В любовных стихах Деларю – «Глицере» он отмечает «святой огонь» и «божественные красы». «NB. Святость тут совсем не у места»**52**.

Эта осторожность напоминала времена легендарного Красовского, запрещавшего стихи, где возлюбленная называлась ангелом.

Еще в феврале Пушкин обращался к попечителю Петербургского учебного округа с просьбой вернуть Сербиновича или дать вместо Щеглова цензора менее «своенравного»**53**. Просьба последствий не возымела. Впрочем, дело было и не в Щеглове.

Его замечания на рукописи «Северных цветов» были лишь отражением общей цензурной политики, которая уже дала себя почувствовать в запрещении «Литературной газеты» и с начала тридцатых годов все более клонилась к стеснению и без того эфемерной свободы печати.

«Северные цветы на 1831 год» вышли в свет 24 декабря 1830 г.**54**.

Как обычно, они открывались обзором Сомова за конец 1829 и первую половину 1830 года, и обзор этот был кратким резюме мнений «Литературной газеты».

Сомов вступал в полемику, и порой довольно острую. Он даже старался сдерживать себя: смягчал и вычеркивал полемические пассажи о «Северной пчеле» и «Северном Меркурии». Дважды он начинал говорить о «клевете» Булгарина, но цензор Щеглов следил за парламентарностью выражений. Сомов не стал настаивать**55**.

Булгарин и Полевой с его «Историей русского народа» оставались для Сомова основными противниками. Третьим был Надеждин, с которым Сомов готов был соглашаться только тогда, когда «Никодим Надоумко» атаковал Полевого.

Сомов писал о «непризванных и непризнанных никем» литературных судьях, движимых мелким своекорыстием, и в доказательство намекал на булгаринский разбор седьмой главы «Онегина», которой посвятил несколько страниц, довольно, впрочем, бесцветных. Эстетики пушкинского романа он, вероятнее всего, не ощущал, как не ощущали ее и прежние его литературные соратники по «Полярной звезде».

Он одушевлялся гораздо более, когда писал о новой книге басен Крылова: здесь говорила живая заинтересованность. Несколько благосклонных пассажей посвятил он и «Карелии» Глинки.

Сомова влекла к себе проза, за развитие которой он так ратовал еще в прежних книжках «Цветов», – и в этом была его принципиальная литературная позиция. Прозе он посвятил половину своего обзора, вдвое больше, чем поэзии и журналистике.

Теперь, когда он не был больше связан с булгаринскими изданиями, он критически разбирал «Димитрия Самозванца», развивая подробно то, что писал о нем Дельвиг. Сомов нападал на анахронизмы в построении характеров, на отсутствие исторического колорита, на безжизненную правильность языка. Он противопоставлял булгаринскому роману «Юрия Милославского» Загоскина, как это делала и «Литературная газета»; впрочем, он упрекал и загоскинский роман за бесцветность исторических персонажей. Далее он переходил к современному бытописанию, чтобы решительно отвергнуть «нравственно-сатирический роман»

и его адептов: Свиньина, автора «Ягуба Скупалова», П. Сумарокова с его «Федорой», выдвигая в противовес им «Монастырку» Погорельского и даже «Записки москвича» Павла Лукьяновича Яковлева, бывшего члена Измайловского литературного сообщества, хорошо ему знакомого. Это тоже была политика «Литературной газеты».

И он обращал внимание читателей на две повести, напечатанные в «Сыне отечества и Северном архиве» – «Испытание» и «Вечер на Кавказских водах в 1824 году», – подписанные «А. М. Дагестан, 1830».

Он знал автора, знал несомненно. Повести были написаны той же рукой, что и стихотворение «Часы», помещенное без имени в № 27 газеты за 1830 год.

Александр Бестужев в обличье Марлинского возвращался в литературную жизнь.

С тех пор, как Пушкин уехал в августе из Петербурга, он не виделся с Дельвигом и лишь в письме послал ему свою «цветочную подать». Холера удерживала его в Болдине до конца ноября – и эта осень оказалась самой детородной из всех. Он вез в Москву «Домик в Коломне», две главы «Онегина», «маленькие трагедии», повести Белкина, «пропасть» полемических статей и лирических стихов. В болдинском уединении он думал и о «Литературной газете», где «круглый год» не должны умолкать песни трубадуров; он почти заново написал начатую еще для прежних «Цветов» статью о Баратынском и начал набрасывать послание к Дельвигу: «Мы рождены, мой брат названный, Под одинаковой звездой.» В послании вырисовывался уже знакомый нам облик поэта, в уединении творящего прекрасное, бегущего «низких торгашей».

Пушкин продолжал полемику с Полевым и Булгариным, но он не знал последних событий. О запрещении «Литературной газеты» Дельвиг написал ему в середине ноября; почта из-за карантинов шла долго, и неизвестно, успел ли Пушкин получить это письмо.

Он приехал в Москву 5 декабря, встретился с Вяземским, Баратынским – и на него нахлынули известия последних месяцев. Он пишет Плетневу в беспокойстве и досаде, что «шпионы-литераторы» «заедят» Дельвига, если он не оправдается, и вслед за тем просит Е. М. Хитрово похлопотать через влиятельных знакомых.

В хлопотах Хитрово уже не было нужды: помог Блудов. 8 декабря было подписано цензурное разрешение на выпуск в свет номера за 17 ноября; официальным редактором «Литературной газеты» стал Сомов.

По-видимому, в самом конце декабря Пушкин получил и «Северные цветы».

Он недоволен альманахом. 2 января он пишет Вяземскому в Остафьево: «Сев.<ерные> цв.<еты> что-то бледны. Каков шут Дельвиг, в круглый год ничего сам не написавший и издавший свой альманах в поте лиц наших?» И то же самое он говорит Плетневу в письме 7 января: Дельвиг поступил с друзьями, как помещик с крестьянами: они трудятся, а он сидит на судне, да их побранивает. И что за стихи набрал: в «Бедности и утешении» Глинка просит бога к себе в кумовья! Это годится для пародии, если представить дело воочию.

Пушкин досадует и выговаривает, а тем временем требует от Вяземского, чтобы тот не отдавал «Обозы» в альманах Максимовича «Денница», а лучше отослал бы Дельвигу.

Вяземский не соглашается: он уже обещал Максимовичу эти стихи, и Пушкин отдает их «скрепя сердце». Максимович усиленно просит от Вяземского и прозы – но здесь уже упрямится Пушкин. «Твою статью о Пушкине пошлю к Дельвигу – что ты чужих прикармливаешь? свои голодны». К тому же эту статью – некролог Василия Львовича – Дельвиг сам просил Вяземского написать несколько месяцев назад.

Эта переписка между Москвой и Остафьевом происходит 10–13 января.

Ни адресат, ни корреспондент не подозревают, что Дельвиг, предмет их споров и суждений, лежит в постели в жестокой простуде и зловещие пятна проступают на его теле.

12 января он впадает в беспамятство.

13 января. Пушкин – Плетневу:

«Что Газета наша? надобно нам о ней подумать. Под конец она была очень вяла; иначе и быть нельзя: в ней отражается русская литература. В ней говорили под конец об одном Булгарине <…>»

13 января. Дельвиг не приходит в сознание.

14 января. Вяземский – Пушкину:

«Хорошо, дай „Пушкина“ Дельвигу, а скажи Максимовичу, что пришлю к нему несколько *выдержек* из *записной книжки.* < …> Что за разбор Дельвига твоему Борису? Начинает последним монологом его. Нужно будет нам с тобою и Баратынским написать инструкцию Дельвигу, если он хочет, чтобы мы участвовали в его газете. <…>

При том нужно обязать его, чтобы по крайней мере через № была его статья дельная и проч. и проч. А без того нет возможности помогать ему»**56**.

14 января. Доктора признали опасность.

Около 7 часов вечера. Гнедич и Лобанов заезжают к больному и спешат к Плетневу с вестью, что он близок к разрушению.

В восемь часов вечера 14 января Деларю закрывает ему глаза.

Плетнев – Пушкину.

«Ночью. Половина 1-го часа. Середа. 14 января, 1831. С. П. бург.

Я не могу откладывать, хотя бы не хотел об этом писать к тебе. По себе чувствую, что должен перенести ты. Пока еще были со мною добрые друзья мои и его друзья, нам всем как-то было легче чувствовать всю тяжесть положения своего. Теперь я остался один. Расскажу тебе все, как это случилось. Знаешь ли ты, что я говорю о нашем добром Дельвиге, который уже не наш?»

Плетнев рассказывал Пушкину все то, о чем уже знает читатель. «И так в три дни явная болезнь его уничтожила. Милый мой, что ж такое жизнь?»

Сомов – Баратынскому, 15 января

С чего начну я письмо мое, почтеннейший Евгений Абрамович? Какими словами выскажу вам жестокую истину, когда сам едва могу собрать несколько рассеянных, несвязных идей: милый наш Дельвиг – наш только в сердцах друзей и в памятниках талантов: остальное у бога! Жестокая десятидневная гнилая горячка унесла у нас нашего друга! <…> Ради бога, постарайтесь видеться с Михаилом Александровичем Салтыковым <…> Приготовьте Пушкина, который верно теперь и не чает, что радость его возмутится такой горестью. Скажите Кн. Вяземскому, И. И. Дмитриеву и Михайлу Алексан. Максимовичу – и всем, всем, кто знал и любил покойника, нашего незабвенного друга, что они более не увидят его, что Соловей наш умолк на вечность. <…> Утрата сия для меня горьче, нежели утрата ближнего родного. Сердце мое сжато и слезы не дают дописать.

Весь Ваш О. Сомов.

Пушкин – Вяземскому, 19 января.

Вчера получили мы горестное известие из П. Б. – Дельвиг умер гнилою горячкою. Сегодня еду к Салтыкову, – он вероятно уже все знает <…>.

Пушкин – Плетневу, 21 января.

Что скажу тебе, мой милый? Ужасное известие получил я в воскресение. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову

объявить ему все – и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду – около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все. <…>

Баратынский болен с огорчения. <…>

Баратынский – Плетневу, июль 1831

<…> Потеря Дельвига для нас незаменяема. Ежели мы когда-нибудь и увидимся, ежели еще в одну субботу сядем вместе за твой стол, – боже мой! как мы будем еще одиноки! Милый мои, потеря Дельвига нам показала, что такое <…> опустелый мир, про который мы говорили, не зная полного значения наших выражений. <…>**57**

27 января у Яра московские друзья Дельвига собрались на тризну. Был Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков**58**.

Десятью днями ранее в Петербурге были похороны.

Четвертый и пятый номера «Литературной газеты» не вышли вовремя. Сомов не имел силы заниматься ими. Четвертый номер был траурный.

В нем был некролог Дельвига, написанный Плетневым, и статья «К гробу барона Дельвига». Статью написал Василий Туманский. Он приехал в Петербург как будто только для того, чтобы проститься со старым товарищем.

И здесь же было напечатано Гнедичево надгробие. Он в первый раз писал элегическим дистихом – любимым размером Дельвига, каким писали эпитафии античные поэты:

Милый, младой наш певец! на могиле, уже мне грозившей,
Ты обещался воспеть дружбы прощальную песнь…

Это было несколько лет назад, когда Гнедич уже не чаял поправиться.

Так не исполнилось! Я над твоею могилою ранней
Слышу надгробный плач дружбы и муз и любви!
Бросил ты смертные песни, оставил ты бренную землю,
Мрачное царство вражды, грустное светлой душе…

Темная тень ложится на грустно-элегические строчки. «Мрачное царство вражды».

Гнедич посылал свою элегию к Гречу, в «Северную пчелу».

Греч отказался ее печатать и вернул с объяснительным письмом.

«Что за мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в Сев.<ерную> Пчелу? – спрашивал Плетнева Пушкин. – Радуюсь, что Греч отказался – как можно чертить анфологическое надгробие в нужнике? И что есть общего между поэтом Дельвигом и <…>чистом полицейским Фаддеем?»

Вяземский предлагал напечатать письмо Греча в «Деннице» или «Телескопе». «Должно вывести этих негодяев к позорному столбу»**59**.

Кого надлежало вывести к позорному столбу? Греча? Булгарина? Или, может быть, кого-то еще неназванного?

Старик Энгельгардт, бывший директор Лицея, рассказывал Ф. Ф. Матюшкину о перипетиях борьбы Дельвига с Булгариным, о запрещении его газеты. «Эти и множество других неприятностей верно много содействовали к его болезни»**60**.

«Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который <…> назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним», – записывал в дневнике 28 января цензор А. В. Никитенко**61**.

Так писал и А. И. Дельвиг в своих мемуарах.

Осиротевшее семейство и ближайшие друзья боялись прихода жандармов. Несколько вечеров подряд М. Л. Яковлев, В. Н. Щастный и другие бросали в пылающий камин бумаги Дельвига**62**.

Письма и рукописи, бесценные памятники человеческих мыслей и дел, маленькие звенья самой истории – вспыхивали в огне и рассыпались кучками пепла.

Глава VII ТРИЗНА ПО ДЕЛЬВИГЕ

Все было так неожиданно – горе, хлопоты, смятение, что Софья Михайловна Дельвиг даже не заметила поначалу свалившегося на нее нового несчастия. Бог весть, как и когда из портфеля Дельвига исчезли ломбардные билеты на 55 тысяч – больше половины всего состояния**1**. Это было почти разорение.

Пушкин еще не знал этого, когда предлагал Плетневу «помянуть» покойного друга изданием «Северных цветов». Теперь Плетнев сообщал ему о положении дел, и нужда в издании альманаха увеличилась еще более.

Как-то не уговариваясь, все предоставили Пушкину заняться «Цветами», и Плетнев писал ему, что Сомова надобно вознаградить той же суммой из выручки, какая приходилась на его долю и прежде, и на тех же условиях взять из его рук «Литературную газету», которая иначе увянет вовсе. Еще ранее Вяземский предлагал то же самое Плетневу**2**.

Пушкин отвечал 26 марта, что об альманахе следует переговорить и что он готов издать «последние С. Цветы» вместе с Плетневым, но что у него тем временем созрел иной план. План был еще не совсем определенен; 11 апреля он намекает осторожно: «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести: альманаха, журнала, чего доброго? – и газеты».

Итак, он не оставлял старого плана: лучше всего – газета, хорош и журнал; на худой конец – альманах.

Но что бы это ни было – оно должно быть «своим», изданным «кучкой». На протяжении всего 1831 года он будет возвращаться к этой мысли, и в ней будет поддерживать его Вяземский. Вяземский уже намечает и будущий состав: А. Тургенев, Баратынский, Иван Киреевский, В. Ф. Одоевский, Жуковский. «Войдешь ли в переговоры с Сомовым и будешь ли требовать его интервенции или нон-интервенции?»**3**

Легкие ноты отчуждения проскальзывают каждый раз, как называется имя Сомова: ни Пушкин, ни Вяземский, ни даже Плетнев не считают его «своим».

Он был «своим» только для Дельвига, и со смертью его постепенно ослабевали его связи с пушкинским кругом. Но о «нон-интервенции» его не могло быть и речи: издатели последних «Северных цветов», даже если бы и захотели, не смогли бы обойтись без его помощи.

Пушкин приехал в Петербург в конце мая вместе с молодой женой и тут же уехал в Царское Село. Он ждал к себе Вяземского – но так и не дождался.

Холера двигалась на север империи, и в июне Царское Село оказалось отрезано карантинами.

В Петербурге вспыхивали холерные бунты.

В Европе продолжались волнения – и царскосельские затворники ждали известий о ходе польской кампании.

В июле приехал двор, и Царское Село обратилось в столицу. Теперь здесь был и Жуковский, от которого Пушкин узнал, что Вяземский не приедет.

Сама судьба мешала «кучке» соединиться. Плетнев жил на даче, в Спасской мызе; Сомов в Петербурге; Вяземский был в Остафьеве; Баратынский уехал в казанское имение.

«Что же твой план *«Сев.<ерных> Цветов* в пользу братьев Дельвига? – спрашивал Пушкин Плетнева в середине июля. – Я даю в них *Моцарта* и несколько мелочей. Жуковский дает свою гекзаметрическую сказку. Пиши Баратынскому; он пришлет нам сокровища; он в своей деревне. – От тебя стихов не дождешься; если б ты собрался, да написал что-нибудь об Дельвиге! то-то было б хорошо! Во всяком случае проза нужна; коли ты ничего не дашь, так она сядет на мель. Обозрения словесности не надобно; черт ли в нашей сло-

весности? придется бранить Полевого да Булгарина. К стати ли такое аллилуия на могиле Дельвига? – Подумай обо всем этом хорошенько, да и распорядись – а издавать уже пора: т. е. приготовляться к изданию».

Но Плетневу было не до альманаха.

Новая жестокая горесть посетила его: холера унесла П. С. Молчанова – человека, к которому он после Дельвига был привязан более всего. Он впал в апатию. Пушкин был, кажется, последним среди его петербургских друзей – и теперь он ждал, когда и Пушкин его оставит. Он отложил всяческие дела и не имел сил тронуться с места. Он отвечал Пушкину: «Северные цветы готовь, но мне никаких поручений не делай. Живу я в такой деревне, которая не на почтовой дороге. Писем отсюда посылать не с кем, а получать еще менее можно. Итак к Баратынскому, к Языкову, Вяземскому и другим пиши сам. Мое дело будет в городе смотреть за изданием. Написать о Дельвиге желаю, но не обещаю».

С Плетневым переписка шла почти наугад: письма доходили с опозданием и нерегулярно. Пушкин пишет Михаилу Лукьяновичу Яковлеву, который оставался в Петербурге при отъезжающей Софье Михайловне: «Что *Сев.<ерные> Цветы?* с моей стороны я готов». Он просит оставшиеся письма свои к Дельвигу: когда-нибудь можно будет издать двустороннюю переписку. «Еще просьба: у Дельвига находились готовые к печати две трагедии нашего Кюхли и его же *Ижорский,* также и моя баллада о *Рыцаре, влюбленном в Деву.* Не может ли это все Софья Михайловна оставить у тебя. Плетнев и я, мы бы постарались что-нибудь из этого сделать».

Пушкин торопится: июль на исходе, на все издание остается менее пяти месяцев.

Яковлев сомневается в успехе: времени слишком мало, участники рассеяны и отрезаны друг от друга. Кто будет легок на подъем в этот страшный холерный год? Разве только ради Пушкина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.